

*80-летию Уральского политехнического института
(технического университета)
посвящается*

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЭМА

**Сборник рассказов выпускников
Уральского государственного
технического университета -
Уральского политехнического института**

**Екатеринбург
“Архитектон”
2000**

УДК С6
П - 50

Политехническая поэма. Сборник рассказов / Сост.
В. Блинов, Г. Дробиз. - Екатеринбург: Архитектон, 2000. -
389 С.

Составители:
В. БЛИНОВ,
Г. ДРОБИЗ

ISBN 5-7408-0021-8

© В. Блинов, Г. Дробиз (составление)
© УГТУ-УПИ

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ

Не так уж в давние годы во многих вузах России и в нашем университете, тогда еще УПИ, развернулось общественное движение и учебно-воспитательное направление: **ОВЛАДЕЙ ВТОРОЙ ПРОФЕССИЕЙ!** Оно возникло не случайно и не по приказу сверху, а было подсказано самой жизнью студенчества.

Действительно, к примеру, будущий металлург, возведя в составе стройотряда не один телятник, получал разряд классного каменщика, стройфаковка во время ежеосенних картофельных баталий находила новое призвание толковой поварихи, некоторые члены вузовской народной дружины впоследствии переходили в профессиональные пинкертонеры... Известны выпускники УГТУ-УПИ, ставшие выдающимися спортсменами, крупными политическими и государственными деятелями, видными военачальниками, успешными предпринимателями.

Ярким примером овладения второй профессией стали и те политехники, которые еще в студенческие годы обнаружили тягу к искусству, к литературе.

Особенный всплеск и приход в общественную жизнь института внесли 60-е годы. Активная работа литобъединения, публикации в газете “За индустриальные кадры”, вечера поэзии в актовом зале УПИ, выпуск первых коллективных сборников прозы и поэзии, особая творческая атмосфера в газете БОКС, в любительской киностудии БОКС-фильм, обогащение собственными сценариями эстрадных коллективов – все это способствовало выявлению молодых талантов, которые не оставили занятий литературой и после окончания института. Более того, некоторые из наших выпускников стали известными на Урале и в России профессиональными писателями.

Назовем лишь несколько имен. Александр Филиппович, член Союза писателей, автор нескольких книг повестей и рассказов, крупного повествования из народной жизни “Житие”. Книги его выпускались в Свердловске и Москве. Высокую оценку дал им классик русской литературы В. Астафьев. А ведь закончил Александр энергофак и довольно успешно начинал свою карьеру на предприятиях области.

На сцене УПИ впервые прозвучали авторские песни Александра Дольского, студента специальности “Промышленное и гражданское строительство”. Сегодня голос его звучит не только в эфире и записан на диски, он воплощен и в нескольких талантливых поэтических книгах.

Кто не знает имени Глеба Панфилова, выпускника химфака, а ныне международно признанного мастера кино! Вот и в этом году на кинофестивале в Москве высокие отзывы получил его новый фильм “Романовы. Венценосная семья”. Не отпускает уральская тематика сценариста и режиссера! А началось все с того, что Глеб Панфилов снял любительские фильмы “Вставай в наш строй!” (о народных дружинниках) и “Нейлоновая кофточка”.

Премия “Литературной газеты” “Золотой теленок”, престижное изваяние “Золотого Остапа”, вручаемое на Международном конкурсе юмористов, – таковы две, но не все награды и знаки признания писателя-сатирика, поэта и сценариста Германа Дробиза. Выпущены книги, написаны сценарии. Произведения Г. Дробиза переведены на 15 языков мира. Нередко екатеринбуржцы могут прочитать произведения нашего талантливого выпускника в газетах, встретиться с ним на телеэкране. Не порывает связей с альма-матер мастер пера. Когда зал аплодирует остроумным шуткам и миниатюрам в исполнении коллектива “Звезды эстрады УПИ”, знайте – многие из них написаны Германом Федоровичем.

Продолжая трудиться по своей градостроительной специальности в Уральской архитектурно-художественной академии, профессор Владимир Блинов, почетный главный редактор БОКСа, продолжал писать стихи, рассказы, повести, выпускать книги. В 2000 году Екатеринбургская организация

Союза писателей России избрала его своим председателем.

В киосках Роспечати еженедельно нарасхват идет журнал “Красная бурда”. И кто его авторы? Опять же наши политехники, также коллективные лауреаты “Золотого Остапа”.

А кто не знает нашу команду КВН “Уральские пельмени”, костяк которой составляют выпускники химфака, электрофака. А танцевальный ансамбль “Визави”, дуэт пантомимы “Глеб и Валери”. Это все – второе, культурное, интеллигентное лицо наших политехов.

Не буду множить примеры. Скажу лишь, что в этой книге вы прочтете художественные прозаические произведения Бориса Фурманова, в недавнем прошлом министра строительства России; выпускника энергофака Бориса Матюнина, участника “Весны УПИ”, всех главных мероприятий, литературных турниров, члена сборной УПИ по самбо, а ныне известного московского поэта Владимира Дагурова: хоть он и кандидат медицинских наук, все равно он наш – по духу и по старой упийской дружбе.

Пять лет назад к 75-летию УГТУ-УПИ была выпущена книга стихотворений выпускников, студентов, преподавателей под названием “Втузгородок”. Книга прозы “Политехническая поэма” будет его достойным продолжением. Приурочена она к 80-летию нашего университета. Пусть этот томик станет примером того, как можно гармонично

развиваться, осваивая сугубо технические науки и дисциплины.

Наш вуз вступил в новый этап своего развития. В нем, как и полагается классическому университету, появились гуманитарные специальности, связанные с лингвистикой, с художественной обработкой материалов, с проблемами культурологии. Надеюсь, что сегодняшние политехники, физики и лирики, еще порадуют нас своими новыми творениями и продолжат славные традиции студенчества XX века.

Ректор университета-УПИ

(выпускник метфака 1963 г.

Другие профессии – чиновник,

ученый, в прошлом – волейболист)

Станислав Набойченко

18.08.2000

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ ...



Владимир Морозов

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Перед уходом домой Мише пришлось в голову закрыть от чужих глаз свой чертеж. Он прикрепил сверху ненужную старую схему. Но схема закрывала только часть листа, и Миша на всякий случай занавесил остальное газетой. Смысла в этой маскировке не было, потому что в кабинет механика никто не ходил, а сам хозяин был в отпуске, но Миша боялся теперь чужих насмешливых глаз.

Еще вчера он втайне желал, чтобы кто-нибудь заинтересовался его работой. Она казалась ему нужной для цеха и полной удачных решений. Но сегодня, уже почти закончив, он вдруг, к своему стыду, обнаружил, что пришел назад, к той конструкции, которую считал устаревшей и которую взялся усовершенствовать.

Всего колонн в цехе было пять. В них происходило превращение двух веществ, фенола и формалина, в смолу. Подвижная, пахучая жидкость, которая плескалась в смотровые стекла, на смолу еще не походила. Загустевала она дальше, в реакторах. Но качество ее зависело именно от работы колонн. При малейшем изменении температуры или давления с охладителя начинали сходить какие-то белесые сгустки или черные, очень твердые комья. Мишу давно

подмывало разобраться в сути химических превращений, понять, откуда берутся все эти комья и сгустки. Но он был механиком и, считая себя дисциплинированным человеком, не давал себе воли. Его любопытство казалось ему ребяческим. Химией должны заниматься технологи, а его дело – аппаратура.

Никто в цехе не заговаривал о замене колонн более совершенными, хотя было ясно, что без этого не обойтись.

Два месяца Миша увлеченно разрабатывал отдельные ее части. Чертеж сильно усложнился. Потом многое оказалось лишним и было стерто. И вот сегодня он ясно увидел, что сотворенная им колонна работать лучше, чем прежняя, не будет. Причем она оказалась сложнее, а потому и хуже старой. Значит, продолжать бессмысленно.

Опять навалилась тоска. Идти домой не хотелось. Куда угодно, только не в общежитие, где его ждет узенькая, одинаково со всеми другими, по-солдатски заправленная койка, тумбочка, одна на двоих, и чемодан в камере хранения. Соседи обычно приходят поздно ночью, чтобы сразу броситься в постель. Да и что еще можно делать в общежитии? Разве что пить водку? И соседи пьют, часто пьют. И сегодня идти в общежитие никак нельзя – день получки.

Он вышел из поселка и едва заметной тропинкой пошел через пустыри, свалки ржавого железа, мимо площадки, где строилась трикотажная фабрика и в длинных котлованах зеленела болотная вода. Как обычно, путь его лежал к лесу, где можно было

окупнуться в тишину и шорохи, побродить по мягкой хвойной подстилке.

Миша вошел в густой ельник, с обычным приливом радости вдохнул его пахучий воздух и тут обнаружил, что не может разглядеть ни одной тропинки.

Темнело. От земли поднимались густой сумрак и сырость, которая оттесняла вверх сухой дневной воздух. Было уже поздно гулять по лесу.

Он вышел на опушку, где из прошлогодней травы горбами выпирали округлые выходы гранита. Миша давно облюбовал себе плоскую плиту, на которой можно было посидеть, глядя на далекие заводские трубы. И подумать. О чем – затруднился бы объяснить.

Вот уже больше полугода, со дня своего приезда, он постоянно чувствовал себя сдавленным новыми, непривычными условиями. Новая жизнь начиналась, как тяжелая болезнь. Все было не то, к чему он привык, и совсем не то, чего он ожидал.

Жизнь в общежитии казалась временной. Здесь нельзя было жить. Можно было лишь ожидать жизни. Но изменения... Их могло не наступить долго, очень долго.

А работа вообще началась как-то странно. Его назначили в цех мастером по ремонту и забыли. Механик по-прежнему опирался больше на бригадира. Миша не просил себе работы. Еще со студенческих лет он усвоил, что инженер тем и отличается от рабочего, что дело для себя находит сам. Это – первое правило инженерной этики.

Он жил в постоянном напряжении, в боязни

оступиться, наделать ошибок и, главное, в постоянной боязни показаться смешным. Это напряжение спадало только здесь, на опушке ельника, вдали от завода и поселка. Сидя на камне, он блаженно расслаблялся. Иногда он думал, что не будь на свете вот таких пустынных уголков – леса с пружинящими мшистыми тропинками, пустырей, поросших полынью и лопухами, серенького, плотно укрытого тучами неба, – жить было бы невозможно.

Совсем стемнело. Он сильно продрог и потому решил возвращаться, хотя идти в общежитие было еще рано. Веселье там вряд ли кончилось. Но ведь можно не торопиться, и тогда на дорогу уйдет часа полтора. А потом еще сходить в столовую.

Как всегда, утром очень хотелось спать. Он шел на работу медленно, совсем не по-деловому, загребая ногами и тускло вперившись глазами в пространство сбоку от себя. Все люди, которые попадались навстречу, проходили с другой стороны. В поле зрения они не попадали, и как-то так получалось, что Миша ни с кем не здоровался. А знакомых было много, потому что Миша был, в сущности, общительным человеком. Во всяком случае, участвуя в комсомольских делах, он перезнакомился со всей молодежью завода, той молодежью, которая по вечерам училась, дорожила каждой минутой и как-то находила время для рейдов и сатирической газеты. Но по утрам он всегда так вот ковылял, никого не замечая, и знакомые постоянно обижались.

Мысли опять вращались лениво вокруг программы

его действий, осуществление которой должно было резко улучшить работу цеха. Было время, когда он гордился этой своей программой. Ему мерещилось великое обновление, которое однажды наступит в цехе, и собственная подвижническая, кипучая жизнь. Но постепенно он понял, что все это мелко, не затрагивает главного...

Нет, единственным стоящим делом в пестрых его планах была колонна. Была...

Миша взялся за ручку обшарпанной, лоснящейся двери слесарки и внутренне съежился. Как ненавидел он эту дверь и устоявшийся за нею запах горелой стружки, масла и проникающих всюду паров фенола. Предстояли пятнадцать минут ежедневной пытки. Тяжело было и раньше, когда механик перед началом смены раздавал слесарям работу и подробно объяснял, что и как делать. Только Миша, по должности мастер и первый помощник механика, оставался в роли наблюдателя, с которым и говорить-то, собственно, не о чем.

Но гораздо хуже стало после того, как два дня назад механик ушел в отпуск. Перед этим он имел долгий разговор с бригадиром Поповым, которому передал текущие дела, а Мише как-то между прочим предложил по-прежнему приглядываться.

Теперь весь ритуал утренней оперативки нарушился. Как и всегда, рабочие собирались в слесарке за пятнадцать минут до смены, но никаких заданий не получали, а курили, свесив ноги с верстаков, или “забивали козла”. Ровно в восемь Попов бросал

костяшки и командовал: “Ну пошли!” И слесари, забрав инструмент, расходились. В мастерской оставался только Генка Санин – газосварщик.

Миша считал, что обязан проводить начало дня в слесарке, как это ни тяжело, хотя именно его присутствие нарушало привычный распорядок. В эти минуты он чувствовал себя чем-то вроде большой и тяжелой тумбы, которую все старательно обходят, боясь задеть.

Но сегодня была прямая необходимость зайти в мастерскую. Дело в том, что накануне начальник цеха прямо ему приказал взять газосварщика и врезаться в линию острого пара на второй теплообменник. Видно было, что начальник цеха не в курсе того, кто командует делами. Миша постыдился идти разыскивать Попова и докладывать ему. Он зашел в слесарку и приказал Генке готовить завтра аппарат к работе. Генка в ответ хмыкнул как-то весьма неопределенно и презрительно. Однако вместо того чтобы сразу уйти, Миша еще долго топтался около него и объяснял, зачем нужен аппарат, а также, что это – прямой приказ начальства. Он надеялся, что через Генку его просьба дойдет до Попова, и таким образом действия его будут узаконены, тем более что для врезки нужна еще и помощь кого-то из слесарей.

Зайдя в слесарку, Миша тут же стал искать глазами Генку. Все шло как обычно. Стучали костяшки домино, мужики с папиросами в зубах дремали у верстаков. Генка о чем-то вещал в углу компании давно не стриженных салажат. Он нехотя цедил слова, салажата

угрюмо молчали и ритмично сплевывали сквозь зубы. По звуку можно было подумать, что в углу доят корову.

По мере того как время приближалось к восьми, Миша все больше и больше волновался. Он абсолютно не знал, что будет делать, если сейчас Генка вместе со всеми встанет и уйдет. Возможен также и другой вариант, когда Генка пойдет настраивать аппарат, а слесаря ему в помощь не будет. Тогда придется идти к Попову, все объяснять и просить хотя бы на часик одного человека.

В восемь Мишу начало лихорадить. Он почувствовал, что неудержимо бледнеет. Не хватало только, чтобы еще начали дрожать губы.

Слесарка опустела. Генка в одиночестве докуривал сигарету. Ни малейшей решимости начинать трудовой день он не проявлял. Миша понял, какую большую глупость совершил вчера, когда не пошел разговаривать с бригадиром. Теперь все пропало. Он судорожно глотнул воздух и пошел к Генке объясняться.

– Гена, ну что, аппарат-то... – начал он, чувствуя, что говорит совсем не то, что надо.

– Что Гена? Что? За мной дело не станет. Вот Михалыч пусть сначала свое сделает, а мне наладиться – раз плюнуть. Только нападают все, как эти...

Ворчливую тираду он закончил неопределенным, хотя и энергичным жестом и отвернулся. Генка был, как всегда, “в сердцах”. Это была его манера самоутверждения.

Миша огляделся. Они и в самом деле были не одни. У верстака стоял Александр Михайлович и

неторопливо вжикал напильником. Миша почувствовал горячую благодарность к бригадиру, который дал ему для пустяковой в сущности работы самого лучшего, самого опытного слесаря.

Он подошел к Михалычу и спросил, когда все будет готово?

– А это зависит от вентиля, – рассудительно ответил старик. – Если седло хорошо притерто, так быстро. А если нет – будем притирать. На пар без ревизии не ставят... Да ты, Михаил Викторович, иди к себе. Я позвоню. – Он кивнул головой в сторону телефона.

Миша облегченно вздохнул и вприпрыжку побежал наверх. Если уж за дело взялся Михалыч, можно быть спокойным.

В его памяти совсем незаметно отложилась еще одна маленькая крупинка тех практических знаний, которых ему так не хватало. Конечно, вентиль со склада сначала следует разобрать, снять лишнюю смазку, проверить – дает ли он плотность. Тем более, когда ставишь его на пар. Но в том-то и дело, что сам Миша об этом бы не догадался. Вся цеховая работа состоит из таких вот мелочей, и, не зная их, нельзя даже и браться ни за какое дело. В сущности, он уже давно накапливал знания, не замечая этого.

Миша поднялся к себе на “голубятню”. Так называли в цехе кабинет механика, выгороженный из листов железа под самой крышей. В “голубятню” вел такой крутой металлический трап, что даже и сам механик старался бывать там как можно реже. За своим большим запущенным столом возле окна, глядящего

на крыши других цехов и синие лесные дали, сживал он только в тех случаях, когда нужно было “поговорить по душам” с кем-нибудь из прогульщиков. При этом Мишу неизменно просили “пойти проветриться”.

Миша убрал схему, которая закрывала чертеж, и задумался. У него еще оставалось две-три идеи, которые можно было бы попробовать осуществить, но теперь эта работа была бессмысленна. Как хорошо, что механик ни разу не поинтересовался, что там чертит его помощник.

Миша стремительно вскочил и бросился снимать лист с доски. Скорее убрать его, пока никто не видел.

– Не то, – громко сказал он. – Совсем не то. – Он подошел к окну, открыл форточку и, глотнув чистого воздуха, спросил себя – А что же?

Делать ему теперь было совсем нечего. И было непонятно, зачем каждый день ходит он в этот цех, где все идет без его участия. А если копнуть глубже, то непонятно, зачем он вообще живет.

Миша еще раз вдохнул свежего воздуха и побрел к своему столу. По дороге он нарочно ступил ногой в то место, где металлический лист пола вздулся пузырем. Лист прогнулся и громко хлопнул. Миша поймал себя на том, что пытается еще раз надавить ногой на пузырь. Это было уже мальчишеством, стыдным для молодого инженера.

С лестницы послышались чьи-то шаги. “Голубятня” слегка закачалась. “Кого это несет?” – удивился Миша.

Дверь отворилась, и на пороге показалась знакомая высокая и узкая фигура Альберта. Закрыв дверь, он

бросил свое отрывистое: “Здорово, орел!” – и принялся тщательно протирать очки. Без очков он ничего не видел и потому, пока не кончил, так и стоял возле двери. На фоне ржавых железных стен он казался особенно чисто вымытым, отутюженным и причесанным. У Альберта были светлые волосы, очень белая кожа, его узкое подвижное лицо в сочетании с неизменной белоснежной рубашкой производило впечатление особо утонченной интеллигентности. Альберт знал об этом и ежедневно ночью стирал себе рубашку, а утром гладил, чтобы пойти на работу в свежей. Мише всегда было как-то неловко рядом с ним. Он казался себе неряшливым и еще более некрасивым, чем обычно.

Наконец Альберт надел очки и прежде всего аккуратно свернул носовой платок, точно по линиям сгиба, и лишь потом взглянул на своего товарища.

– Ну что, – проговорил он холодно и деловито, – киснем? Делать нечего, а время бежит, да? Молодость проходит в этом, – он брезгливо огляделся, – курятнике.

– Проходит, – подтвердил Миша, радостно улыбаясь, – горит синим пламенем.

– Тлеет, – поправил его приятель. – Чадит и тлеет.

– Вот именно. Это я и хотел сказать. А ты как сюда попал?

– Да вот, шел мимо. А не навестить ли, думаю, моего орла? Я ведь завод обследую. Для диссертации.

– Как для диссертации?

– Ну, это – версия для начальства. А для тебя – просто шляюсь от нечего делать. Всем что-то скучно стало. Взяться-то не за что. Кому нужны мы с нашими

теоретическими познаниями? Дыры латать – вот все, что здесь нужно от нас. Толик, Вовка об этом толкует, Ирена из Соликамска пишет, Ольга... Не мы одни... Кстати, от Ольги тебе большущий привет... Слушай, давай-ка ты к нам в ЦЗЛ переходи, а?

– Это чтобы вместе завод обследовать?

– Эх, Мишка... виноват, Михаил Викторович! Ну что вы, дорогой, киснете тут среди вентиля и задвижек? Жить надо. И спешить ухватить свое, пока молод. Потом поздно будет. Вот, к примеру, хоть я: числюсь инженером-исследователем, делаю диссертацию. Здороваются со мной за ручку. Лаборанточки глаз не сводят. Восхищению нет границ. Но если быть объективным, если вести рассуждения, как говорит шеф, с необходимой корректностью, то я даже понятия не имею, с чего начать. Да и начинать что-то не тянет.

Откинувшись на спинку стула и даже слегка покачиваясь на нем, Миша с удовольствием слушал болтовню своего приятеля. Ему было хорошо, как еще никогда не бывало в стенах “голубятни”. Безмятежная улыбка расплзалась по его круглому лицу до самых ушей.

Ему нравилось это последовательное легкомыслие Альберта во всем. Нравилось и то, как оно сочетается с внешней холодной деловитостью, быстрой и суховатой речью, уснащенной, когда надо, самыми экзотическими научными терминами. Особенно льстило Мише то, что однокашник не таится, не играет в делового человека, а говорит с ним вполне откровенно. Но, самое главное, он узнал, что не одинок в своих мучениях: всех постигло то же – вынужденное

безделье и непонимание, зачем они на заводе и что могут ему дать. Всем так же некуда приложить свои силы. Значит, не он виноват во всем. И значит, можно к самому себе относиться с юмором.

Человек импульсивный и эмоциональный, Миша тут же решил, что отныне перестанет принимать всерьез окружающее, пошлет подальше свои планы и замыслы и целиком переключится на личную жизнь.

Между тем Альберту наскучило говорить о работе, и он начал расписывать одну за другой знакомых девушек. Со всеми у него была любовь, и притом одновременно.

Миша пришел в восторг. Ему только было непонятно, как это приятель все успевает.

Он всегда немного завидовал Альберту. Всегда у того все получалось как-то легче и правильнее, чем у Миши. Взять хотя бы их появление на заводе. Они еще в институте уговорились ехать вместе и оба проситься в цех, на живое дело. До института оба нигде поработать не успели и теперь как-то полуосознанно чувствовали, что им этого не хватает. В приемной главного инженера, дожидаясь очереди, они говорили о том же: в цех, только в цех, лучше всего в новый, где только еще идет освоение. И ни на какую конструкторскую работу не соглашались.

Миша так и сделал: уперся как бык и добился своего, хотя главный остался недоволен. А вот Альберт неожиданно легко согласился пойти в ЦЗЛ.

– Так уж получилось, старик. Ничего не поделаешь,
– говорил он потом, как бы оправдываясь, но безо

всякого смущения. Чувствовалось, что такой оборот дела ему даже нравится и что у него есть некоторые свои, пока еще потаенные, сладкие мысли.

Работа у них оказалась в разных концах заводской территории, а в общежитии их поселили на разных этажах. Поэтому они как-то редко бывали вместе и постепенно отвыкли друг от друга. Теперь Мише очень хотелось поближе сойтись с приятелем, завести общий круг знакомых девушек и зажить наконец полной и кипучей жизнью. А цех – ну его! Да, Миша, – вспомнил вдруг Альберт, – я ведь совсем забыл, зачем пришел. Заходи к нам в сто десятую комнату вечером попозже, часиков в одиннадцать. Пульку распишем на всю ночь. Нам четвертого не хватает. Лады?

– Алька, знаешь, – замялся Миша, – я ведь не умею. Ну, куда мне садиться с вами...

– Чепуха, научим. Нужна своя постоянная компания и, главное, – он страдальчески сморщился, – интеллектуальная.

– Неудобно ведь. Я, честное слово, не умею, – Мише хотелось со всем соглашаться. Он так и плыл в объятия своего друга.

– Ах, Михаил Викторович, грешно, дорогой. Стыдно. До сих пор не освоить преферанса. Ведь это же гимнастика для ума, как сказал кто-то. И, кроме того, могу от себя добавить – бездна поэзии.

С лестницы вновь слышались гулкие шаги. Альберт смолк на полуслове и взялся за портфель.

– Ну, пока, старик, – сказал он отрывистой скороговоркой, очень четко выговаривая слова. – Обо всем переговорим вечером. Я побежал. Дел много.

– Подожди, все равно на лестнице двоим не разойтись.

– А-а. Ну что ж, ну что ж.

Лицо его вытянулось, модные очки без оправы бесстрастно сверкали чистыми стеклами”. Он застыл возле двери. Мишу еще раз поразило, до чего плохо сочетается со ржавым железом “голубятни” его как будто только что выстиранная фигура.

В двери показался начальник цеха. Альберт с достоинством кивнул и исчез.

Миша растерялся, до того неожиданным было появление здесь начальника. А гость между тем уселся за стол и начал рассматривать какие-то захватанные грязными пальцами бумажки.

– Газосварщик свободен? – спросил он как бы между прочим.

– Да. Пока. Скоро начнем врезаться в паровую линию.

– Отменяется, – бросил начальник, все так же рассматривая бумажки.

Миша неотрывно смотрел на него, от удивления часто моргая.

– Вот что, Михаил Викторович, – заговорил наконец начальник отрывисто и сухо. – В цехе авария. Придется вам этим заняться.

– А что случилось?

– Вышел из строя второй котел. Аппаратчики его очищали и умудрились проткнуть дно скребком. Да еще

пар в рубашку пустили, растяпы. Вы знаете, что это такое? Удивляюсь, как мы еще не взлетели в воздух.

– Большая дыра?

– А это вы сами увидите. Сходите и посмотрите”
Времени мало. Нужно поворачиваться. Если к четырем часам не заварим, цех придется останавливать:

Миша представил себе внутренность огромного реактора, тускло сверкающую желтой медью. Что-то вызвало беспокойство. Что?.. Ах да, медь, конечно же медь.

– Вам все ясно? – спросил начальник,

– Нет.

– Вот как?

– Одной горелкой не заварить. Аппарат медный, а как вы знаете...

– Понял. Придется греть металл вокруг места сварки. Через полчаса будет вторая горелка. Возьмем у соседей. В качестве второго сварщика используйте Александра Михайловича. Он имеет право варить. Ну, действуйте.

Прыгая через две ступеньки, Миша поспешил вниз, в слесарку. Что делать, он толком не знал. Ясно было одно: надо во что бы то ни стало привести котел в порядок к концу дня. Иначе будет худо.

Генка безмятежно курил, устроившись у радиатора. Он даже не повернул головы, продолжая свое занятие, пока Миша объяснял, в чем дело. Михалыч молчал.

– Сейчас доставят еще одну горелку, – говорил Миша, волнуясь. – Придется греть металл вокруг места сварки. Иначе, тепло будет растекаться по обшивке, и дыру нам не заплавить.

– Это уж точно, – подтвердил Михалыч. – Известное дело – медь.

– Ничего не выйдет, – ворчливо изрек вдруг Генка и мастерски сплюнул. – В третьем цехе был в аккурат такой же случай. Так они тремя грели – и то не вышло.

– Ты что это мне киваешь на третий цех! – рассердился вдруг Михалыч. – Знаем мы этих лоботрясов. Сроду у них ничего не получалось. Ты, Гена, больно много знаешь.

– И знаю. Знаю!

Миша слушал эту неожиданную перепалку и растерянно думал, что и впрямь Генка-то прав.

– Что же будем делать? – невольно вырвалось у него.

– Как, что?

Генка круто остановился, вскинул курносое свое лицо, развел в стороны короткие руки и как бы с изумлением произнес:

– Работать.

– Вот это правильно, Гена, – поддержал Михалыч. – Работа, она сама подскажет, как быть. Глаза боятся, а руки делают. Правильно, Михаил Викторович?

Из люка показался сначала Михалыч, потом Генка. Потные, измученные, они сняли противогазы и уселись прямо на крышке аппарата. Дышали жадно и время от времени начинали кашлять.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Миша.

Они безнадежно замахали руками.

– Ни в какую, – в перерыве между приступами кашля объяснил Генка.

– Эх, Гена, не курил бы ты, – сказал Михалыч, который гораздо быстрее справился с кашлем.

– Один черт помирать.

– Это по молодости ты так говоришь. Будет время – вспомнишь еще меня.

– Сорок одну минуту грели, – сказал Миша. – Я засек по часам. Неужели все впустую?

– Надо бы еще погреть, – обратился к нему Михалыч.

– Под конец кромки стали оплавляться. Так, Гена?

– Так-то оно так. Еще минут пятнадцать, и одолели бы. Только сил нет больше. Вот, ей-богу, Мишка, нет сил! – Он яростно сплюнул.

Михалыч расстегнул куртку и стал растирать рукой грудь. “Трудно старику, – подумал Миша, – ведь ему уж под шестьдесят. Какой же я скотина, что посылаю Михалыча в аппарат. Вот если бы самому... И Генка бы подольше выдержал”.

– Пошли! – сказал вдруг Михалыч и принялся надевать противогаз.

– Что так скоро?

В голосе Генки звучала беспомощная обида. Ему не дали отдохнуть, не дали даже покурить.

– Спешить надо. Пока металл не остыл.

Тут Миша неожиданно для себя произнес:

– Александр Михайлович, дайте мне вашу робу и противогаз.

– Сам, что ли, полезешь?

– Сам, – признался Миша и начал оправдываться: – Я ведь умею. В институте проходили. Даже варил сам, на практике.

– Ну, тебе виднее, ты – хозяин. Только не дело это. Не имеем мы права.

– Я за все отвечаю. И потом: это же просто. Гена мне зажжет горелку, а я буду только держать. Я все видел сверху. А вам надо отдохнуть. – Миша повернулся к Генке, ожидая от него обычных сварливых возражений. Но тот, к его удивлению, ворчать и не думал.

– погоди, – сказал он, – я сбегаю вниз. Попробую включить автоген на всю катушку.

– А что, это возможно?

– Увидим.

И Генка, смешно шлепая широкими своими ступнями, помчался на улицу.

– Ну, вот видишь, – кивнул Михалыч в его сторону, – зажег ты малого. Теперь хоть до вечера просидит в аппарате. Ребята наши все его шпыняют, бригадир за язык недолюбливает. Напрасно. Золотой парень.

Не успел Миша надеть робу и фартук, как Генка уже вернулся.

– Порядок, – сказал он. – Теперь факел во какой будет. А карбиду мало. Хватит на полчаса.

Внутри было темно, как в затонувшем корабле. В ушах у Миши стоял гул и будто плескались волны. Нестерпимо пахло резиной. Генка зажег его горелку. Струя пламени била на полметра, и Миша боялся обжечь напарника. Сразу стало жарко.

Они принялись за работу. Генка грел место сварки, а Миша водил своей горелкой вокруг. Иногда Генка грубо брал его за руку и отводил факел в другое место. Миша повиновался, и Генка кивком головы выражал одобрение. Миша был очень горд своей понятливостью.

Ему стало душно. Казалось, кто-то там, снаружи, наступил ногой на шланг, подающий воздух. Кроме того, запотели стекла очков. Это было хуже всего, потому что он больше ничего не видел, кроме желтого расплывчатого пятна пламени. Но тут Миша заметил, что в нижней части стекол скопилась влага. Он помотал головой, и светлые капли прочертили на матовой плоскости очков чистые дорожки. Стало легче. Вновь увидел он желтое мерцание стен, черные силуэты горелок и ярко освещенную рваную рану в обшивке. Круги, которые он делал своим факелом вокруг этой раны, то расширялись, то сужались. Стенка быстро разогревалась. Ее жар он чувствовал даже сквозь суконную куртку. Дышать стало совсем трудно. Казалось, что он с трудом, по каплям высасывает пропахший резиной кислый воздух. Одежда пропиталась жаром. Нестерпимо жгло подошвы ног. Пот катился по лицу и слепил глаза.

“Мы сейчас сгорим, – подумал Миша. – Изжаримся заживо”.

В сущности, ему с самого начала было страшно в этом замкнутом пространстве в опасно близком соседстве с ревущим пламенем. А теперь ему казалось, что не тепло разогретой обшивки жжет ноги, а огонь горелок, незаметно охвативший все днище. Каждую секунду думал он о том, что все, что теперь-то уж больше не сможет.

Между тем совсем незаметно было, чтобы рана начала оплавляться. Пламя выбивало из ее краев искры. Это горела медь.

Вдруг Генка схватил его горелку и направил факел туда же, на пробоину. И только тут Миша заметил, что очертания раны чуть заметно изменились. Генка подсыпал буры и сунул, в пламя медный прут. Оранжевые капли стекали с конца прутка и, подхваченные вихрем огня, неслись к зыбким, колеблющимся краям отверстия. Оно становилось все меньше. Наконец осталась только желтая, переливающаяся лужица металла.

Миша стащил с себя маску противогаза и выплеснул из нее пот. Воздух казался свежим и пьянящим, несмотря на особенно осязаемый после противогаза въедливый запах фенола.

Генку опять бил кашель.

– Молодцы, ребята, – проговорил Михалыч, усаживаясь возле них на корточки. – В аккурат успели. Я все боялся – газа не хватит. Отдыхайте теперь... Пойти окно затворить, не то просквозит.

– Не надо, Михалыч, – взмолился Генка. – Кислорода хочу, – и снова мучительно закашлялся.

– Эк ведь как тебя. А еще говоришь, не надо.

Миша с наслаждением потянулся. В нем росло давно уже забытое чувство уверенности в себе. И Генка и Михалыч казались ему необыкновенно добрыми и близкими.

Между тем Михалыч, понимая, что из-за кашля Генка не может возразить, неторопливо поучал его. “Ты, Гена, если уж не можешь бросить, так хоть кури поменьше. А то, знаю ведь, по три пачки высасываешь. Что, не прав я? А ты попробуй по часам: через два часа – сигаретка. Увидишь, сразу легче будет”.

– Ладно, Михалыч, – проговорил наконец Генка, – учтем. – Он вдруг сорвался с места. – Пойти зарядить автоген, – сказал он. – Может, еще успеем врезаться в паровую линию.

– Нет, – засмеялся Миша. – Хватит, шабаш. Отменяется.

В душевой они с Генкой резвились, как щенята: хлопали друг друга по спине мыльной мочалкой, обливали холодной водой, хохотали и повизгивали. Михалыч улыбался, качал головой и урезонивал: “Ну, будет, будет. Ишь, расшалились. Эх, силу, видно, некуда девать”.

Распаренный, разомлевший, но все еще полный задора, вышел Миша из душевой и столкнулся с начальником цеха. Тот спешил и потому быстро прошел дальше. Через несколько шагов он вдруг обернулся и ядовито прошептал:

– Что, трудовой подвиг совершил, так тебя и раз-этак! Герой. Дай на тебя погляжу, давно героев не видел. Ну, герой и есть. Да знаете ли вы, что я обязан выговор вклеить за такое геройство?! У него двадцать мужиков в подчинении, а он, видите ли, сам в котел лезет! Чтобы это, значит, собственноручно... – Он хотел что-то еще добавить, но, разглядев в полутьме коридора, как вытянулась Мишина физиономия, изменил тон: – Вот что, Михаил Викторович, сегодня решать будем, что с вами делать. Пройдите в мой кабинет и подождите. Я скоро освобожусь.

Миша побрел по коридору. В нем закипала обида. Попробовал бы начальник на его месте. Сам-то, навер-

ное, никогда не бывал в таких переделках. Ведь не заварили бы. И цех бы сейчас стоял. “Все равно я прав, – думал Миша. – Я, а не он. И пусть кричит на меня сколько хочет. Хоть до утра!” Миша почувствовал в себе прилив спасительного упрямства, набылся и прошел в кабинет.

Ждать пришлось долго. На улице начало темнеть. Миша включил свет. Боевой задор постепенно улетучился. Он опять чувствовал себя раздавленным и никому не нужным. Снова он не понимал, что происходит, зачем он здесь, если цех в нем не нуждается? Ведь это же ясно как день. Почему не дают ему никакой работы? Почему любая попытка делать хоть что-то встречается насмешками или молчаливым, твердым, как камень, противодействием? Что бы он ни предпринимал, все только укрепляло за ним репутацию несерьезного, легковесного человека. Так не лучше ли – уйти в ЦЗЛ к Альберту? Это будет отступлением, но что еще остается?.. Нет, в ЦЗЛ нельзя. По крайней мере, сейчас, когда он ничего вокруг не понимает. Прежде надо разобраться...

Ожидание явно затягивалось. “Хочет помучить, – думал Миша, – подержать подольше, чтобы осознал вину... Надо ему сказать прямо: дайте мне работу, надоело бездельничать... и приглядываться. До каких пор?! Что же делать, если сам я не могу найти себе дело?.. Ну, дурак я, может быть. Вернее, малоспособный, бесперспективный инженер. Но ведь жить-то надо и таким. Какое-то дело есть и для них... Зачем же меня мучить? Выгони, если не нужен...”

Наконец дверь распахнулась. Начальник цеха стремительно прошел к столу, бросился в свое кресло и шумно вздохнул.

– Подсаживайтесь поближе, – проговорил он наконец.
– Это ничего, что я задерживаю вас после работы? Ответить Миша не успел.

– Вот что, Михаил Викторович. Давайте говорить прямо. На механика вы явно не тянете. Да и на мастера тоже...

– Дайте мне работу. Нельзя же так сразу...

– Знаю, знаю, – перебил начальник, приглаживая свои короткие, ежиком, волосы. – За этим я вас и пригласил... Так вот, механик у меня есть, и еще лет пятнадцать проработает. А если уйдет – поставлю Попова. На этой должности ваши знания не нужны...

Он остановился и, выждав паузу, продолжил:

– Мне нужен технолог... Мы, Михаил Викторович, все закручены. Текучка... Уже через пять лет забываешь, что ты – инженер, что и тебя чему-то учили... Кстати, вы знакомы с монографией Соколовского?

– Нет, – признался Миша. – Давно хотел....

– Возьмите, поизучайте. Это – наша настольная книга.

Он взял с полки толстый том и подал Мише.

– Так вот, я хотел было по-дружески предложить вам перейти куда-нибудь в другое место, – заговорил он снова, – ни к чему болтаться без дела... Но сегодня я случайно в вашем кабинете на полу обнаружил чертеж. – И он раскатал на столе знакомый до мелочей лист ватмана. – Надеюсь, ваша работа?

– Да, – проямлил Миша, краснея. – Только это так...
– Вот как? – начальник выглядел крайне удивленным.
– И поэтому чертеж на полу?.. Знаете, вы допустили одну обычную ошибку: начиная разрабатывать что-то новое, нужно прежде всего решить проблему масштаба. Представьте себе, что новая колонна призвана заменить не одну, а сразу все пять старых...

Вглядываясь в знакомые линии чертежа, Миша с удивлением обнаружил, что многие трудности, которые он с трудом преодолевал, сами собой исчезают с увеличением размеров аппарата.

– Вы меня поняли? – спросил начальник. Миша энергично кивнул.

– И вот еще что. Такие дела начинают с изучения химизма процесса. Дайте-ка мне Соколовского. Миша подал ему книгу.

– Вот здесь, – продолжал начальник цеха, – на странице сто пятьдесят второй есть диаграмма. Видите? Наша смола может быть получена в двух температурных интервалах: сто десять – сто семнадцать градусов и двести – пятьсот. Мы работаем в нижнем интервале. Но это совсем не обязательно... Теперь представьте себе, что мы рискнули перейти на второй, широкий интервал температур... Все побочные процессы здесь отсутствуют, а поддержание режима из ювелирно-тонкой работы превращается в самую простую. Смотрите, что получается. Вот эти все финтифлюшки, – он энергично щелкнул пальцем по листу, – становятся ненужными. И что же остается?

Вопрос не был риторическим, и Миша ответил:

– Ничего.

– Как это ничего? Труба. А также вот эти перфорированные диски... В общем, вот ваш чертеж. Из группы механика я вас забираю. Жду разработки на уровне эскизного проекта. Заниматься только этим.

Миша встал.

– Соколовского не забудьте, – напомнил начальник цеха. – И осторожнее в коридоре. Там нет света. Не хватает еще, чтобы после благополучной прогулки в котел вы получили травму в стеклянных дверях.

Миша забежал на “голубятню”, чтобы оставить чертеж. Щелкнул выключатель, кабинет осветился ярким и резким светом. Цеховой гул доносился сюда приглушенно. Стены от него слегка вибрировали. В мрачноватой железной клетушке ему вдруг стало уютно, как дома. Долго сидел он, глядя на чертеж, и мысленно рисовал новую колонну. Он совсем забыл про Альберта и свое обещание прийти к нему на партию преферанса. Все, что еще недавно мучило его, будоражило надеждами и рушило их, отодвинулось далеко, ушло в небытие и, казалось, никогда уже не сможет вернуться. Но это было не так. Уже завтра ему предстояли те же муки, та же неуверенность в себе, то же непонимание окружающего. И все-таки в чем-то иное, перешедшее в новую фазу.

Его подмывало немедленно наколоть новый лист ватмана и сейчас же приняться за дело. Но он все-таки был человеком дисциплинированным и потому заставил себя пойти домой спать.

Аркадий Зарх

ПОСИДЕЛКИ ПО СЛУЧАЮ...

Микрופовесть-ностальжи

Студентам моего поколения с любовью

Вместо пролога

Я взглянул вовнутрь себя, а также в зеркало, и душа моя... Но виду не подал. Пригладил, что еще можно приглаживать, оглядел встречающих меня в тесном коридоре и бодро выдал:

– Что, мужики! Опадают волосы и листья?

– Опадают, батюшка-староста, опадают.

У мужиков были седины всевозможных расцветок. У Вадима Зайцева просто белая грива, у Валеры Шарова даже отдает желтизной. Про себя лучше промолчу. Только Женя Чернов молодцом. Так, отдельные вкрапления белого на черном. Первозданная черная шевелюра и выразительные брежневские брови.

Вон там, ближе к кухне, около Тамары Ватрушки, кучкуются наши девочки. Ну и что же с того, что все до одной на пенсии. И мы далеко не мальчики. Главное, что все-таки собрались...

Началось с того, что позвонил Валера Шаров, как всегда неожиданно и не вовремя. Уральская фракция, дескать, решила провести очередную встречу в субботу. Все подготовительные работы выполнены, письма и ответы на них получены. Ты, мол, как наш бессменный

староста должен быть обязательно без всяких отговорок. Чертыхнулся, похныкал про себя. Надо же, уральская фракция решила. Сказал бы Валера прямо, что так решила его жена Тамара Ватрушка. Ватрушка – это не кличка и не прозвище, а добротная украинская фамилия. Что-то эдакое пышное и сдобное. На самом же деле принадлежала эта вкусная фамилия женщине решительной, с командирскими наклонностями, соответствующим голосом и напором, лучше всех знающей, что после окончания вуза надо встречаться, что Валере и всем остальным это самое оно то...

Кто мог подумать тогда, в далеком шестьдесят первом, когда выяснилось, что солидная часть группы остается в Свердловске, то бишь в Екатеринбурге – возникнут Уральская фракция и иногородние. Строго говоря, все в группе были иногородними за редким исключением. Тогда-то и объявили в шутку ли, всерьез ли, что оставшиеся в городе – это Уральская фракция, а все остальные – иногородние.

Интересно, сознавали ли Уральская фракция, что они – обычная инженерная лимита, только-только начинающая завоевывать большой город? Теперь-то, конечно, столичные жители. Я решил, что надо идти на очередные посиделки по случаю начала очередной годовщины. Мало ли что, я уже длительное время в беспросветном дрейфе. Бизнес увял, не успев расцвести. В общем, кризис жанра, и жизнь дала трещину. Впрочем, любопытно взглянуть друг на друга по прошествии долгих лет...

... На наших девочек я взглянул. От комментариев

воздержусь. Скажу только, что как были, так и остались поджарыми, и бремя борьбы с целлюлитом – это не для них. Мало кого красит пенсия.

... Ватрушка потащила за стол. Стол вопиял и отражал то, во что превратилась некогда благополучная советская научная элита за годы перестройки, демократии и торжества свободного рынка. Явными украшениями смотрелись редкие тарелочки и блюда с нарезанной колбасой и селедкой. Все остальное – плоды личных садов и огородов: соленья-маринады, картофель-моркофель и их разновидности. Чем богаты, тем и рады. По прошлым встречам знаю, что по поводу водки проблем быть не должно. А это, согласитесь, уже кое-что.

Женя Чернов начал активно проявлять нетерпение. Семеро одного не ждут. И вообще, перед полетом необходимо присесть. Поэтому – за стол.

Летчики – пилоты

Я решительно отказался вести стол и предложил вместо себя Женю Чернова. Согласились. Женя растекся мыслью по древу, начал с момента создания группы. Что же, тем лучше. Можно присмотреться к присутствующим. За пять лет пребывания старостой я не хуже любого кадровика успел узнать и запомнить анкетные данные своих однокурсников. Ху из ху, так сказать. Память переносит меня в август пятьдесят шестого года. Вступительные экзамены...

Эти двое сразу обращали на себя внимание всего потока, огромного потока абитуриентов. Казалось, что

в городе только один вуз, что на Политехническом свет клином сошелся. Яростные дискуссии физиков и лириков были еще впереди. Намного позднее, ближе к нашему выпуску появились “Девять дней одного года” с Баталовым – Димой Гусевым. Тем не менее престиж технических специальностей тогда был очень высок. Политехнический напоминал осажденную крепость, взять которую по законам стратегии можно было только при многократном превосходстве наступающих сил. Иначе говоря, на одно место находилось шесть-восемь претендентов. А как же по-другому.

Плакаты утверждали, что “Этот день не за горами. К цели Ленинской спеша. Мы широкими шагами перегоним США”. Неудобно же перегонять без высшего образования.

Так вот эти двое сразу обращали на себя внимание подчеркнутым армейским шиком: блестящие офицерские сапоги, обуженные галифе-бриджи, отглаженные гимнастерки, с небрежно расстегнутыми верхними пуговицами, забуревшие от загара шеи, на фоне которых ослепительными казались белые подворотнички, офицерские же ремни и следы недавно снятых погон. Ну прямо “Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет”. Коль скоро “были мы в политике подкованы”, то и сообразили, что они из тех, что попали под знаменитое хрущевское сокращение Вооруженных сил на один миллион триста пятьдесят тысяч. Вот так-то: мечтали ребята о военной карьере и вдруг по росчерку пера Генсека очутились на улице. Кошка бросила котят. Это были Женя Чернов

и Боря Поленов – вчерашние летчики-пилоты, а ныне как и мы, десятиклассники, – абитуриенты. На равных. Кто-то из наших успел познакомиться с ними в ходе экзаменов.

Иван Глазов сидел рядом с ними на сочинении. Оба выбрали тему: Горький. Роман “Мать”. Потом он всегда от души хохотал. Было от чего. Исписали от силы по пять страничек, положили на стол экзаменатору и гордо удалились, нещадно скрипя сапогами. Они, говорит, на последней консультации узнали, что был такой пролетарский писатель А.М. Горький. И вообще Максим Горький – это, по их понятиям, довоенный суперсамолет. Поэтому и писали по несколько раз на каждой странице “мы советские летчики, мы как советские летчики, нам кто-то там дал стальные крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Иван честно округлял глаза и утверждал, что все остальное было занято сравнением летно-технических и боевых особенностей различных самолетов времен прошедшей войны. Впоследствии, слыша это, Боря и Женя помахивали и многозначительно улыбались. Тот же Иван разнюхал, что оба подучили твердые тройки, резолюция была такая: тема раскрыта удовлетворительного сочинения проникнута идущим от сердца советским патриотизмом.

И вот, наконец, собеседование в деканате, первое общее собрание группы. Естественно, декан имел виды на Женю и Борю, как самых старших. Для начала он предложил выбрать Женю старостой группы. Но Женя рассудительно, убедительно и непреклонно это

предложение отвел. Мне много лет. Мол, пора думать не только об учебе, но и дальнейшей жизни. Чуть ли не в открытую заявил, что “уж замуж невтерпех”. Декан был подавлен непробиваемой логикой и перечить не стал. Боря, не будь плох, как только упомянули его, тоже спел нечто похожее.

Так решилась моя судьба в роли старосты на ближайшие пять лет.

И Женю и Борю такая манера поведения неоднократно спасала и впредь от нежелательных постов и должностей в обычной студенческой текучке. Мы ветераны, болят наши раны. Будьте добры оставить в покое.

Куда лежит путь абитуриента, ставшего первокурсником? Правильно. В колхоз. Чтобы не отрывался, родимый от земли-матушки, чтобы черпал от нее силы, чтобы знал, что такое битва за урожай.

Почти в полном составе группа спасала этот самый урожай на зерносушилке и окружающих ее складах. Несказанно повезло. Убирающим картофель приходилось гораздо хуже.

Так началось становление коллектива. Женя и Боря, два неформальных лидера, как сказали бы сейчас, одним своим присутствием влияли на всех, заставляли сознавать себя как единое целое.

Изредка выпадали и дни отдыха – обычно банные. Летчики-пилоты в эти дни и вечера были необычайно оживлены, гладились, подшивались, чистились, одеколонились, слегка принимали на грудь в чайной и – на танцы, куда зеленая молодежь, вроде меня и моих

товарищей, заглядывала с некоторым даже трепетом. Начиналась необъяснимо интересная самостоятельная жизнь.

С этой осени летуны надолго обрели славу записных кавалеров. Идут двое по деревне по едва засыхающей грязи, сапоги блестят, глаза тоже, гимнастерки отглажены! Чем не женихи? Для полноты картины еще бы гармошку и балалайку. Первые парни на деревне. Очень скоро вместо балалайки появилась гитара у Бори. И по вечерам гораздо интересней стало общаться с ними, нежели в клубе.

Смутно, за давностью лет, помнятся подробности первой колхозной осени. Но вот это осталось в памяти. Сильный заряд несли в себе летчики-пилоты. Аура, так сказать...

В октябре началась студенческая жизнь...

– Слушай, староста, – сказал мне однажды Женя. – Мы всегда поддержим тебя, если что. Но и ты должен понимать нас с Борисом. Мы люди взрослые, кроме института есть еще и личная жизнь. Личная? И многое что другое.

Их личная жизнь и многое что другое никогда мне не доставляли хлопот. Ну были пропуски занятий, иногда большие, ну отсутствовали на собраниях. Дело житейское. С кем не бывает. Для того и староста со своим журналом. Он в деканате свой человек и все сделает тип-топ. Так и шло. К слову сказать, учились оба, наверно, неплохо. Что-то не помню, чтобы они валили сессии и не получали стипендии. Я сам, чего греха таить, пару раз оставался без стипендии. Вообще-

то в этом вопросе, как всегда это было и есть, каждый сам себе голова. Как учились, чему учились сейчас как-то даже не интересно. Жизнь все расставила по своим местам.

Получать стипендию довольно часто приходилось поздно. В таких случаях мой путь лежал в общежитие. Ждали меня в комнате у Бори и Жени.

И здесь они задавали тон – чисто, прибрано, где-то даже уютно. Даже занавески на окнах. Ну это, конечно, заботливые руки подружек.

Товарищей для жилья они выбирали дотошно и сразу их ставили в рамки. За пять лет, по-моему, вся мужская часть группы прошла через комнату Жени и Бори.

Летуны вносили в жизнь группы налет здорового мужского цинизма и черты уклада армейской казармы. Это было здорово.

Меня никогда не выгоняли по результатам различных рейдов санкомиссий, студсоветов и Бог знает еще кого за беспорядок и бардак в комнатах. Ни разу не было сказано, что на столах в комнатах носки и хлебные корки, окурки и учебники, паутина и бутылки по углам.

Меня уже ждали, набившись в комнату.

– Сегодня двадцатое. Прячься, декан! – грозно сверкая глазами заводил Борис, подавая сигнал рукой – Староста, стипу выложь на стол!

Это уже хором доканчивали присутствующие. Таков был неизменный ритуал до момента проектирования на пятом курсе, когда вся жизнь до позднего вечера была сосредоточена в одной аудитории.

Быстро без очереди получали деньги девочки и

расходились по своим кельям, где протекала совсем непонятная для меня жизнь, потому как я и не совался туда.

Дальше события разворачивались по двум вариантам.

Вариант первый. Что-то стало холодать...

Вариант второй. Не послать ли нам гонца...

Итог был однозначным – Марьянна спешит за селечкой. Думается в других группах было нечто похожее.

Слеза несбывшихся надежд

Между тем Женя уже подбирался к концу со своим тостом-обзором. Если мне не изменяет память, сейчас он начнет перечислять наши потери за прошедшие годы. Так и есть. Леня Кудрин, Коля Решетинский.

Вспоминай, староста, события сорокалетней давности.

Год 1957. Институт формирует один из первых десантов на целинные и залежные земли Казахстана и Алтая. Нам выпал Алтай, равноудаленный от железной дороги и цивилизации колхоз где-то под Бийском.

Сейчас подзабылась атмосфера всеобщего восторга тех лет по поводу освоения целины. С утра до вечера гремели песни и марши на эту тему. Репортажи газет и радио уж точно были боевыми сводками с мирных полей, вздыбленных тракторами. Поражали воображение данные статистики о невиданном урожае 1956 года. Весь мир уже принял за единицу веса килограмм или тонну. У нас же оперировали пудами, считали урожай на корню, а не по амбарам, на разные

лады сравнивали наше производство зерна с его производством при проклятом царизме аж в 1913 г.

От этих цифр захватывало дух. Где уж тут было думать о том, что цифры вещь лукавая, что с их помощью пропагандисты могут доказать недоказуемое. Еще немного, еще чуть-чуть. На кормим народ досыта. Хлеб всему голова. Будет хлеб, будут и песни. Как же здесь без молодежи!

Партия сказала, комсомол ответил – “есть”! ... Внушительной колонной, как говорится, в пешем строю, проследовал по центру города целинный отряд политехнического. Конечный пункт – железнодорожный вокзал и состав из теплушек со штабным купированным вагоном в голове. С хорошим ветерком неслись на Восток. Мальчики налево, девочки направо.

Стерлись из памяти подробности этого десанта. Помню длительную стоянку в Бийске, в ожидании грузовиков. Наверно, так же выглядел вокзал в роковые сороковые, когда отправляли эшелоны на фронт... Моим соседом по избе был Леня Кудрин, белокурый здоровяк, напоминающий поэта есенинского типа. В этой деревне он чувствовал себя по-домашнему. Она, похоже, мало чем отличалась от его родной деревни на Нурганщине...

...С большим трудом удалось упростить стипендиальную комиссию оставить Лене стипендию. Зуб имела комиссия на него за многочисленные пропуски занятий и семинаров. первую очередь по истории КПСС. А ему ничего этого было не нужно. Он упивался возможностями большого города, спешил са-

мовыразиться в стихах, где-то начинал печататься. Помоему, он не вылезал из нескольких сразу литературных кружков-объединений. Стихами он меня зачитывал. Особенно когда в чайной появлялась бормотуха на разлив. Полный есенинский набор в стихах: картины родной деревни, времена года, неважная деревенская жизнь вообще и жизнь в семье в частности.

“Опадают волосы и листья. Осень жаркая. Для хлеба хорошо” – это цитата из Кудрина. Иди еще: “Опять с улыбкой ходишь виноватой, опять на водку денег запросил. За слезы деда, матери и брата ты дорогой ценою заплатил”. Это тоже из Кудрина. Непонятно, но тогда впечатляло и тянуло на сочувствие. Вот уж действительно “трудно жить на свете пастушонку Пете”.

В деталях обстоятельства его смерти мы не знали. Руководство сводного отряда не сочло нужным что-либо рассказать об этом. Известно только одно: был в двухдневной командировке в Бийске, на обратном пути начался приступ аппендицита, где-то в глухомани на полпути пришлось остановиться, затем опять завернули в Бийск. Аппендицит перешел в перитонит, и операция не помогла.

Смерть Леонида списали на несчастный случай. На войне как на войне. Не может быть большой хлеб без потерь. Однако моральный дух должен быть крепок. Важна конечная цель. Отряд не заметил потери бойца.

Я отправлял его матери-учительнице вещи, оставшиеся от Лени, с письмом об известных мне обстоятельствах его смерти.

Теперь следует вспомнить Колю Решетинского. Он появился в группе в октябре 56-го тихо и не заметно. Крепко под тридцать, серый костюм, неизменно тонкий свитер под пиджаком, тщательно выбритый, расточающий аромат тройного одеколона, мужественный шрам на одной из щек. Фронтовик.

Так оно и оказалось.

...Этой осенью венгры всерьез усомнились в ценностях социализма и попытались решить свою судьбу самостоятельно. Их неправоту пришлось доказывать танками, которые, как известно, знают истину.

В самом Политехническом обнаружилась собственная контрреволюция. И не только среди иностранных студентов, но и среди своих. Темные и неясные слухи витали о деле Немелкова, посягнувшего на святая святых – КПСС.

Странно вед себя Коля Решетинский. То чрезвычайное возбуждение, то полная апатия. Частенько тянуло спиртным.

Однажды во время перерыва я стал нечаянным свидетелем очень непонятного разговора. Беседовали с Колей летчики-пилоты, враз сошедшиеся с Николаем и ставшие его друзьями.

– Ты, Коля, поменьше болтай. Сам видишь, что творится. Заметут тебя за милую душу. Припомнят, – внушительно наставлял Николая Женья. Потом он как-то отвел меня в сторону:

– Видишь, Серега, как мается мужик. В Венгрии у него жена-мадьярка и сын. Вышибли его оттуда в

двадцать четыре часа. Ни слуху, ни духу от них. Какие уж тут лекции. Надо ему помочь.

Частые отлучки студента Решетинского до деканата не дошли, хотя и продолжались по несколько дней после каждой стипендии. В середине второго курса он также тихо и незаметно исчез. Без оснований, поскольку в двоечниках не значился.

Прошло лет шесть. Я уже уверенно ходил в начальниках смены. Промозглым октябрьским вечером во второразрядном ресторане “Восток” я встретил Николая.

Он уговорил меня посидеть у него дома. Здесь недалеко, говорил он. Вот прямо наискосок от кабака.

В маленькой комнатке сразу приковывали взгляд вошедшего внушительные фолианты с золочеными готическими названиями. Я ахнул! Гете, Шиллер, еще какие-то неведомые мне немецкие авторы. Коля польщенно улыбался. Похоже, это был проверенный способ вот так сразу сразить гостя наповал. – Это все, что я смог вывезти оттуда. Пойдем пить водку. Скоро придет Клава, моя нынешняя боевая подруга.

Сидели, выпивали, вспоминали институт.

Вскоре пришла Клава, на редкость вежливая и предупредительная женщина неопределенного возраста. Тихо и неслышно она чем-то занималась в чуланчике, примыкавшем к комнате, изредка появляясь и ставя что-нибудь на стол. С нами она посидела чисто символически... Нет чтобы мне вовремя встать и уйти! Коля пьянел на глазах, но разговор ровно шел в заданном русле – работа, друзья, общие знакомые.

Выяснилось, что учиться на дневном отделении его убедила Клава, завпроизводством какой-то столовой, что ушел он из института опять же из-за Клавы. Невыносимо было смотреть на ее усилия кормить и содержать здорового мужика. Пришлось вспомнить армейское ремесло: ремонт и наладку радиоаппаратуры. Жизнь, казалось бы, начала налаживаться. Подходило время широкого наступления телевидения. Живи и раду и с я, начиная подсчитывать доход.

Незаметно разговор вновь вернулся к осени 56-го года. И здесь Коля сломался. Я никогда не видел, что так может плакать мужчина. Слезы скапливались в основании шрама и далее по борозде, как по руслу, устремлялись на скатерть. Клава была начеку. Такое, видно, было уже не раз. – Коля, милый не надо! Коля, ну что же теперь делать, раз так получилось! Коля, успокойся, все будет хорошо, вот увидишь. Она крепко прижала его голову к груди. Постепенно он стал затихать.

– Вот так всегда, как разволнуется, – объяснила она мне, – Вы, наверное, знаете, у него семья осталась там, в Венгрии. Их насильно разлучили еще в пятьдесят втором. Был приказ Сталина о запрете браков с иностранцами. Он, бедный, сколько раз куда только не обращался, чтоб разрешили хоть ненадолго побыть там. Бесполезно. Сейчас вот можно по путевке съездить в любую из соцстран. Только не Коле. Он у меня невыездной, как атомщик. А все из-за того, что нарушил приказ – полюбил. Теперь заплакала она:

– Он же израненный весь, издерганный. Да и я дура. Могла бы родить ему сына и не захотела. А сейчас уже не могу, если и захочу. А тут еще и водка! Тихо и нехорошо стало за столом.

– Сергей, вы меня извините, вам лучше уйти. Сейчас я уложу его спать. Может, завтра все и обойдется, тогда отправлю его на работу. А вы заходите в другой раз. Другого раза не получилось. Я рассказал о встрече Жене.

– Пропал Никола, – убежденно сказал он. – Давай, Серега, выпьем.

– Да ты что, Жень!

– Вот увидишь – пропал.

Все-таки я Женю уговорил, и по весне мы отправились в гости. Нас встретила незнакомая неразговорчивая женщина. Она по ее словам, вообще ничего не знает. Жили, вроде, здесь бездетные муж с женой. Муж, инвалид, болел часто. Где они сейчас, куда подевались – никто не в курсе.

Где мы живем, в какой стране, как это можно, чтобы жена и сын не могли обнять мужа и отца, а муж не мог приласкать жену и сына, кто правит нами, кто попирает нас? И по какому нраву?

Я хочу думать вот о чем. Если Коля Решетинский жив до сих пор, то он все-таки встретил и жену и сына. А если нет, то пусть земля ему будет пухом.

Примирение

Посиделки тем временем шли своим чередом. Прибыли, наконец, опоздавшие Галя Голубева, Вадим

Зайцев, Юра Бойцов, Вая Буторина. Взрослые дяди и тети галдели не хуже первоклашек.

Может показаться по количеству написанного, что я полностью отключился от действия вокруг себя и целиком погрузился в воспоминания.

То-то и оно, что нет. Напротив, в застолье я был, как и все, активен. Про сто какая-то часть мозга стремительно и услужливо раскручивала картины прошлого.

Отдали должное напиткам и закускам и наступил момент всеобщей расслабленности и где-то даже умиленности. Душа просила песен и они последовали.

Первым начал Женя Чернов своим проникновенным баритоном как бы в полголоса: “Там вдали за рекой заблестали штыки. В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала”.

Не один раз мы слышали эту песню в Женином исполнении, знали, что он любит ее. Поэтому выслушали его с почтительным вниманием, не пытаясь подпевать.

– Комсомольское сердце пробито, – проникновенно выводил Женя. У части девочек на глазах явственно заблестели слезинки.

Наступила небольшая пауза, после которой начали просить исполнить что-нибудь Ивана Глазова, несомненного конкурента Жени по этой части.

Пока жив был Боря Поленов, летуны вдвоем держали песенную площадку, изредка пропуская на нее кого-либо другого. Таков был их неисчерпаемый запас. Иван,

и это был ритуал, знал, что от него ждут исполнения ряда дурашливых студенческих нетленок, типа “задумал я, братишечки, жениться” или “в конце весны, друзья, сдавал я статику”. А тут и хозяин дома Валера Шаров затянул свою коронную про дядю Зуя, который “за Ваську повара – буржуя Маруську замуж выдает”.

Публика развеселилась донельзя. Если и дальше пойдет так, наступит очередь половецких плясок. Поэтому Тамара Ватрушка под удобным предлогом постаралась вернуть компанию в чинное благопристойное русло. Тщетно. Ваня Глазов желал развиться. Шалопай он есть шалопай. Иван был таковым с первого дня в институте. Я уже рассказывал, как он подсмеивался над летунами на экзамене по литературе. Прodelок и подначек была масса. Иногда с положительными эмоциями.

Вот, например. Меркнет за окнами короткий зимний день. Духота в аудитории. Лектор-математик, во всех отношениях достойный человек, но не преподаватель, что-то увлеченно рассказывает сам себе, не обращая внимания на то, что многие уже находятся в дремоте. И вот откуда-то с задних рядов начал путешествовать листок бумаги со стихами:

Надоедливый голос лектора
Нагоняет тоску и сон.
В упоеньи он чертит векторы,
Замыкает со всех сторон.
Замыкается круг хвостатый
Задаваемых на дом работ.
Может, завтра декан пузатый
На беседу меня позовет.

Будет он доказывать нудно,
Что, мол, я государству расход,
Что с такими, как я, трудно
К коммунизму движение вперед...
Надоедливый голос лектора
В беспроглядную тянет муть.
Разложить бы его на векторы
И со всех бы сторон замкнуть.

Стихи, явно, не Ивановы. Он сроду их не писал. Встрясъ получилась отменной, пара закончилась оживленно. С Иваном вечно что-то происходило: то посеет студенческий билет, то заложит в кабаке часы иди паспорт, которые нужно было срочно выкупать. Пускалась шапка по кругу. Сам он частенько подходил ко мне: “Люблю тебя я, староста Серега! И ее люблю, но так немного. Выручай”. Светлая голова. Считалось, что его путь – аспирантура. Но он выбрал производство и в итоге возглавил лабораторию-станцию переливания крови.

Тем временем Женя Чернов подсел к иногородней гостье – Галине Голубевой, прибывшей с опозданием и не успевшей проникнуться весельем компании. Она сидела как-то обособленно, справа и слева были свободные места. Девочки за столом нетерпеливо заерзали на стульях. Что-то сейчас будет. Все знали о напряженных взаимоотношениях Гали и Жени. И начались они с первой студенческой осени на колхозной зерносушилке. Столкнулись антиподы. С одной стороны, девочка из очень интеллигентной семьи, много знающая, умеющая тонко чувствовать, и

грубоватый наш неформальный лидер, с другой стороны. Расхождения происходили из-за разного подхода к вопросу о роли коллектива и отдельной личности. “Я” или “Мы”. Галя считала, что свобода личности самое главное. Коллектив же – нечто вторичное. Женя, в свою очередь, непреклонно верил, что коллектив – это все. Интересы личности обязательно должны быть подчинены интересам коллектива. Такой вот марксизм-ленинизм в отдельно взятой студенческой группе. Ох, и доставалось Галине на комсомольских собраниях, когда в повестке дня стояли вопросы о моральном облике советского человека. Непостижимым образом Женя узнавал о ее знакомствах со “стилягами” из других вузов города. “Стиляга” – это нечто чуждое и презираемое простыми комсомольцами. Те же самые космополиты, память о которых еще была жива. Упаси Бог, конечно, он за ней не следил, но что-то видел, что-то чувствовал, делал какие-то свои выводы. Ими он делился на собраниях. Многое в них было обидным и несправедливым, вызывало неприятие и протест даже у тех, для кого слово лидера было истиной в последней инстанции.

Самое ожесточенное собрание прошло в сентябре пятьдесят восьмого на казахстанской целине. Комиссаром у нас был Боря Поленов, а Женя его заместитель по всем остальным вопросам. Ими было решено вынести на общее обсуждение примерно такую тему: Я и коллектив. Самоотчеты комсомольцев. Досталось многим. Мне в том числе. За излишнюю мягкость в отношении некоторых. Имелись в виду

скрытые пропуски занятий, которые были у Галины. Себя же, конечно, они в виду не имели. Прорабатывали крепко. Однако никаких слез, на что в тайне надеялись летчики-пилоты. Галина хорошо держала удары. В последние дни просто неудобно было смотреть друг другу в глаза – столько гадостей наговорили о себе и других.

Тайну такого отношения Чернова к Галине мне как-то открыла Валя Буторина:

– Неужели непонятно. Он же любит ее с первого курса. За косы дергать возраст не позволяет. Вот и нашел способ заявить о своих чувствах. Ну, конечно, и характер. И чего находят в ней?

Вскоре страсти поутихли – Женя женился на сверстнице, исключительно милой и женственной девушке. Насколько я знаю, живут в мире и согласии не один десяток лет. Кстати, все нави семейные союзы оказались удивительно крепкими. Ни одного развода.

Но все же эти скрываемые чувства у Жени иногда прорывались.

Вот сейчас он подсел к Гале. О чем-то шел неспешный разговор – не было слышно из-за песен и общего шума. Они смущенно улыбались друг другу, вдруг полуобнялись и замерли, не замечая ничего вокруг. Вот это да! Видимо антиподы выяснили наконец то, что можно было выяснить лет тридцать – тридцать пять назад. Что же они могли сказать друг другу? Быть может, признали, что яркий индивидуализм и столь же яркий коллективизм не выдержали проверку жизнью, что так страстно ожидаемые перемены в обществе

оказались химерами, что наступившие перемены явили миру нечеловеческий оскал.

Ясно, примирение произошло.

Эпилог

Расходились поздно, но фонари еще светили исправно. К ночи похолодало, небо вызвездило. Хрустели под ногами замерзшие листья и льдинки. В душе была умиротворенность и некая расслабленность. Типичное состояние кайфа. В полном соответствии с Булатом Окуджавой я успел и на последний троллейбус. Ехать не близко, есть время подбить итоги.

Итак, навскидку, что я знал о тех своих однокашниках, что были сегодня, и о тех, о которых поминали в течении вечера.

Чернов Евгений Николаевич, кандидат технических наук. В связи с перестройкой и демократическими преобразованиями не реализовал себя как ученый. Разогнали отдел. Закрыли темы. Поспешно отправлен на пенсию.

Карамазова Галина Ивановна, кандидат технических наук. В связи с перестройкой и демократическими преобразованиями не реализовала себя как ученый. Поспешно отправлена на пенсию. Поддалась на демагогию Ирины Хакамада о создании и поддержке малого бизнеса. Пыталась найти вместе с мужем поддержку у городских властей. Вежливо оплевана. Единственное спасение – дачный участок.

Буторина Валентина Ивановна, кандидат технических наук. По тем же причинам отправлена на пенсию. Пока кое-что зарабатывает муж.

Котик Александр Наумович, кандидат технических наук. В связи с перестройкой и демократическими преобразованиями так и не смог защитить докторскую. Вынужденно эмигрировал в США через Израиль.

Голубева Галина Александровна, кандидат технических наук. Поплатилась за свои особые взгляды на перестройку и демократические преобразования срочной отправкой на пенсию.

Шаров Валерий Михайлович, кандидат технических наук. Всегда старался помалкивать о перестройке и демократических преобразованиях. Думает, что вписался в рыночную экономику. Блажен, кто верует. В 2000 году выходит на пенсию. Тогда-то все станет ясно.

Грибов Владимир Петрович. Ведущий специалист Всесоюзного треста “Внешэнергомонтаж”. В связи с перестройкой и развалом СССР остался на территории независимой Украины. Трест тоже развалился. Чем-то промышляет по мелочи. Отпустил запорожские усы, размовляет по-украински и почему зря костерит москалей.

Бойцов Юрий Иванович. Бывший начальник цеха. Бывший председатель профкома завода. Вписался в перестройку и демократические преобразования. Владелец кинотеатра, ряда видеотек, а, может, и еще чего-нибудь. Активно разваливает российскую культуру.

Глазов Иван Васильевич. Ведущий специалист на станции переливания крови в обычном уездном городке где-то в центре России. Перестройка и демократические преобразования сами по себе, а он сам по

себе. Охотников работать в нищей медицине не так-то много. Держится за счет безобразного учета и контроля за расходованием спирта. Спирт – то же валюта.

Поленов Борис Васильевич. Бывший летчик. Бывший кумир группы. По окончании института и непродолжительной работе в цехе сделал стремительную комсомольскую, а затем и партийную карьеру на своем отнюдь не маленьком предприятии. С какого-то момента начались острые трения с райкомом КПСС по вопросам расстановки кадров и идеологической работы. По сфабрикованному делу о моральном разложении исключен из партии. КПСС, которой он отдавал свои силы, не щадя живота своего, отторгла его. Переквалифицировался в нефтяники. Крепко пил. В начале восьмидесятого года умер на одном из новых нефтяных месторождений Тюменского Севера. Да обретет его вечно мятущаяся душа желанный покой.

Зайцев Видим Петрович. Подпольная кличка Вадька-прилипала. Безусловно, вписался в перестройку и демократические преобразования. Коммерческий директор крупного нефтезавода в Волгограде. Партийный билет всегда наготове. Твердо верит, что придет его время.

Остается только сказать о себе.

Итак, Никитин Сергей Александрович, бывший староста группы, всегда стремился быть старостой и по жизни. Получалось не всегда. Бит жизнью неоднократно. Был и на коне и под конем. И руководил, и мной руководили. Эйфория от перестройки,

демократических преобразований и свободного рынка быстро улетучилась. Все эти явления сегодняшней жизни, может и не плохи сами по себе. Я и не собираюсь винить их. Просто не вписался. Это пока не мое. Хотя, с другой стороны, тоже своего рода невостребованный субъект, тоже вытеснен на обочину: завод, который год на боку, слова зарплата и деньги режут слух. Удивляюсь, почему ежедневно к восьми ноль-ноль оказываюсь на рабочем месте. Единственное утешение и опора – семья.

Следующая наша встреча, наши посиделки – не раньше 2001 года. С чем мы, многожды обманутые бывшими и нынешними правителями, разоренные до предела проходимцами от власти, придем к сорокалетию выпуска своей группы? Какие потери грядут? Господи, сделай так, чтобы обошлись без потерь! Мы должны были заслужить твою благосклонность всей своей прежней жизнью на общее благо?

Владимир Блинов

**“МАРЬЯ ПЕТРОВНА
ИДЕТ ЗА СЕЛЕДОЧКОЙ...”**

Рассказ-воспоминание

Море поцелуйно касалось пальцев наших ног. То, вздохнув, откатывалось под черный полог ночного неба, то опять неожиданно ласково напоминало о своем присутствии, не давая нам остаться наедине.

Студенческий трудовой лагерь “Эврика” отходил ко сну. И над пустынным пляжем уже начал было витать могучий храп Президента “Эврики” Владимира Бокарева. Казалось, полы армейской брезентовой палатки колышутся от этого пантагрюэлевского храпа. Но кто же решится делать замечание командиру?

Нам же двоим спать не полагалось: мы были дежурными по лагерю. Стерegli желтое знамя на мачте, провиант, барахло, да и самих спящих от возможного набега абреков или бродячих кошек и собак. На случай тревоги рядом, на песке, лежал пионерский горн. С недавнего времени Владимир Бокарев постановил: чтобы дежурному юноше было не скучно, чтоб не закемарил случаем, назначать в помощники одну из прелестниц (а девушки наши и в самом деле были все как на подбор!). Тянули из ковбойской шляпы скрученные бумажки – кому с кем доведется дежурить. И как-то так получалось (может, Президент

подстроил?) каждому дежурному-юноше выпадало именно желанное имя.

Моей напарницей в эту ночь была девушка Катя со странной фамилией Бодня. Она и без южного загара всегда отличалась на нашем факультете турецкой смуглотой. А здесь, под Адлером, после сбора совхозных слив и работы на томатных плантациях ее природная шоколадность превратила нашу Катю Бодню в истинную мулатку, ну прямо-таки знаменитая кубинская волейболистка Мерседес Перес! Я и сейчас, по прошествии стольких лет, стоит закрыть глаза, чувствую под рукой теплоту ее уральско-негритянского соленого плеча. И слышу те стихи и песни, которые мы пели с ней под мои аккорды.

Мы уже спели “Сиреневый туман” и “Чайку”, “Милый мой дедочек” и “В тазу лежат четыре зуба”... Большая голубая луна провела по морской палитре трепетную дорожку. Цвиристели в кустах за спиной соловьи южных широт, никем никогда не видимые цикады.

“В будни нашего отряда,
в нашу окопную семью
девушка по имени Отрада
принесла улыбку свою...”

Запела Катя тоненьким голоском. И я, подладив струны под ее тональность, присоединился:

“И откуда на переднем крае,
где даже земля сожжена,
тонких рук доверчивость такая
и улыбки такая тишина?...”

В песне пелось о девушке, которую все обожали, лелеяли и берегли. Но сплетни неизбежно тянулись за такими, как она, фронтовыми подругами. И вот Поэт сумел повернуть эту быль, эту судьбину так, как ей и подобало быть оцененной:

И всяких разговоров отрава,
заливайся воронками вслед...
Мы идем на запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.

Помнишь ли ты теперь, Катя Бодня, ту песню, это наше бдение с тобой под счастливыми звездами Юга? И о том, что было после “Отрады”, помнишь? Прости нас, Господи, безгрешные слова песни тянули нас на грех. Мы бросились в объятия друг друга! Но ты почему-то медлила, лежа навзничь на прохладном ночном песке. Ты попросила:

– Спой еще... Не торопись, я тебя очень прошу, спой мою любимую.

Как тут было не потрафить, не ублажить мою “шоколадку”? И я запел, вернее, мы оба запели одновременно:

Последний троллейбус, по улицам мчи,
Верши по бульварам круженье...

И вдруг десяток голосов из большой командирской палатки рывкнул, пугая цикад и бродячих котов:

Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
Крушенье, крушенье...

Когда же, когда я впервые услышал имя Булата Окуджавы? Да, это случилось на творческой встрече с

Евгением Евтушенко в Уральском университете. Евтушенко выступал в студенческой аудитории, довольно большой, но все же не такой, которая вместила бы всех желающих. Афиш по городу не было. Актальный зал, конечно, не предоставили, для этого потребовалась бы масса согласований: обком, управкультуры, всемогущий КГБ. А тут – вроде как бы маленькая встреча московского модного и смелого поэта с филологами. Должны же словесники, в конце концов, знать современную живую литературу, не только учебниковых классиков.

Народу набилось! Трое студентов умудрились разместиться на шкафу. Евгений Евтушенко, как тогда, как и сейчас, великолепно-артистично читал стихи, размахивая над головой длинными ивовыми руками. Молодой, дерзкий, красивый, гениальный. По крайней мере тогда так казалось. Потом отвечал на вопросы.

– В записке спрашивают, кто из поэтов сейчас наиболее популярен, – и назвал несколько довольно известных имен. Потом спросил:

– А как у вас в городе насчет блатных песен? Никак? О, в Москве сейчас очень моден блат, стилизованный городской фольклор. А об Окуджаве что-нибудь слышали?.. Ну как же?.. А значит, кое-кто слышал! Да, Булат Окуджава поет под гитару свои стихи. Мелодии незамысловаты, зато запоминаемы. Так что скоро и до Урала дойдут.

Окуджава, Окуджава... Непривычная для русского слуха фамилия. Запомнилась. О, как жало – Окуджава... О, как жалко, Окуджава... И какое имя – БУЛАТ!

Наверное, красавец-грузин, покоритель московских красавиц?

Потом уже узналось, что никакой это не сердцеед и не кавказец.

Его необычная фамилия приводила в замешательство старшину, на выучку к которому попал вчерашний десятиклассник, прибавивший себе возрасту: выписал сам себе повестку в военкомате, где был их разносчиком. Выстроив взвод бритоголовых новобранцев, старшина командовал: “Окуджав, два шага вперед!” Если Окуджава, свербило в голове старшины, то это все же для женщины, а для мужика – это и козе понятно – правильное Окуджав.

И вскоре после той памятной встречи с Евг. Евтушенко наши студенческие аудитории заполнили песни Булата Окуджавы. Их и вправду простые, трогательные мотивы, напоминавшие то нэпмановские “Кирпичики”, то “Ты с фиксою была, тебя я встретил” и другие песенки блатарей из наших трампарковских бараков, то щемящие мелодии послефронтных слепых Гомеров с загородной толкучки – все это быстро заучивалось, переписывалось, пелось. Пелось у костра туристского, на кухне диссидентствующих интеллигентов, в заводской общаге, в солдатской казарме. В нашей градостроительной аудитории мы растирали палочки китайской туши для отмывки фасада, строили эпюры нагрузок на балку и потихоньку (не на весь стройфаковский корпус) пели и про комсомольскую богиню, и про Ленку Королева,

павшего на большой войне. Думал ли я тогда, что через 30 с лишним лет снова встречу с Королем в стихотворении Булата Окуджавы, написанном им за полгода до смерти? Мало кто знает это стихотворение, приведу его полностью.

Что было, то было. Минувшее не оживает.

Ничто ничего никуда не зовет.

И немец, подстреленный Ленькой, в раю проживает,
И Ленька, застреленный немцем, в соседях живет.

Что было, то было. Не нужно ни славы, ни денег,
По кущам и рощам гуляют они налегке.
То перышки белые чистят, то яблочко делят,
То сладкие речи на райском ведут языке.

Что было, то было. И я по окопам ползая
И всласть пострелял по живым – все одно к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?
...А справиться негде. И надо решать самому.

... “То перышки белые чистят, то яблочко делят...” Такое откровение и самооткровение приходит в конце. Стихотворение написано за 180 дней до конца.

Малолеткой ушел на фронт, “по окопам ползая... и всласть пострелял”. Вернулся с победой. Рядовым. Каким и ушел.

Великая печаль посещает человека в предсмертный период. Когда он ясно осознает, что приближается конец его земного бытия. Когда он предвидит: не порадоваться ему более ни первой зеленой травке, ни

лютикам и забудкам, не вкусить желанной пищи и любимых с юности кисло-сладких вин из молодого винограда, не позвонить другу с приглашением отведать привезенное с родины джонжолы, не посадить по весне виноградную косточку. И никогда уже не перечесть “Казачков” Льва Толстого, не насладиться чарующей женственностью Марики Рокк из “Девушки моей мечты”... Не порадовать себя и некогда так желанных друзей, вдруг ставшими назойливыми, новой песней, свежим стихотворением... Все в последний раз.

Но еще приходится улыбаться, не признаваясь родным в том, что знаешь. И делать вид, что не понимаешь их чересчур внимательного обращения и неожиданных, как бы случайных визитов, а на самом деле – прощаний.

Он знал и чувствовал это. ЭТО накатывало на него не раз. И на Большой войне: “А кто уж там последней точкою/ распорядился – что гадать?.. И впрямь, и сам вот грязной щечкою/ к земле... И больше мне не встать”.

И потом, когда снова оказался у черты, и друзья собирали деньги по кругу для его операции, какую еще не научились делать московские доктора.

И вот, наконец... Может быть, Оле признаться?.. Но лучше, привычнее – бумаге, перу.

Почти каждое стихотворение из последнего цикла “Уроки пальбы” пронизано предчувствием.

Уроки пальбы бесполезны –
они словно поздний недуг.
И вы свой характер железный
поглубже упрячьте, мой друг.

Он был и воспет, и освистан
по возрасту и по судьбе.
А нынче уже не до истин,
А только презрение к себе.

И дальше. Беру из стихотворений по строчке, по две...
“Будто мы не знаем, что нас ждет...”, “Мы ж исчезнем так банально со слезами на глазах./ Будет вам над чем смеяться, недоумеая” (“К потомкам”). А вот воспоминания о юности, почти о детстве, которые приходят в такие моменты к каждому: “И счастливы мы, что не знаем, что значит прощаться, тем более слова “навек” не знает никто”. И еще дальше, перелистывая страницы журнала “Знамя” (1997 г.): “Что жизнь прекрасней смерти – аксиома, осознанная с возрастом вдвойне...”, “Я должен, должен жить затем, чтоб ты жила, да я и сам живу, покуда ты живешь...”. Вот и прорвалось в стихах обращение к близкому дорогому человеку. “Держава! Родина! Страна! Отечество и государство! Не это мы лелеем и в гроб с собою унесем, а нежный взгляд, а поцелуй – любви сладкое коварство, Кривоарбатский переулочек и тихий треп о том, о сем”.

Не самая ли заветная мечта человека сомневающегося: а что будет ТАМ? Если пустота, то хотя бы осталось одно (ОДНО!): воспоминания о нежном взгляде, о трепе на кухне за чашечкой кофе с друзьями, за песней, за сигаретой болгарской. Но это писалось еще пять лет назад, это четверостишие. Остальное, повторяюсь, знаменательное – за полгода до Парижского военного госпиталя.

“Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив... И я живу надеждами – иначе невозможно”. “И если грянет правды торжество, пусть это будет памятником нам...”

И в этом прощальном напевном (не зная этих песен, я слышу ЕГО пение, ЕГО неброские гитарные переборы), в этом грустном рифмованном расставании он неслучайно соединил два стиха, написанных – одно совсем недавно (1996), другое – три года назад.

Но об одном!

Да, старость. Да, финал. И что винить года?

Как это все сошлось, устроилось, совпало!

Мне повезло, что жизнь померкла лишь тогда,

Когда мое перо усердствовать устало!

И то, трехлетней выдержки, поставленное в финал:

Там, за спиной – чугунная ограда

Кругла, как мученический венец...

А благородство – это ль не награда

В конце концов за поздний сей конец?

Е.А. Евтушенко о последней встрече: “Он пил, как всегда, чуть-чуть, но, несмотря на то, что был слаб, долго не позволял нам подняться и уйти, расспрашивал о нашей жизни, шутил, хотя его глаза улыбались уже через силу. Когда мы вышли, я сказал Маше:

– По-моему, Булат прощался с нами.

Так оно и случилось”.

Молодым современникам-девяностникам трудно объяснить, за что нас ненавидела и боялась власть, обрезала и коверкала тексты цензура, преследовали разного рода парткомычи и надзиратели из КГБ и обкомов, горкомов, райкомов, месткомов, домкомов...

Булат Окуджава был возрастом старше (фронтовик!), но по взглядам, по творчеству он был шестидесятником. Нестандартность мышления (о каком-то там Ваньке Морозове, понимаешь!): “Мы входим в дом, а в нашем доме пахнет воровством” – разве может так думать боец, возвратившийся с Победой? Ведь даже правда чувств была не по нраву власти предрежащим в стране, в искусстве. Вспомним хотя бы великого лирика Николая Рубцова. Много ли его издавали, многие ли при жизни читали его?

Булат Окуджава не был столь резким в своих стихах-песнях, каким был в ту пору, скажем, Евг. Евтушенко. Но его тихий голос будоражил мысль и чувство, звал к доброте и сочувствию, не давал приспособляться к лживому режиму. Разве не к этому звала тихая грустная песня “Прощание с елью”, общегуманная, андерсоновская, берущая за сердце, кажется, идеологически непорочная и Главлиту, то бишь советской цензуре, не по зубам. А “Молитва Франсуа Вийона”! Просто “Молитву” не давали записать на диск. “Моцарт”, “Последний троллейбус”... Ах, да что говорить! Если бы не было этого, мы бы все покрылись коростой невежества и равнодушия.

Не один Окуджава врачевал нас, не один. Но в поэтическом консилиуме его мудрый негромкий голос был едва ли не решающим в очищении русского общества от скверны озлобления, стукачества и жестокости.

Когда в 1968 году советские танки вползали в Прагу, кто-то из жителей чехословацкой столицы догадался

поставить магнитофонную запись. И над площадью Короля Вацлава через громкоговорители раздавался голос русского поэта:

А если что не так – не наше дело,
Как говорится, Родина велела.
Как славно быть ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом.

Несколько раз его хотели исключить из КПСС, куда он вступил юнцом, отправляясь на “передок” (“Считайте меня коммунистом”, – как писал в стихах Александр Межиров, как тогда писали многие, уходя в бой.) Один раз за то, что его книгу выпустило “вражеское” издательство “Посев”. В другой – за то, что в интервью на вопрос журналиста: “В какое время хотел бы жить поэт?”, Окуджава ответил, что, пожалуй, в XIX веке, спокойно помеществовать и заниматься литературой. “Как, – вскинулись ревностные охранители “Кодекса строителя коммунизма” (да-да, молодые люди 90-х годов, был и такой документ), – член нашей партии в своих тайных мыслях – помещик-эксплуататор? Гнать его из наших сплоченных рядов каленой метлой!”

На сей раз выручили писатели-фронтовики. Мнения Булата, может, и не разделяли, но окопное братство сработало: “В обиду не дадим, ну, заблуждается, подумает, взвесит, почитает первоисточники – исправится”,

Быть исключенным из партии означало полностью перестать печататься, выступать, петь.

Вспоминаю, какой кордон устроили свердловские

власти-гебешники, не пуская в Уральский политехнический институт барда Юлия Кима. Зал набит битком, студенты и преподаватели заждались исполнителя, приглашенного на гастроль Клубом авторской песни. Дороги, подъезд к институту перекрыты. Никакие уговоры не помогают! Выдворили Кима из города. Еще один пример нравов и порядков нашего времени.

Окуджава, Ким, Высоцкий, Городницкий, Галич, Дольский, Визбор, Кукин, Матвеева, Долина... У некоторых из них книг в то время вообще не было. Зато мы приобретали в складчину в студенческие общаги или домой (мечта каждого!) заветные “маги”, всякие там “Язузы”, “Кометы”, “Айдесы”, стационарные катушечные “Дніпро” на худой конец, если было не по карману – приставки “Нота”.

На закрытии трудового лагеря “Эврика” был дан концерт. Вначале всех приветствовали “пионеры”, с горном, со знаменем, с желтым лагерным флагом, с литмонтажем и пирамидой – ну совсем, как на съездах КПСС. Потом Боб Батов показывал фокусы по заглатыванию слив. До Кио ему было далеко, но сливы он в самом деле проглатывал целиком, натренировался за смену. Зато и аплодисментов отхватил!

Наконец, на пляжную сцену выплыла Катя Бодня. В сарафане, в простыне-полушалке, с авоськой, в которой трепыхалась большая рыбина... Хор:

Марья Петровна идет за селедочкой,
Около рынка живет...

Катя сбрасывает с себя полушалок. А в это время из-за палатки четверо эвриканцев втаскивают на плечах президента Бокарева, вопя:

А в облаках-то серебряной лодочкой
Новенький спутник плывет.

Бокарев, большой и тяжелый, как нынешний Президент России, был в маске для подводного плавания, в блестящем, обтягивающем тело черном резиновом костюме. И, растопырив руки, он изображает спутник или космонавта в невесомости.

Хор продолжает, укоряюще указуя на Марью Петровну, скидывающую босоножки:

Тройки ей мало, Пятерки ей жалко –
Хочешь-не хочешь, плати...

Она уже предстает перед зрителями в бикини и, помещански хохоча, войдя в роль, безглаголиво произносит:

А над Москвою-то новый, как шелковый,
Новенький спутник летит.

Бокарев-космонавт замедленно проплывает в другую сторону, издавая позывные: пи-пи-пи-пить-пить. Ему подавали выпить.

Тут уж, как в греческой трагедии, по сценарию выступал большой хор – все мы, зрители:

Марья Петровна с улыбкой трагической
Храп, мене скажет, ну храп.
А над Москвою-то новый космический,
Новенький мчится корап.

(Помните, Окуджава именно так и произносил, под простонародное, вместо твердой “Г” – “Г” фрикативное, меня – мене, корабль – корап.)

Тут наши “атланты” расступались в стороны, роняя Президента на песок. И пока он, неуклюже барахтаясь в лапах, возмущенно вопя: “Не по сценарию, собаки!”, поднимается, все бросаются в шелковые адлерские воды.

Окуджава был шестидесятником не только по духу, но и по манере держаться, одеваться. Я не представляю его в шляпе, в дохе, с тростью. Свитерок, кожаная куртка киношника, кепка-букле – демократ. Доступность и достоинство – одновременно. Некоторая сутуловатость и приподнятость плеч. Худоба и подтянутость. Очкастая черепаховость его усыхающей мудрой головы.

В свой первый приезд на Урал он сразу же спросил: “Где тут у вас “серый дом”? Ехали на служебной машине. его сопровождал Володя Дагуров, самый популярный в нашем городе поэт, успевший напечататься одновременно с Булатом в “Дне поэзии”. Дворники, как два метронома, чиркали по лобовому стеклу.

– Здесь, – кивнул Володя на большое серое здание с часовым у входа.

Каждый горожанин знает это добротное по архитектуре, страшное “Ленина, 17”, свердловскую Лубянку.

Булат просил всех остаться в машине. Сам же прошел к глухим железным воротам, крашенным темно-красным суриком. Встал против них. Стянул с головы берет. Так и стоял под секущим дождем. Минуту, другу,

третью... То были последние ворота, захлопнувшиеся за его отцом.

Однажды я шел по главному проспекту. Выпуск фотохроники на главпочтамте был посвящен Нижне-Тагильскому вагоностроительному заводу. И вдруг среди снимков я увидел молодое грузинское лицо: секретарь парткома завода в 1935-37 годах. Шалва Окуджава!

Было глухое время запрета всяких упоминаний о сталинских репрессиях. Даже в новой энциклопедии не сообщалась причина кончины персоналии, а только даты 1934, 1937, 1938, 1939. И все. Какой-то автор экспозиции, воспользовавшись юбилеем завода, напомнил людям о честном коммунисте Шалве Окуджаве.

Я тут же позвонил своему приятелю, поэту Яше Андрееву (он был в переписке с Окуджавой). Яша поручил редакционному фотографу снять и весь стенд, и увеличенно – Ш. Окуджаву. Потом мы послали фотографии Булату Шалвовичу.

Теперь имя Шалвы Окуджавы высечено на гранитной Стене Памяти на Московском тракте при выезде из нашего города Екатеринбурга. Оно среди сотен других имен, расстрелянных в застенках серого дома, под главной площадью города, где высится Ильич, а может, и здесь, в лесу. Кто сейчас вспомнит и поклонится Шалве? Я не знаю, были ли у Булата Шалвовича дети. Вот и Яши Андреева не стало. Только мы, несколько уральцев, поэтов-шестидесятников придем сюда и

будем помнить об отце и сыне. И наши дети, и наши внуки...

У одного из наших поэтов, Германа Дробиза, есть стихотворение, написанное в день смерти Владимира Высоцкого. Заканчивается оно вот такой строфой:

Извольте, одногодки, на колени!
Не стыдно ли, ОДИН за всех, а вы-то?
Что надлежало крикнуть поколению,
Всего одним пропето и провыто.

Да, вольнодумцы-шестидесятники не были огромным хором. Каждый из протестующих чаще был одиночкой, солистом без хора. Хотя они и знали друг друга, поддерживали в меру сил, отваги, возможностей. Но, увы, широким народным массам мало были известны и понятны такие правозащитники, как Даниэль и Синявский, Лидия Чуковская, Анатолий Марченко, Петр Григорович, Якир и Ким, даже Андрей Сахаров. Солженицын – да, был на слуху, на виду. Но тоже как бы ОДИН на баррикаде ПРАВДЫ. Единственный, замахнувшийся на партийные устои и даже (!) на Ленина, что в те годы казалось немыслимым, утопией, “безумством храброго”,

А вот песни бардов доходили до многих. Расшатывали тоталитарную систему. Даже не говоря прямо о кагебешно-капээсэсовской политике, они учили и звали мыслить нестандартно, творчески, критически.

С приведенными выше строками уральского поэта перекликается стихотворение Булата Окуджавы “Перед телевизором”, написанное в годы Афганской войны:

Слишком много всяких танков, всяких пушек и солдат,
И военные оркестры слишком яростно гремят,
И седые генералы, хоть не сами пули льют –
Но за скорые победы с наслаждением водку пьют.
Я один (!). А их так много, и они горды собой,
И военные оркестры заглушают голос мой.

Довелось слышать, что незадолго до смерти у него появилась подружка – мышка-норушка (об этом он рассказал в одном из своих коротких рассказов, кажется, в “Новом мире”). Ежедневно она вылазила из норки, усаживалась у его ног, обнюхивала тапку. И они вместе смотрели телевизор, вернее, телевизионные передачи, в которых гремели оркестры, докладывали об успехах бесшени генералы, лихо отплясывал на палубе артист Миронов. Иногда показывали и его с гитарой. Тогда мышка как-то возбуждалась, делала круг по комнате, поворачивала к нему улыбающуюся мордочку, сверкала бусинкой черного глаза. Он наклонялся и давал ей сырную корочку. В переделкинской лавке продавщица уже знала, что поэту нужно взвесить грамм триста французского сыра и совсем немного, грамм пятьдесят, отечественного, пошехонского: пошехонский мышка любила больше всего.

Однажды он включил телевизор, сел в кресло. ее не было минуту, другу.. Вдруг что-то шелкнуло, как выстрел, в тихой комнате его. О, ужас, он совсем позабыл, что в углу была установлена, еще до их знакомства и дружбы, мышеловка для борьбы с

полками грызунов, набросившихся осенью на писательские дачи. Он похоронил ее под кустом жасмина. Почти тогда же он написал стихотворение “Что было, то было. Минувшее не оживает”.

В очередной раз он приехал в наш город (тогда еще называвшийся Свердловском) в 1986 году по приглашению перестраивавшегося Обкома ВЛКСМ. Яков Андреев тут же созвонился с ним и договорился на утро встретиться, взять интервью для “Вечерки”. Яша позвал на эту встречу и меня, чтобы разговор получился живее, не просто вопрос-ответ, а в форме непринужденной беседы. Кроме того, Яша сообразил, что я знал не только песни Окуджавы (кто же их не знал?), но и читал его прозу (а ее, к сожалению, постигла только читающая интеллигенция, не более).

При знакомстве Булат Шалвович улыбнулся несколько усталой нездоровой улыбкой. Небольшого размера кожаный пиджачок и джинсы сидели на нем мешковато. У меня, как и у него, не так давно прошла сложная операция. Одинаковые болезни сближают людей – общие страдания и надежды на целебные снадобья.

Можно было бы, конечно, взять газету тех дней и перепечатать материал более чем десятилетней давности. Но лучше приведу здесь то, что больше всего запомнилось.

Не скажу, что Окуджава произвел на меня впечатление открытости и такой доступности для собеседников. Больше было сдержанности и достоинства и, повторюсь, усталости. Изредка потирал

лоб, напоминая свое “маэстро, не убирайте ладони со лба”,

Он как-то особенно внимательно задерживал взгляд на мне. Потом спросил: “Мы с вами где-то раньше встречались?” “Нет”, – ответил я...

Яша спросил его о начале творчества, о начале пения своих стихов. Это будет интересно для читателей газеты. Потом уточнил вопрос: новатор ли Окуджава в этом жанре или существует какая-то традиция в России. “Конечно, существует, – ответил он, – возьмите, например, гусарскую песню, романсы городские”. “И, наверное, студенческое творчество? – вставил я (он согласно кивнул). – Песня казанских студентов, помните, “Через тумбу-тумбу-раз”, или “Пусть дни нашей жизни, как волны, бегут”, потом уже переделанную на советский лад. Да ведь и ваша “Возьмемся за руки, друзья”, кажется, тоже оттуда, от дореволюционных студентов?” “Совершенно верно, – оживился Булат Шалвович, – у всего есть традиции, свои истоки... Нет, признайтесь, я вас непременно где-то видел раньше?” “Может, Блинов напоминает вам кагебешника?” – это у Яши были такие шуточки. “Наверное, я вам напоминаю Мамина-Сибиряка? – спросил я. – Татарская борода и прочее. Меня в ЦДЛ дежурные пропускают, принимая за Александра Ивановича Куприна.” “Да, что-то есть...”

Мы все засмеялись, и беседа пошла более непринужденно, по-свойски, вроде бы и язвенные боли поуспокоились.

Красивое лицо мудрой черепахи. С годами он

становился красивее и интереснее, значительнее. Интеллект лежал на его челе, как сказали бы раньше.

Заговорили о его прозе. О соотношении вымысла и факта в “Путешествии дилетантов”. В одной из центральных газет была опубликована хлесткая критическая статья какого-то злобствующего шелкопера. Не умея, да и не имея оснований придаться к Б. Окуджаве как к художнику, критикан выискивал исторические неточности, неукладываемость героев в русло соцреализма, в амбивалентность и вялость персонажей романа.

“В одном месте, – усмехнулся Булат, – он подцепил меня на том, что мои герои выбирают для дуэли пистолеты системы Кольта. Оказывается, подметил критик, эти пистолеты как изобретение были зарегистрированы в Европе на два года позднее, чем описываемые в романе события. Я решил потешиться над моим оппонентом и, когда после раскритикованного журнального варианта готовил книгу, вставил фразу: дуэлянты выбрали пистолеты системы Кольта, никому еще не известные в Европе и подаренные моему герою лично изобретателем. Говорят, критик рвал на себе волосы.”

Было еще много вопросов. Договорились вечером побывать в мастерской нашего друга художника Николая Засыпкина, а назавтра встретиться в редакции журнала “Уральский следопыт”, а затем на его концерте-выступлении в зале Обкома комсомола. Но “на десерт” у меня был приготовлен еще один вопрос

к московскому поэту. Может быть, для этого и пригласил меня Яков на эту встречу.

Дело в том, что незадолго до приезда Окуджавы, я написал письмо М.С. Горбачеву, новому генсеку партии. Я предлагал установить в столице памятник жертвам сталинских репрессий, ведь через год должно было исполниться 50 лет со времени страшного 1937-го. Письмо вместе со мной решили подписать еще трое уральских литераторов. Но для солидности требовались подписи более авторитетных и известных в России деятелей. С такой просьбой я обратился письменно к Е.А. Евтушенко, а тут приехал и Б.Ш. Окуджава, который, наверное, решил я, поддержит нашу идею.

Добавлю, что такое письмо в то время было во многом рискованным – еще неизвестно было, как поведет себя новая власть. Поэтому содержание этого письма содержалось в тайне, знали о нем только три ближайшие друга и моя будущая жена.

И вот я достал листок с письмом-обращением и протянул его Булату. Он молча читает. Думает. Потом говорит: “Это правильно. Посылайте. Капля воды камень точит. Будем каждый своим делом, словом долбить этот камень и пробьем!.. Завтра вы услышите мои новые стихи, поймете”.

Он не подписал нашего послания. И мы его более об этом не просили. Он сказал, что каждый должен внести свою лепту, в чем мы и убедились на другой день. (Кстати, это обращение к М. Горбачеву не подписал и Е.А. Евтушенко. Правда, вскоре он написал в “Огоньке” о новом мощном движении против сталинизма и других

извращений нашей эпохи, начатое уральскими писателями).

В редакции журнала “Уральский следопыт” собралось человек тридцать. Многие вопросы и ответы были теми же, что и в нашем интервью. Новым был разговор вокруг романа Василия Белова “Все впереди”. Юрий Липатников, председатель патриотического общества “Память”, спросил Окуджаву, как он относится к этому произведению. Некоторые тут же зашумели, высказывая свое отрицательное мнение о романе. Я что-то вставил о художественных просчетах автора прекрасных “Плотницких рассказов”. Б. Окуджава сразу же понял подоплеку вопроса (напомню, в романе В. Белова сильна линия, связанная с влиянием евреев на жизнь в России). Он сказал: “Не надо выискивать причину наших отечественных бед в воле маленького народа. Сами во многом виноваты... И меня не раз пытались представить то как еврея, то как француза... Думать надо и не допускать того, что было”.

И здесь он впервые прочитал два своих стихотворения. В одном клеймил усатого кровавого вождя. В другом оплакивал брата, погибшего на Колыме.

И вот – творческий вечер Булата Окуджавы. Последняя встреча в нашем городе. В конце – песни, стихи, ответы на записки, фотографирование на память, автографы. Я протянул конверт с долгоиграющей пластинкой, с любимыми песнями моей студенческой, да и другой – зрелой поры. Я попрощался с ним. И он, сдержанно улыбнувшись, расписался на своей гитаре,

вернее на цветной фотографии, помещенной на конверте. Потом, уже дома, я вырезал это фото и поместил его в рамочку, под стекло. Как-то спросил своего маленького сынишку, знает ли он, кто такой Окуджава. “Это, – ответил он, – дядя-писатель, который у тебя в кабинете под Пушкиным висит”.

Да, ведь была еще одна мимолетная встреча. Вскоре после его приезда на Урал, не больше чем через полгода. В Москве, в Центральном доме литераторов прочитал объявление: “Вечер памяти Григола Абашидзе”. Среди выступающих значился Булат Окуджава. Вечер в малом зале уже начался. Я потихоньку зашел, увидел впереди красивую белокурую женскую головку. Место рядом было свободно. Пробираюсь на него. И перешагиваю, извиняясь, через острые коленки соседа блондинки... Булата Окуджавы. (Через одиннадцать лет, в дни, когда начал писать этот рассказ, увидел в газете фотографию – Булат с женой Ольгой, это была она.) Поздоровались тихонько, был как раз перерыв в выступлениях. Он протянул руку: “Как там у вас? Все здоровы? Передавайте привет”. Тут объявили его выступление.

Он рассказал о встречах с грузинским классиком. Припомнил такой забавный случай. Шумной писательской компанией заехали как-то в горы. Остановились в живописном месте. Тенистый виноградник, духанщик, мангал, молодое вино. Разместились. Григол спрашивает: “Почем у тебя вино?” “Три рубля за кувшин.” (Цену называю условно – оговорился Окуджава.) “С ума сойти! Побойся Бога!

В Тбилиси - рубль! Собирайтесь, друзья, едем дальше”. “Что вы, что вы! – воскликнул духанщик. – Такие большие гости! Сразу видно – люди авторитетные! Для таких гостей ничего не жалко. Пожалуйста, кушайте бесплатно, примите от чистого сердца!” Ставит на стол кувшин и сам разливает в стаканы. Ну, тут подоспел шашлык из молодого барашка, зелень на столе, сулугуни, джонджоли, в общем пир, как у Пиромани.

Когда стали рассчитываться, получилась кругленькая цифра. “Так ты по сколько взял с нас за вино?” – полюбопытствовал Григол. “Как и договаривались, – растянул в улыбке усы духанщик, – первый кувшин для дорогих гостей – бесплатно, а три остальные – по четыре рубля”. Что ты с ним поделаешь?!

Вскоре появится множество воспоминаний о поэте. Наверное, будет выпущена книга воспоминаний, неопубликованных ранее стихотворений. И мои размышления – лишь негромкий тост за общим поминальным столом по недавно умершему Булату Окуджаве. В эти дни многие называли его ВЕЛИКИМ. Так ли это? Вспоминается пожизненная слава и посмертная судьба Надсона, Северянина, даже Маяковского, их оглушительная популярность при жизни и... Еще недавно лучезарный блеск известности Владимира Высоцкого, кажется, уже подернулся патиной. Может, я ошибаюсь.

Время все расставит на полочках русской культуры по порядку и ранжиру. Одно безусловно, для нашего времени и двух поколений шестидесятников-

семидесятников он был СОВЕСТЬЮ и ЗНАКОМ ЭПОХИ.

О, сколько жаждущих ПОЭЗИИ и ПРАВДЫ собирали Лужники! Помню 1961-й: Дементьев, Римма Казакова, Евтушенко... Замечательного критика Владимира Огнева, вышедшего на сцену со вступительным словом, никто и слушать не хотел: даешь стихи! И только увещательная речь Евтушенко заставляет нас прислушаться к Огневу, к одному из немногих поддерживающих новую волну в печати. Вот Андрей Вознесенский, вытягивая шею, читает “Сибирские бани”, с неповторимым напором налегая на ритмическую гамму стиха. Он заканчивает выступление и передает микрофон хрупкой, обтянутой в черный бархат “надежде русской поэзии” Бэлле Ахмадулиной. И вот с гитарой на невидимой веровочке выходит на край сцены Окуджава...

В июле 1997 года (это было за неделю до смерти Булата Окуджавы), выступая в Уральском политехническом институте, Евгений Евтушенко размышлял: “В трудное время живет Россия. Но я оптимист и верю, что она поднимется, воскреснет. И придет новый Большой Поэт, а может, он будет не один. Шестидесятые годы дали целую плеяду значительных Поэтов (с возрастом Евг. Евтушенко стал как-то мудрее и потише, ведь первым среди той плеяды, безусловно, считался он. – В.Б.). Вот Иосиф Бродский – разве не большой поэт? Но это лишь одна линия русской поэзии, тянущаяся от Баратынского, но в основе ее – все же англо-саксонская традиция... Можно назвать

Высоцкого. Но это тоже лишь один канал, одно направление в общем русле многоводной поэзии, начатое Окуджавой... Я предсказываю (а у него есть основания вычертить мысленную экспоненту, учитывая опыт составления самой обширной антологии русской поэзии. – В.Б.): лет так через 10-15 придет великий Поэт, который обобщит опыт прошлых веков и продвинет нашу литературу к новой высоте. Я заключил с Политехническим музеем договор – выступать там ежегодно в течение предстоящих двадцати пяти лет. Так что надеюсь увидеть это время”.

Популярность и известность Окуджавы настолько разрослись, что он, как и всякая, пожалуй, знаменитость, стал опасаться расширения многочисленных знакомств.

Неладна будь, Суббота дорогая,
Покой мой уносящая в когтях,
Меня без сожаленья обрекая
На болтовню о ценах и вождах!
Будь проклято, Святое Воскресенье!
Святой огонь в душе моей затих.
Бесчинствует мой ЖЭК, и нет спасенья
От потных современников моих.

Черепеховый панцирь мудрости закрылся от суеты и навязчивых почитателей и почитательниц. оставался круг надежных старых друзей, переделкинский уют семейного очага, да мышка-норушка, любительница тихих телепрограмм на-двоих.

Когда песня становится народной? Когда она становится массовой, часто хоровой, а главное, когда (порой) поющие не знают или не помнят автора.

Кто сейчас сможет назвать поэта, сложившего “Среди долины ровныя”, или “Три гитары под окном жалобно заныли”, или “Ревела буря, дождь шумел”? А ведь у каждой песни есть документально установленный автор. Многие ли из подгулявшей крестьянской или городской компании помнят, когда горланят “Ох, полным-полна моя корбушка”, что эти слова придумал Н.А. Некрасов в своей поэме “Коробейники”?..

В трудовом лагере под Адлером я решил недельку не пить ни “сухаря”, ни портвейна-хирсы, а по утрам заняться зарядкой. Катюша поддержала меня, и пока эвриканцы спали, мы убегали на территорию пионерлагеря, где были турники, шведские стенки и яма для прыжков. И где делала разминку красавица-физрук Жанна. Мы подбегали, здоровались и разминались втроем. Мое самолюбие тешил вид двух по-разному очаровательных девушек, которые старались мне понравиться и “охомутать” меня, обучить, приучить. Помню, завершив упражнения по комплексу Жанны, мы бежали по песчаной дорожке и откуда-то долетал тонюсенький детский голосок: “Ах, Надя-Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души”. Оказывается, это пела пионерка из младшего отряда. Мы увидели ее на бегу в открытой двери дощатого беленого известкой туалета, крепко пахнувшего хлоркой. Мы посмеялись на ходу над этой

девочкой, объевшейся, видимо, неспелыми сливами, и бежали дальше. И за нашими спинами затихал милый детский голосок: “Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста: шофер автобуса – мой лучший друг”.

Помнит ли сейчас эта девочка, давно уже ставшая сорокалетней женщиной, эту песенку из репертуара раннего Окуджавы? Или другие девушки с инструментального завода, уезжавшие на уборку картошки (“А он медузами питался, циркачке чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить...”) – помнят ли они эти песни сегодня? Это – на всю жизнь. Почти слилось с фольклором.

Катя не могла простить мне недельного увлечения физруком Жанной. И потом, уже после черноморского лагеря “Эврика”, я не раз пытался навести мосты, звонил, передавал приветы. Бесполезно, тщетно.

А потом я узнал, что она в составе воинов-уральцев, исполняя, как тогда говорили, интернациональный долг, оказалась в Афгане. Медсестрой, в военном госпитале. Писала друзьям. Одно письмо, наконец-то, получил и я. Ответил жарко, запоздало, откровенно, мол, надеюсь и жду, возвращайся с победой...

Уже на подходе к нашей границе, когда советские войска покидали Афганистан, колонну наших бронетранспортеров душманы расстреляли из гранатометов. Всех наповал. И только одного ротного и Катю Бодню так и не обнаружили... Так рассказывала сухая газетная информация.

Оставалась какая-то надежда. Но прошло много времени. И рухнула последняя надежда, почти рухнула. Катины родители показали мне связочку ее писем. Она рассказывала, как ухаживала за ранеными, а чтобы им было полегче, пела под гитару окуджавские песни, немного приспосабливая их к обстановке. Например, вместо Ваньки Морозова появился в тексте однополчанин-уралец Мишка Воронин. Но многое и не требовалось переделывать: “Вы слышите – грохочут сапоги...” или это, к которому она подобрала свой неприхотливый мотивчик:

Пока еще жизнь не погасла,
Сверкнув, не исчезла во мгле...
Как было бы все распрекрасно
на этой зеленой земле!
Когда бы не грязные лапы,
неправый вершащие суд,
не бранные крики, не залпы,
не слезы, что речкой текут!

Катя сочинила и несколько своих песен. Ее мама вручила мне бережно кассету, и я переписал ее. Стихи были просты, искренни. Слушать их было больно. Невозможно... Лунный зов цикад и теплое касание волной наших ног, лежащих рядом...

“Ах, если б знать заранее, заранее, заранее...”

Был ли он религиозен? В посмертно опубликованном интервью уверял, что он атеист. Однако Муза его была Божественна. Да и в своих песнях он не раз обращался к Господу. Молитва Франсуа Вийона, в молитве за

страдающих и озябших – “и не забудь про меня...” Или в другом стихе: “Вот комната эта, храни ее Бог, мой дом, мою крепость и волю...” Или в другом: “С горячей любовью к Всевышнему тянусь из сердца своего...”

Может быть, он просто не принимал церковной обрядовости, о чем тоже говорил журналистам?

Прощаясь с Булатом, Андрей Вознесенский сказал: “Он как поэт всегда был хранителем христианских традиций”. (Как тут не вспомнить юношеских блужданий и исхода А.С. Пушкина!) И Вознесенский произнес: “Он жил, как жить должны артисты/, по-христиански опочил./ Стихами, в бытность атеистом,/ Тебе он, Господи, служил.”

Ошибался ли он? А как же! Как всякий живой человек. Не желая в прежние времена лезть тут и там в “подписанты”, он подмахнул письмо 13-ти в 1993 году, как бы оправдывая кровавую расправу над заложниками Белого дома. Некоторые друзья не поняли, отвернулись, осудили. Он переживал.

... Самый любимый праздник в нашей, екатеринбургской писательской организации – День Победы. Сидели, шутили, вспоминали, а после “законных, наркомовских” читали по кругу стихи, распелись. Кто-то вспомнил песню из “Белорусского вокзала”. “Тут он не то сказал, ошибся, – покачал курчавой головой писатель-фронтовик Анатолий Трофимов, – мы за ценой не постоим... Разве... Как мог такое сказать фронтовик? Не понимаю!” “Да что вы, – закипятился я, вступаясь за любимого поэта, – никакой ошибки, все верно и точно сказано!” “Ты успокойся и

вдумайся, – упрямю повторил Трофимов, – “Мы за ценой не постоим!” “Так ведь это поэтический образ, и, наверное, многие так думали, – не унимался я. – Скажите, Семен Борисович,” – обратился я за поддержкой к бравшему Берлин Шмерлингу. Семен Борисович подвигал губами, закусывая, потом сказал: “Прав Толя. Что-то здесь не то. И здорово не то.”

Простим же ему, если он в чем-то оступился. Пусть и он простит нас, современников, за недопонимание, за наши грехи.

Согласитесь, интересно проанализировать: чем “брали” исполнители авторской песни (барды и менестрели, как их называли сначала). В двухтомнике русских поэтов-исполнителей, выпущенном во Франции, самые большие объемы отведены Окуджаве, Дольскому, Высоцкому, Галичу.

У Александра Галича главное – в правде, в повествовательности, в иронии. Его изобретение – песня-ролик, маленькая горькая новелла о бывшем зеке (“Облака плывут, облака”) или ернический сатирический рассказ о советском итееровце (“А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей”).

У Александра Дольского – виртуозность гитарного сопровождения и тонкость мелодии в сочетании с истинным артистизмом исполнения при некоторой рациональности стиха, обогащенного голосом, струной, самым обликом автора.

У Владимира Высоцкого – неповторимость страстного хриплого голоса, сильной самовольной натуры, напор, дерзость сюжета, разработки тем, прежде избегаемых поэтами (в прозе этого было больше) или запрещаемых цензурой.

Но первым по времени и по “весу” все же был Булат Окуджава.

В посмертной передаче о нем Александр Городницкий назвал его единственным поющим поэтом. Как? – не поняли многие зрители, слушатели, барды. А вот так. Конечно же, есть другие талантливые поэты-исполнители. Городницкий хотел, наверное, сказать, что это был ПЕРВЫЙ поющий Поэт. Да, этим сказано все.

Все они, и Городницкий тоже, прокладывали дорогу к правде, осваивали новое направление в русской поэзии. Оно уйдет в грядущий век как чуть ли не самая яркая картина нашей отечественной культуры. Потом авторская песня будет забываться, превращаться в памятник. И вновь воскреснет! И тогда потомки вспомнят Булата Окуджаву и других шестидесятников.

В самой маленькой “эвриканской” палатке, подальше от коварных, хранился провиант. И там время от времени что-то позвякивало. Мне надоело туда ходить, и, лежа на остывающем песке, я попросил: “Катюша, сходи посмотри, пожалуйста”. “Боюсь, иди сам”. “Чего боишься?”

...И не то, чтобы случайно: мол, ошиблись в тесноте, а намеренно, надменно, как приговорили: мол, не стоит

оправданий, мол, другие вы, не те... Мы не те? Да вы-то те ли? Те ли? Да и вы ли?

На днях один из комментаторов, занявший высокий пост на российском телевидении, напоминающий большой сперматозоид в очках, приставал к шестидесятнику Юрию Любимову, не была ли Таганка (читай – и поэзия, и живопись 60-х) красивой фигой в кармане...

Еще неизвестно, как оценит История движение шестидесятников. К каким новым идеалам придет? Да уж не к социализму ли с человеческим лицом!

Хотелось многое сделать и продвинуть эту самую Историю хоть немножечко вперед. Художники часто наивны. И все же разве не подвинул бы, если бы не существовало Вивальди и Боттичелли, Пушкина и Исикавы Токубоку, Михаила Нестерова и Николая Рубцова?..

Легче построить дом и домну, поднять целину и запустить космический “новый, как шелковый”, чем переделать человека и человечество:

Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараятся, лезут из кожи.
Затрачены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, все то же.

Мой герой, шестидесятник-эвриканец, уже изрядно постаревший, возвращался поздно ночью от своей подружки из далекого района Уралмаша. Транспорт ходил как попало, впрочем, как и все в стране. Он все же успел на последний (будем правдивыми, без

сюжетных натяжек, не на троллейбус) трамвай. В вагоне была одна кондукторша (снова появились кондукторши). Она смутно напоминала ему девушку давних лет, которую он любил, кажется, полюбил, когда учил ее выдувать звуки на золотистом горне.

...Она старательно надувала щеки, обмусолила весь мундштук, но из горна выдувались только смешные непотребные звуки. И они оба смеялись. И он целовал ее уставшие губы...

Да, эта кондукторша была чем-то похожа, может быть, нижней несколько по-верблужьи оттопыренной губкой. Он достал из кармана куртки бутылку с испанским вином, отхлебнул. И предложил ей. Она усмехнулась, не отказалась.

Так они ехали, и трамвайный звонок вдруг возникал в ночи, как большая цикада. И он запел негромко песню своей юности: “Последний троллейбус по улицам мчи...”, не надеясь, что она знает ее, ведь она была лет на двадцать, а может, и тридцать младше его. Но она вдруг уверенно и для пустого трамвая довольно громко подхватила “Верша по бульварам кружение...” Потом утишила голос и, показывая на него пальцем, завершила: “Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи, крушение, крушение...”

“Откуда ты знаешь эту песню?” – спросил. “О, – ответила она, – о, мне ее напевал отец как колыбельную”.

Он открыл дверь своим ключом. Из дальней комнаты послышалось обычное: “Явился?” Потом жена добавила: “Там тебе записка у телефона”.

Подсел к столу. Включил настольную лампу. Прочел: “Завтра сбор “эвриканцев”: умер Булат Окуджава, вечер памяти. Позвонила Екатерина Бодня”.

Значит, завтра у президента “Эврики” Владимира Бокарева соберутся все наши... И – она! Она спаслась и вернулась! Как же так, думал он, Окуджава умер в Париже, а Катя Бодня вырвалась из афганского плена... Что же было делать – плакать или радоваться? Он пошарил в глубине письменного стола и достал “Перцовку”, оставшуюся от черствых жениных именин. Там же нашлась рюмка и полкоржика.

– Марья Петровна с улыбкой трагической храбь мене скажет, ну храбь...

– Чего ты там бормочешь? – послышалось из соседней комнаты.

– Новенький мчится корापь, – ответил я.

12 июня – 12 июля 1997 года,

12 июня 1998 года

г. Екатеринбург

Александр Филиппович

ЛИКА ТРОФИМОВА

Глава из книги

Все здесь было по-прежнему, как и в мой прошлый наезд, если не считать, что тогда я приезжал в середине марта, а на этот раз пожаловал в конце августа. Точно так же необычно было наблюдать, хотя теперь это уже и не было для меня неожиданностью, что никуда далее поезд не идет, что здесь тупик, что здесь словно бы край света, предел, – именно те, словом, места, дальше которых незачем и ездить, далее которых ничего как бы и не бывает.

Паровоз отцепился от состава у меня на глазах и, шипя и обволакивая пути паром, медленно откатил в депо, чтобы показаться из него вечером и отвезти поезд обратно. Небольшой перрон перед одноэтажным зданием вокзала был забит людьми, хотя и прибыло с поездом нынче не так уж и много народу: еще в прошлый раз я заметил, что здесь просто принято приходить на вокзал встречать и провожать поезда точно таким же образом, как повсюду принято, допустим, выходить в праздники на улицу, чтобы людей поглядеть и себя показать.

Я устроился в автобус на привокзальной площади и тотчас уехал на завод.

Предстояло вновь урезать смету на строительство первой очереди ТЭЦ лесозавода, потому что и на этот раз выделенные сверху средства оказались чрезвычайно малы, чтобы стало возможным на них хоть что-то из намеченного окончательно достроить. Кто-то там, наверху, за нас уже определил одним росчерком государственного пера, что первая очередь должна обойтись именно во столько-то и – ни копейки больше! Честно говоря, так то, что нам здесь с заводскими товарищами предстояло совершить, являлось ничем иным все-таки, как самым натуральным очковитирательством. С той, однако, особенностью, что никто и никогда никого конкретно этим не надеялся обмануть: все ведь понимали прекрасно, и мы с Коротковым, с начальником ОКСа завода, в Госкомитете, что ТЭЦ в результате сей операции никак дешевле не станет, что, сколько предусмотрено вложить средств в строительство первоначальной сметой, все равно будет вложено. Если даже не больше... Но мы с Коротковым должны были руководствоваться не здравым смыслом, а абсурдной логикой бюрократизма. Это я понимал превосходно. За последние годы работы главным инженером проекта мне не раз уже приходилось сталкиваться с подобными обстоятельствами. Что ж, дольше будем строить. Только и всего...

Да, все это я понимал. Вернее, так научился понимать. И тем не менее в подобных ситуациях я всякий раз чувствовал себя столь же, пожалуй, отвратительно, как чувствовал бы себя, вероятно, любой честный,

добросовестный во всяком случае, врач, которого принуждали бы излечивать больного на протяжении месяца, в то время когда оказывается возможным поставить его на ноги в одну неделю, и который вынужден поступать столь неестественным, антинормальным образом единственно из того, что какой-то авторитетный дядя вдруг под горячую руку да мимоходом заявил, будто этого больного нельзя, дескать, никак излечить раньше.

ТЭЦ, признаться, была крохотною, еще тридцать – тридцать пять лет назад, в сущности, переставшая быть последним словом энергетической техники, но подобные ей мы, однако, до сих пор все еще принуждены возводить в тех местах, где ничего пока лучшего не придумаешь. Да, с точки зрения технического прогресса была она, разумеется, нелепо несовременна, по своим же технологическим показателям смешна и старомодна, но для этих мест являлась она все же сооружением не просто жизненно необходимым, а и даже грандиозным отчасти, потому что места эти были периферией нашего огромного промышленного края. Именно, как говорить теперь отчего-то принято не без некоей при этом неловкости, периферией, но никак только не провинцией, потому что провинции, как берутся некоторые запальчиво утверждать, у нас нет либо еще похлеще – и быть-то не может. А впрочем, каким это все словом ни назови, хотим мы того нет ли, но все это есть в реальности, – есть множество таких вот мест со своими особыми заботами, с вечной нехваткой средств, материалов и

квалифицированной рабочей силы, со множеством всяческих других своих проблем, какие в иных местах уже давным-давно перестали считаться проблемами...

– Чего же ты не можешь понять! Ты и сам все прекрасно понимаешь. И я понимаю. И все понимают. Нам надо строить, – доставая папироску, вздохнул Коротков, отваливаясь в кресле, как только мы закончили “программу (это он так выразился) первого дня”. Рассеянно глядя в окно, Коротков прикурил. – Когда месяц назад я летал туда, – он глазами указал на потолок, – что и говорить, все они там были шибко разумными да мудрыми. Но теперь матерись не матерись, а выкручиваться-то придется нам с тобой. – И Коротков энергично улыбнулся. – Надо строить!

Коротков мне нравился.

Он был одним из тех именно оптимистов, которые по-настоящему незаменимы во всех таких дальних полупромышленных и, по сути дела, глухих еще городках, где катастрофически необходимы люди, умеющие и даже любящие строить практически из ничего. Был Коротков уже не молод, но еще и не стар и находился в том среднем возрасте, границы которого расплывчаты, но достигнув которого, человек уже долго не изменяется внешне или же почти не изменяется, и, если же в этот период он почему-либо умирает, у нас говорят, что “товарищ ушел из жизни в расцвете сил и таланта”. Одевался Коротков всегда аккуратно и чрезвычайно просто, хотя и был для этих мест “шишкой” немалою: предпочитал заметно темные, немаркие рубашки с неизменным черным,

“инженерским” (как он сам подчеркивал) галстуком. Словом, явно и совершенно принадлежал он к тому новому поколению, какое явилось теперь на смену своим отцам, предпочитавшим всевозможные френчи, кителя, гимнастерки, шившиеся по персональным подчас даже заказам у местных портных...

Отобедав в заводской столовой, уже в четвертом часу дня мы с Коротковым обошли стройку, и я получил превосходную возможность еще раз убедиться, что строители не очень-то любят “возводить”, так сказать, летом: мало что они совершили здесь с весны по осень. Монтаж котла находился все в той же, в “зачаточной”, стадии, хотя котел и по-прежнему не столько рассчитывали, сколько легкомысленно обещали поставить под давление традиционно к Октябрьским.

День выдался сырой и угрюмый, наружные работы совершенно не велись, и в немалой степени, может быть, из-за этого именно возникало то впечатление заброшенности и запустения, какое вызвал во мне общий вид стройплощадки и от какого я никак не мог освободиться, пока по объектам мы осматривали стройку.

Отсутствие игры красок и света, обычное для этих наших, довольно северных, широт, обращало все заводские строения вокруг в однообразно серые. Низкое небо, по которому довольно свежий северо-восточный ветер, долетавший сюда, должно быть, даже с далеких просторов Великого Ледовитого океана, гнал плотные, тяжелые, груженные холодом облака, сообщало всей местности вообще свинцовый,

мрачноватый цвет вечно не просыхающего дерева. Кирпичная коробка главного корпуса ТЭЦ – единственного, кстати, здания на всей территории лесозавода, сооруженного не из бревен и теса, – стояла на развороченной глинистой земле, в которой еще в начале лета прорыты были траншеи для подземных сетей. Оконные проемы все еще были пусты и безлики, хотя и стремительно весьма приближалось время затяжных осенних дождей...

– Ты где, однако, устроился? – справился Коротков, когда через проходную вышли мы за территорию на заезженную автомашинами и тракторами предзаводскую площадь.

– Нигде пока что, – признался я. – С поезда – сразу к тебе. Но думаю, что попаду в вашу городскую гостиницу. Все же у вас не Москва и на улице не оставят.

– А напрасно так думаешь! Не пробьешься ты, пожалуй, нынче в номера. То ли слет по району какой-то, то ли конференция. Во всяком случае, все забронировано. – Он мельком взглянул на меня и улыбнулся: – Ступай-ка лучше сразу в наше общежитие к монтажникам. А я позвоню, чтобы там организовали тебе свежую постель. Распоряжусь обо всем, в общем. Там у них всегда имеются в запасе свободные койки. Не возражаешь?

Особенных огорчений, что с определению долею комфорта мне ныне не устроиться в городской гостинице, я, признаться, не испытал совершенно. В таких городках встречаешь в гостиницах в большинстве случаев две ярко выраженные категории людей

скучных. Первые прибывают сюда из мест, еще более отдаленных, и они нередко принимаются даже жаловаться на шум, усталость, непривычно энергичный ритм здешней районной жизни, и всегда сверх меры способны подолгу восхищаться теми изменениями к лучшему в области обслуживания, которые здесь произошли-случились за время их отсутствия, в пример вам приводя при этом даже те годы, когда в здешних местах чуть ли ничего еще фактически и не было, кроме конечной станции железной дороги. Другая же категория приезжих – действительно люди из всевозможных центров. И эти тоже, между прочим, горазды жаловаться бесконечно, но уже на скуку, убогость и примитивизм местного, так сказать, образа жизни. Причем нередко, если не как правило, в особенности когда в довершение ко всему еще и придется с этими вторыми распить в номере бутылочку, они доверительно, как сообщают обычно секреты, со всеми предосторожностями и полунамеками, принятыми в подобных случаях, пускаются философствовать на темы о нашей безнадежной российской отсталости и о неопределенности пути, каковым, по их мнению, мы движемся неумолимо и безнадежно да и год от году все скорее. Признаться, так встречать и тех и других не составляет удовольствия, потому что всегда ведь это грустно – убеждаться лишний раз, какое все же немалое количество людей разучивается с возрастом смотреть на вещи достаточно трезво...

Я поблагодарил Короткова искренне за заботу насчет койки в общежитии для монтажников, мы вернулись в

заводоуправление, и я захватил свой портфель. Коротков предложил мне напоследок еще и свою машину, но я (и сам не знаю отчего!) от машины весело отказался.

– Н-ну, как знаешь – хозяин барин! Было б предложено. – Коротков на своей любезности настаивать не стал, и мы пожали друг другу руки, прощаясь до утра.

На автобусной остановке у завода собралось в ожидании несколько женщин. Они лузгали семечки, с любопытством посматривали на меня, приезжего, как на нечто для них откровенно чуждое, и время от времени чуть ли не насмешливо переглядывались меж собою... Н-да, все здесь, в общем-то, оказалось таким же, каким представилось мне и в прошлый мой наезд сюда...

Я по старой памяти довольно скоро отыскал двухэтажный шестнадцатиквартирный дом посреди десятка таких же типовых домов-близнецов заводского поселка, где предстояло мне остановиться. Без стука вошел я в темную, уставленную сплошь рабочей обувью тесную прихожую. Дверь в коридорчик, ведущий на кухню и в переднюю комнату, была притворена плотно, но за нею раздавались весьма возбужденные голоса. Никто там так и не услышал, что кто-то вошел в квартиру. Я повесил плащ, отыскав на вешалке сравнительно незагруженный крючок, и отворил дверь в комнату.

С моим появлением общий разговор тотчас же оборвался, и все ко мне обернулись.

Первое, что я отметил, так это то, что здесь словно бы ничто не изменилось: в клубах табачного дыма парила над столом двухсотваттная лампа без светильника с подвязанным, чтобы был короче, шнуром; как и в большинстве казенных помещений – голые, маркие стены, вытертые подчистую над двумя койками, заправленными традиционным “конвертом”; и – о старый знакомый! – конторский черный дерматиновый диван в мятом сером чехле; а уж посреди всего этого – круглый стол, покрытый вместо скатерти простынею, выпяченной в первый же, наверное, день, как ее постелили. Стол был уставлен стаканами, и на обрывки газет собраны были несъедобные уже остатки от всевозможных закусок. Короче говоря, застиг я обычную картину мужского общежития, где справлялось только что какое-то небольшое торжество по какому-либо одному из тех необыкновенно многочисленных поводов, за которыми, как я замечал, еще нигде и никогда не застопоривалось дело.

– Представьте себе, у меня сейчас такое чувство, будто я никуда отсюда не уезжал! – прежде всего произнес я вместо приветствия, задерживаясь в дверях и весело оглядывая собравшихся здесь.

– Кого я вижу! Воропаева, – первым из присутствовавших воскликнул Давидян, нарушая настороженную тишину, невольно вдруг воцарившуюся в компании в связи с внезапностью моего появления. – Да ты приехал, можно сказать, почти что вовремя! Но... все-таки уже опоздал. – При этом Давидян улыбнулся мне своей непременно ослепительной улыбкой, прекрасно,

очевидно, – как всегда, впрочем! – сознавая, что она у него и нынче великолепна и что еще не родилось на свете человека, способного устоять перед нею.

Лицо его было уже оживленно и румяно от выпитого. Он же сам молод и красив, как в большинстве красивые и все кавказцы, когда они еще достаточно не стары, – от одних избытков самоуверенной гордости и здоровья. Черты его лица были не то чтобы правильны, а и необыкновенно приятны. Особенно же впечатляли его типично армянские, огромные, уверенные и... совершенно вместе с тем ненадежные черные глаза с густыми и мягкими, точно бы бархатными, ресницами, которым к старости суждено было конечно же обратить своего владельца в еще более обворожительного и привлекательного собутыльника. – Интересно все же узнать, что здесь происходит? – осведомился я с улыбкою, невольно принаравливаясь к игривому настрою всей компании.

– Давидяну – четверть века! Завтра, правда, стукнет, но мы уже репетируем, – кивнул на своего друга Кузнецов, сидевший на диване рядом с Давидяном. О Кузнецове я и знал-то, пожалуй, только то, что он Давидяну близкий товарищ. Человек он был неразговорчивый, что я отметил еще в свой прошлый приезд сюда, и “выступал”, так сказать, публично лишь в тех, обычно “критических”, моментах, когда Давидяну необходима была, по его мнению, срочная поддержка.

– Поздравляю! – И я искренне пожал Давидяну руку.

– Конечно, если подходить строго, то поздравить меня

ты мог бы и завтра! Но все равно... главное – неужели не мог сегодня прийти на полчаса пораньше! Это не инженеры, это саранча какая-то! – И, смеясь, Давидян кивнул на собравшихся. – Даже от селедок, по-моему, они не оставили костей! Сожрали все... Может быть, обождешь, пока я слетаю в магазин?

– Честно – не стоит! – улыбнулся и я. – Если б знал, то, конечно, постарался бы прийти пораньше. Но и ты согласишься, что о юбилеях предупреждают все-таки заранее! Кроме того, как я догадываюсь, главные торжества отложены все же на завтра?..

Следом я пожал руки Кузнецову и двум другим товарищам Давидяна, которые сидели на койках. В прошлый раз я этих двоих здесь не видел. Незнакомцы назвались по имени, и я, откровенно-то говоря, тотчас позабыл о них.

Из всей компании один только Бердников, сдвинув газету с остатками пиршества, сидел сейчас за столом и, лениво перетасовывая колоду, готовился, по-видимому, раскладывать один из своих пасьянсов, которых знал он страшное дело какое количество.

– Сколько лет, сколько зим! – сказал я и ему приветливо. – Уж вовсе не тебя ожидал нынче повстречать. Бердников уныло усмехнулся, вяло ответил на рукопожатие и тоскливо пробормотал:

– И не говори!

– Похоже, что ты так и не ездил в отпуск? – догадался я, вспомнив, как мечтал Бердников об отпуске еще весной.

– Вот именно! – подтвердил он, и я мгновенно сообразил, что нынче вести разговор на эту, столь излюбленную им ранее, тему о предстоящем счастливом отпуске в родных южных местах Бердникову совершенно не желается. Немного погодя он спросил, уходя и вовсе от разговоров о себе: – Ты надолго к нам?

– Всего дня на три, – объяснил я.

– Проходи ко мне и занимай тогда кузьменковскую лежанку, – предложил он.

– А что, Кузьменко куда уехал? – поинтересовался я, невольно сожалея, если это так, потому что повидать Кузьменко, как старшего на монтаже, мне не мешало.

– Совсем уехал, – подтвердил Кузнецов.

– Был и весь вышел! – почему-то усмехнулся Бердников.

– Ну и дела-а! – удивился я, припоминая тотчас, что была у Кузьменко, кажется, какая-то здесь амурного порядка история, даже со скандалом будто бы. И следом еще справился: – Натворил он чего или ему на другом участке квартиру дали?

– Чего там натворил... просто жил как умел, – хохотнул для себя несвойственно Кузнецов.

– Перевели, в общем... Настоящую ГРЭС будет строить, – уточнил Давидян, – Ну, повышение вроде бы пообещали...

– Кто же теперь за него? – спросил я прямо.

– Пока что – я! – радостно признался Давидян. Я поспешил теперь извиниться, что все-таки с дороги, что хочу немного передохнуть и совсем не желаю

мешать честной компании, а потому, пожалуй, и полежу часик-другой.

– Что ж, твое дело! – согласился со мной Давидян после все же недолгого упрасивания остаться с ними. – Но завтра тебе усталостью не отвертеться! – пообещал он. – Пока все здесь не перепьемся, у меня будет к тебе парочка уже заготовленных вопросов по технике. В одном месте в чертежиках вы как будто здорово наклепали...

Я догадался, что Давидяну очень не терпится “выступить” передо мною в новой роли пусть и временно, но главного на монтаже ТЭЦ электрика, и, согласившись, что “хоть завтра – и то хлеб”, я прошел в комнату Бердникова.

Постель на кузьменковской койке оказалась немятой и чистой.

Было совершенно очевидно, что с той поры, как после Кузьменко ее сменили, на ней никто не спал больше. Не менее очевидным представилось мне и то, что Бердникова в отдельной комнатухе тяготило одиночество и именно оттого предложил он мне пожить в эти дни с ним. Я задвинул под койку дорожную сумку, выложил на подоконник портфель с проектной документацией и, сняв пиджак и водрузив его на спинку стула, превосходно растянулся поверх одеяла и закурил. Выходить в комнату снова не было у меня никакого желания, и я решил обождать, пока компания несколько поутихомирится.

Давидян, Кузнецов да, по-видимому, и те двое их товарищей, с которыми я только что познакомился, были

еще чрезвычайно молоды и все еще находились в той легкомысленной поре жизни, когда от избытка энергии, надежд и безрассудной подчас, но всегда прелестной до легкомыслия веры в себя чудится, будто окружающие тебя люди способны лишь мило, постоянно и чудесно шутить и жизнь придумана потому исключительно ради удовольствий. Все они недавно закончили институтский курс наук, их направили сюда набираться опыта на монтаже ТЭЦ. Восприняли они это не то чтобы легко, а и не без некоторого энтузиазма даже, считая, видимо, это направление не более чем увлекательным времяпрепровождением, которое вполне можно будет самому прервать, едва только начнет оно тяготить.

Люди, так сказать, в возрасте никогда не бывают столь легкомысленны, когда отсылают их работать в такие вот отдаленные, мягко говоря, местечки, где весьма частенько, в периоды перебоев со снабжением, даже папиросы и сигареты приходится заказывать с проводниками поездов и пилотами местных авиалиний. Эти “люди в возрасте”, нисколько не заблуждаясь, всегда довольно трезво и откровенно склонны объяснять такие-то направления на работы в такие-то местечки обыкновенным почему-либо нерасположением к себе со стороны начальства. И не без основания, впрочем. Но Давидян и трое его товарищей были еще слишком молоды для житейской мудрости и трезвости, еще слишком полны были свежих воспоминаний о недавней студенческой жизни, во всем стремились сохранить ее привычки и выглядели потому истинными оптимистами.

В отличие от них Бердникова, например, следовало уже уверенно отнести к “людям в возрасте”.

Было ему за сорок, и принадлежал он к той, довольно многочисленной ныне, прослойке, которую точнее всего, по-моему, следует обозначить, как “полуинтеллигенция”: обычно это люди, уже прошедшие неласковую школу практической жизни, то есть так или иначе, а без сожалений, во всяком случае видимых, уже освободившиеся от теоретических предрассудков философий, изученных по учебным программам, и опустившиеся до всем понятного, до сугубого практицизма поступков, обыкновенно никем почему-то не осуждаемого. Получить образование люди этого типа стремятся, как правило, совсем не из благородных устремлений постичь тайну той или другой области знаний и уж вовсе не из того, чтобы своим личным служением принести обществу некую пользу. Скорее, из желания устроить себе по возможности наиболее беззаботную и ленивую жизнь они благодаря в большинстве случаев исключительно своей ловкости добывают самые всевозможные дипломы. Эти “люди в возрасте” весьма быстро усваивают то, чем характерна внешне жизнь образованного человека. Но основное, что составляет ее для истинного интеллигента и к чему должно побуждать истинное образование – постоянная самоотверженная и самостоятельная работа ума и совести, – все это как-то до обидного мало, почти совершенно их не затрагивает. Вот и Бердников, будучи на монтаже ТЭЦ шефом от котельного завода, опытно и удачно сумел поставить

себя здесь так, чтобы почти ничего не делать самому, но всем казалось бы при этом, что вздохнуть ему некогда. Это, конечно, надо суметь... А впрочем, обладал он добрым и общительным нравом, обтесавшимся в беспрестанных разъездах и командировках...

В соседней комнате тем временем возобновили разговор, прерванный, по-видимому, моим появлением.

– Шеф, – спрашивал Давидян у Бердникова. – Понять не могу, неужели все это ты утверждаешь на полном серьезе?

– Разумеется, на полном. Из твоего возраста, чтобы просто шуточками забавляться, я уже, кажется, давненько вышел, – вздохнул Бердников.

– Весь! – хохотнул кто-то, и мне показалось, что это Кузнецов.

“Странно, что он так необычно развеселился, – усмехнулся я. – Ах да... они же все выпили!”

– Заливаешь, шеф! – энергично продолжал гнуть свое Давидян.

– А идите-ка вы все знаете куда!

– Не-ет, обожди! Допустим, шеф, повстречается тебе приличная, интересная и вместе с тем порядочная женщина. Хотя ты у нее, допустим, и не первый.

– Эх, знаешь, сколько я их, порядочных-то, перебрал! И все они, между прочим, были сперва необычайно приличные...

– Сколько же, шеф? – усмехнулся Давидян.

– С меня хватит.

– Ну и что!

– Ничего.

– Нет, ты по совести можешь утверждать... – Да я, в сущности, в вашем кругу все могу утверждать. Годы, прожитые годы, мальчики, дают мне это право.

– Даже утверждать, что все женщины остались для тебя безразличными? Ну, что ты к ним безразличен остался? Шеф, а может, это просто тебя подводит память?

– Я вижу их насквозь.

– Любопытно... Что же ты видишь?

– А вот в том-то и дело, что, в сущности, ни хрена! В том-то и дело... Оттого я никогда ни одной из них и не верил до конца. Кстати сказать, всякий раз только и убеждался, что верно делаю.

– Нет, шеф. Тебе пока что просто не встретилось приличной женщины.

– Ну-ну.

– Неужели ты сам никогда и ни за кем не приударял? Не терял головы?

– Послушайте... это вы их, верно, с бабами нынче головы свои теряете. Лично я, как все мое поколение, в окопах свое оттерял. Отрезвел, словом, в этом вопросе.

– Однако согласись, шеф, что они все такие... ну, хотя бы разные!

– Видимость. Все это в них обман. Природный обман.

– Эх, шеф, шеф!

– Ну, ладно, чего... что ты хочешь мне все же доказать?

– Я, например, утверждаю, что их всех нельзя мерить одной меркой. Как нас, если уж на то пошло!

– Ты с мое сперва поживи, чтоб утверждать такое.

– Однако действительно, о чем мы спорим? (Ну, конечно же, Кузнецов это поспешил своему другу на помощь!)

– О чем... Да вот, шеф треплет, будто женщины ему совершенно безразличны, а я обыкновенно не верю.

– И правильно – не верь! Пусть треплет, пока ему не подвернется какая-нибудь вдовушка. Вот тогда наш шеф знаешь как забегает!

– А ему, по-моему, поздно бегать.

– Это я-то забегаяю? – А то кто же!

– Не дожدهшься.

– А все-таки, шеф, если?

– Ну-ну.

– Парни, а наш шеф, может, уже просто не... а?

– Я-то?

– Ты-то.

– А кое-кому, впрочем, я еще и сто очков дам наперед...

– Кому?

– Сто очков? Эх, жаль, что никак нельзя проверить!

Что ж, все это был, в сущности, обыкновеннейший треп, как принято говорить, “о женщинах”. Один из тех, какие способны продолжаться чуть ли не сутками, постоянно перемежаясь при этом еще и “практическими” воспоминаниями о конкретных из личной жизни случаях того или иного из соседей по командировке, и какие чаще, чем всякие другие разговоры, возникают как бы само собой в мужской компании после выпитого стакана водки. Мне приходилось выслушивать множество подобных споров, в которых никто никого и никогда не смог все

же переубедить, и почти всегда при этом среди энергичных и неугоминых спорщиков выявлялся кто-нибудь вроде Бердникова нынче, кто брался бы утверждать, будто все женщины сплошь лживы, а он ко всем из них опытно равнодушен. И я задремал...

Окно оказалось теперь распахнутым настежь. Гроза-ливень прошла только что. Отовсюду с крыш стекала вода, а комната через край была затоплена свежестью. Небольшие, ровно остриженные тополя металлически звенели внизу мокрой листвой, и их крупные молодые листья блестели теперь, точно и в самом деле вырезанные из жести. Бердников сидел напротив на своей койке и, отвалиясь к стене, листал старый "Огонек", который выписывали на общежитие и он всегда приходил сюда с опозданием, уже изрядно потрепанным и с непременно разгаданным наполовину кроссвордом. Лицо у Бердникова было длинное, худое, с высоким лбом. Густые вьющиеся белокурые его волосы, которые из-за их густоты невозможно было причесывать, стояли торчком.

Глубоко посаженные темные глаза и крупный мясистый нос, придавая всему облику своего владельца известную мрачность, довершали дело. В общем, для той роли женоненавистника, которую он решил нынче разыгрывать зачем-то, Бердников весьма подходил внешне...

— Орлы давно разлетелись? — спросил я про компанию Давидяна.

— Давно... Почти сразу же, как ты сюда уединился, — сообщил Бердников ровным тоном, словно мы

продолжали с ним давнюю беседу. После этого он отложил журнал и, скрестив на груди руки, принялся мрачно созерцать прямо перед собою, ничего не видя, вероятно, кроме своих каких-то соображений. Да, по всему судя, настроеньице было у него отчего-то неважным.

Я предложил ему закурить.

– Бросил, – отказался он решительно.

– Давно ли?

– Третий день.

– Ну, ты так это сообщил, – развеселился я невольно, – точно уже и позабыл, когда курил в последний раз. Усмехнувшись, Бердников отвернулся к окну.

– Там тебе принесли свежую постель, – сказал он и вздохнул отчего-то. – Будить я не дал, так кастелянша все в той комнате оставила. Можешь перестелить...

– Спасибо за заботу. – Я улыбнулся невольно, вспомнив Короткова: разумеется, это работал его звонок.

Была половина вечера. Небо прояснилось после непогоды, и впервые за весь день открылось на западе солнце, но было это уже остывшее, вечернее солнце, приносящее лишь тишину и успокоение. Бердников встал, затворил окно и остановился, глядя на это скрывающееся за шиферными крышами домов солнце, зябко поглаживая плечи. Красный свет, упавший ему на лицо, тотчас сделал его желчным. – У нас в Белгороде в это время фруктов и помидоров навалом и по дешевке. Да-а... – снова вздохнул он с какою-то убедительною обреченностью.

– До сколько нынче столовая работает? – справился я.

– Хочешь идти?

– А что ты можешь предложить другого?

– Отужинать со мной. Я тут у одной хозяйюшки молока раздобыл.

– Вдовушка?

– Ну, вдовушка, допустим, пошла нынче не та, коров не держит, предпочитает телевизор. Это – во-первых.

– Бердников взглянул на меня исподлобья. – А во-вторых, так пулечка у нас намечается. Так что предлагаю: отужинаем на пару и оставайся четвертым.

Я вежливо и осторожно отказался, сославшись, что мне еще многое по проекту предстоит обдумать до завтра и потому нету у меня сегодня на картишки никакого настроения.

– Что ж, дело хозяйское, – согласился Бердников, не став настаивать на своем предложении.

– Кстати, куда Давидян задевался со своей компанией? – поинтересовался я.

– По бабам ушли, – отчего-то чуть ли даже и не зловеще как-то доложил Бердников.

Я притушил папироску, начав собираться из дому. Ночь высиживать за пулечкой у меня действительно никакого желания не было. А впрочем, я и никогда-то особенно не любил протяжных карточных игр – надоедливо. И нынче всякий раз, когда мне в командировках приходится наблюдать по утрам просидевших накануне за преферансом до глубокой ночи, я всегда не без удовольствия и почему-то

удовольствия припоминаю неизменно, что всерьез расписывал пульку в последний раз чуть ли и не десяток лет назад, на последних курсах института...

В столовой торговали нынче пивом. Я занял в буфете очередь, но сразу ее выстаивать, однако, не стал, резонно решив вначале отужинать. И, надо сказать, очередь моя как раз только и подошла к бочке с пивом, когда я уже поел. Взяв две кружки, я устроился с ними у окна, в углу огромного низкого зала, за двумя пыльными фикусами в побеленных кадках, поставленных непосредственно на пол. Здесь, в этом укромном довольно уголке, не было так шумно и я мог сидеть как бы в стороне от происходящего и вместе с тем сколько душе угодно наблюдать за всем, не привлекая к себе особенно ничьего внимания.

На столе, за которым я с относительным удобством и покоем расположился, стояло три пол-литровых банки, из которых иногда с успехом приспособабливаются пить пиво. В одну из банок с остатками пива уже успели набросать окурков. В лужице же, на стол пролитой, валялись захватанный мазутными пальцами, подмоченный коробок от спичек и колбасная кожура... Ну конечно же! – в одной, в ближайшей ко мне, кадке покоилось под фикусом две бутылки из-под “Московской”. Видимо, незадолго до меня в сем укромнейшем уголке обширного и неуютного зала, в котором потолок подпирали деревянные колонны, заседала довольно теплая компания.

Составив на подоконник опростанные пол-литровые банки, я закурил.

Бросалось в глаза, что собрались в столовой почти одни сплошь мужчины, если не считать работниц на раздаче, на присутствие здесь которых только я, поди, и обратил внимание из дурацкой своей привычки к созерцательности. Еще, правда, среди посетителей находилось четыре представителя женского пола – девушки, какие-нибудь, скорее всего, молодые специалистки” из общежития, в нарядных платьях забежавшие сюда неосмотрительно поужинать перед тем, по всей вероятности, как отправиться на танцы. Оказались здесь еще и две горластые и крикливые бабы, явившиеся за мужьями и на всю столовую так бранившиеся, что даже их мужьям, которые отлично, надо полагать, знали нравы своих верных спутниц жизни и, по всему судя, привыкли еще и не к такому в повседневном обращении, сейчас было неловко и неуютно. Но на баб этих, как на нечто привычное и даже словно бы нечто неременное, внимания тоже не обращали. Так что лишь эти четыре “молодые специалистки” приковывали к себе всеобщий мужской интерес, и заметно было, как торопились они доужинать, стараясь не подавать виду, что явственно слышат все шуточки, их касающиеся....

Большинство посетителей, что легко заключить можно было по одежде, задержалось здесь по дороге домой с работы.

Все, что окружало меня теперь, было мне, в общем-то, не просто давно знакомым или притерпевшимся, а – пусть не покажется это странным и диким – являлось близким, дорогим, родимым. Столь же, честное слово,

родимым, как, допустим, родной дом, в котором протекло твое детство, каким бы бедным для постороннего взгляда дом этот ни был и родимей которого уже не бывает никакого другого дома, родимей которого не становится даже дом собственный, который ты сам уже построил впоследствии. Да, я вырос в столь же укромном, провинциальном городке-поселочке, где так же вот принято приходить в столовую преимущественно затем, чтобы выпить... В общем, был это обычный вечер на исходе рабочего летнего дня в ту пору, когда уже откосились, а убирать с огородов и заниматься соленьями впрок еще время не пришло; обычный, когда в местную столовую привозят пиво, которым иногда торгуют на неделе; обычный вечер из тех, которые заканчиваются нередко тем, что кое-кто вдруг принимается сводить личные счета.

– Свободно, приятель? – справился вдруг у меня высокий парень в сдвинутой довольно лихо на затылок кепке, разведя ветки фикуса и кивнув на придвинутые к столу стулья.

В каждой руке держал он по кружке с пивом.

– Пожалуйста, – ответил я ему не просто сдержанно, а, пожалуй, и с откровенною даже неохотою.

Он присел напротив, спиной к залу, отпил пива и, задымив, устроился поудобнее, закинув ногу на ногу. По-видимому, он лишь недавно вернулся со службы в армии. На нем надета была еще довольно новая солдатская гимнастерка с расстегнутым вольно и отогнутым, как отложной, воротничком. Еще я тотчас отметил, что он, наверное, сейчас шофер или все равно

какой-то механик: рукава гимнастерки закатаны были по локти и от его крепких, давно, с детства конечно, привыкших к разному труду рук с красными короткими пальцами благоухало бензином. Очевидно, отмывался он после работы в бензине, что многие практикуют. Я притворился, что его появление мне совершенно безразлично, но он все равно решил, к сожалению, заговорить со мной:

– Не из Свердловска?

Я молча подтвердил.

– В командировке?

Я снова лишь кивнул и, надеясь, что он из-за моей нелюбезности перестанет все же меня расспрашивать, стал откровенно глядеть в другую сторону.

– Не на фанерный ли, случаем, приехал? – Он, напротив, видимо, не желал оставлять меня в относительном покое.

– На ТЭЦ лесозавода.

– У меня, между прочим, тетка в Свердловске живет, – сообщил он в этот раз, пристально ко мне присматриваясь. – На Карла Маркса. Слыхал там такую улицу?

Я вздохнул с унынием.

– Понятно, – с энергией заключил он зачем-то и, сжав кружку в ладонях, застучал по стеклу пальцами. – Ну а как у вас там с работой?

– Да ведь смотря какая специальность, – отозвался я уклончиво, еще продолжая надеяться, что он по доброй своей воле отстанет вскоре от меня с разговором.

– Шофер. Второй класс, – собрался он, однако, упорствовать.

– Не знаю, – пожал я плечами. – Как всюду, наверное, – была бы только прописка.

– Ну, это для меня не проблема! – махнул он рукой. – Что же конкретного здесь не нравится? – любопытствовал я в свою очередь, догадываясь уже, впрочем, что он станет мне отвечать.

– Ну, нравится не нравится... Как тут сказать... – Нахмурившись, он некоторое время сосредоточенно глядел в кружку. – Ну, во-первых, так чего здесь особого! Кино, танцы... Раз, два и – обчелся! Если б была здесь у нас хоть какая-нибудь крупная стройка нынешней пятилетки, чтоб девок отовсюду понаехало, дак ведь и того нет! Не фонтан, в общем. – И он взглянул мне в глаза довольно сокрушенно. – А я, между прочим, под Москвой служил, так что теперь отвык ото всего этого...

Ну что было отвечать ему на это! Я уже не раз замечал, что у многих, после того как они возвращаются со службы, возникает на первых порах такое чувство, будто их как бы надули в жизни. Происходит же такое, на мой взгляд, во многом оттого, что после армии бить баклуши уже не приходится... приходится уже зарабатывать на хлеб самому и самому думать о завтрашних днях. Разумеется, непривычно это поначалу, но вскоре становится все, однако, на свои места, в особенности как только появляются семья и дети и человек убеждается, что жизнь, пожалуй, не

развлечение, а все-таки, независимо от того, где ты живешь, одно и то же...

Включили внезапно освещение.

Мой сосед замолк, догадавшись, вероятно, что со мной не больно-то наговоришься. Мне же окончательно стало грустно: людей подобного типа, как мой случайный собеседник, которые после разлук “отвыкают” от родного дома и принимаются мечтать о чем-то вроде “Рио-де-Жанейро, где мужчины наяривают в белых штанах”, полно во всяких местах, не говоря, кстати, уже о разного рода центрах-столицах, в которых ленивый и мечтательный человек имеет превосходные возможности довольно быстро и надежно убеждаться в ничтожности собственной заурядной личности и потому в грандиозности потерь, пред фактом коих он оказался, отдавшись в свое время воле поверхностного течения бытия и развлечениям. Тогда-то обычно и начинаются грезы о “мужчинах в белых праздничных штанах”...

Я уже почти допил пиво, как увидел Давидяна.

Появился он безо всякого, неожиданно, обычного своего сопровождения, но не один, а с девушкой, придерживая – за локоток и небрежно перекинув через плечо плащ-“болонью”, бывшую еще редкостью в этих отдаленных от центра местах. Прищурившись, оглядел он зал, отыскивая свободные места. Несколько своим знакомым он сдержанно кивнул, но меня не заметил... Или же не захотел теперь почему-либо замечать! Облачен он был в этот раз уже в вечерний темный костюм и в превосходной белизны рубашку с галстуком.

Туфли его, отменно начищенные, слегка, но живописно обрызганы были свежей грязью.

Давидян приклонился к своей спутнице, сказал ей весело что-то, улыбнулся, и направились они затем через зал к одному из свободных столиков. Я отчего-то вспомнил, как спрашивал у Бердникова, куда все они разбежались, и как энергично доложил мне Бердников, что – “по бабам”.

Бросив плащ на спинку стула и вынув из внутреннего кармана пиджака бутылку портвейна, Давидян свернул на раздачу, оставив свою спутницу во временном одиночестве. Странно, но мне вдруг показалось, что где-то я уже встречал ее раньше. Нет, не просто здесь, в этом крохотном городишке на самом севере области, а еще раньше. А еще мне показалось даже, будто она кивнула мне, словно здороваясь, и что так же вроде бы кивала она мне, когда минувшей весной я встречал ее на улице здесь... с Кузьменко! Да, да с Кузьменко... с этим откровенно мужским созданием, пожалуй. Какой-то неистощимую, природной, биологической энергией неотразимо веяло от его облика. Да-а, что и говорить, огромного роста был он человеком, толстогуб к тому же и рыж от бровей до прямо-таки шерсти, подступавшей у него от груди к самому горлу, под непременно, в любой сезон и любую погоду, распахнутым воротом рубашки. В первую нашу здесь, на монтаже, встречу он поспешил уговориться. – Ты вот что... в группу авторского надзора шли сюда девочек. Симпатичных и веселых! И я тебе торжественно обещаю отсутствие рекламаций.

Может быть, ее, эту девушку, и нельзя было признать очень уж красивою, но было ее лицо исключительно приятным все же, каким-то... доверительным, что ли! Светлые густые волосы обрамляли худенькое ее, но чистое необыкновенно личико. Гладко зачесанные и до плеч прямо распущенные, они поверху перехвачены были сейчас голубой лентой, а небольшая, выпавшая из-под ленты и ровно подрезанная челка закрывала ей лоб. Все в ней, в этой девушке, странно казавшейся мне сейчас даже знакомою по каким-то прежним временам, было как бы чуть-чуть удлиненным, что во многом возможно, лишь представлялось оттого, что вся она была еще стройна и прозрачна как бы совершенно по-девичьи. Темный, ловко сшитый костюм плотно облегал ее тело, и тонкие и изящные кисти рук еще более подчеркивали в ней это качество некоей утонченности, что конечно же она великолепно сознавала, ибо никто и никогда не бывает столь чуток на собственные внешние достоинства, как женщины вообще, а уж молодые, так в особенности. И держаться свободно и с уверенностью она уже умела в совершенстве, и на стуле устроилась так, чтобы наиболее выгодно со стороны выглядеть. И все, кто сидел за ближайшими ко мне столиками и заметил ее, хоть каким-то образом, да прокомментировали со своими соседями ее приход-явление.

– Нравится? – и мой собеседник осведомился у меня, кивнув в ее сторону.

– Ты знаешь ее? – поинтересовался я.

– Встречал. – Обернувшись, он еще раз взглянул на

нее через плечо и усмехнулся: – Больше с вашим братом, с приедем. Я ее, кстати, уже чуть ли и не со всеми тэцэвскими перевстречал...

Давидян меж тем возвратился от раздачи с салатами и стаканами и ловко открыл портвейн. Мне даже показалось, что проделал он все это не без некоторой торопливости, какую замечаешь в своем брате мужику в первую встречу, когда он еще молод, а намерения его слишком однозначны, а оттого и очевидны.

Теперь Давидян говорил не переставая. Подруге однако же плохо его, по-моему, слушала и, рассеянно склонив головку, временами мельком поглядывая вокруг, как бы просто так, но все же каждый раз успевая, поправив при этом легким движением тонких пальцев павшие на плечи волосы, взглянуть в зеркало, которое находилось от них неподалеку. А один раз, она будто бы заметила при этом меня и снова будто бы кивнула мне легонько, приветствуя.

“Да где ж я мог ее раньше видеть?” – все занимало меня.

Ну, что с Кузьменко весною, так это ясно. Очевидно это... И снова вспомнил я Кузьменко, который (именно это я вдруг сейчас припомнил!), как докладывали мне посылаемые мною в командировку сотрудники, перестал тогда вовсе придирается к чертежам (ага, “торжественно обещаю отсутствие рекламаций”!), покладистым стал, и вообще – добрым, потому что закрутил там “эх, такую ли еще любвищу!” и решил потому даже с женою разводиться. “Ну, конечно! – подумал я теперь, все те неофициальные “доклады”

вспомнив. – Потому так скоро, столь “пожарно” и перевели Кузьменко на крупную, с перспективами в продвижении стройку, наверное, и квартиру стоящую сразу обеспечив, чтоб семья не рушилась”.

И... наконец вспомнил я, как мне показалось, где же встречал я ее раньше, эту вот девушку: да ведь дома, в родном поселке, когда изредка наезжал к отцу!

Была она и в наших-то местах из приезжих, да еще чуть ли и не в школе в ту пору училась, то есть была совсем ребенком, когда я ее видел на родине в последний раз. Семья у нее, кажется, была довольно странная, судьбы загадочной словно бы. В общем, мало кто и знал о них что толком. Отец ее переехал к нам в поселок на жительство, отбыв в тюрьме срок, но осужден как будто бы был несправедливо, и его назначили даже управляющим в отделении совхоза. Кроме дочери, детей у него не было, но и у девчонки, как и у него, жизнь не заладилась тоже. Одним если словом, так какая-то ранняя любовь с парнем, ушедшим служить службу, рождение незаконного ребенка, который тотчас умер, ну и потом – типичное бегство из тех краев, где тебя знают, в края, где о твоём прошлом, как думается, никто не догадывается...

Странно мне все же теперь было, что за этой очаровательной, доверительной такой внешностью почти девочки уже может обнаружиться столько изломанной жизни. До того странно, что я снова запутался и снова стали мучить меня всяческие сомнения: да полно, она ли это, из отцовского-то поселка девчонка!! Ведь тогда, весною, она могла кивнуть мне, здороваясь, лишь

оттого, что Кузьменко рассказал ей обо мне, допустим. Ну а нынче мне, возможно, просто и показалось, что заметила она меня здесь, под фикусом и за кружкой пива...

– Эх, дура муха! – сругался вдруг мой сосед. Оказалось, что сверху свалилась к нему в кружку бабочка. Невольно поглядел я вверх: там, под плафоном, кружилось их еще немало. Достав спичку и чуть наклонив кружку, парень осторожно выбросил бабочку на пол. Конечно, от пива жалко было теперь отказываться, так как за новой кружкой пришлось бы вытерпеть новую очередь, да к тому же и бочка кончалась, а другую открывать вряд ли бы стали уже из-за позднего часа.

Я снова поглядел на Давидяна и его спутницу.

– Да-а, чего-чего, а уж этого-то добра у нас здесь навалом! – произнес в этот раз мой сосед, отчего-то прослеживая за моим взглядом. – Обжигаются! Летят на свет, обманываются, что солнышко, а оно не настоящее...

Не без изумления обернулся я к своему соседу, потому что думал в эту минуту: э-э, да сколько же это в отдаленных и укромных наших городишках встречаешь таких-то девчушек, льнущих к приезжим, ко всякого рода командированным, будто в тех местах, откуда эти командированные приезжают, существует иная, а не такая же, в сущности, обыкновенная и прочная жизнь? Но мой собеседник с треском в этот момент раздавил на полу бабочку, только что извлеченную из кружки, и я сообразил наконец: что он и не вкладывал в свои слова

никакого такого тонкого и иного, кроме очевидного, смысла и просто-напросто старался объяснить с добросовестностью факт гибели реального насекомого. Что ж, усмехнулся я невольно, это бывает, что люди действительно способны иногда на восхитительные обобщения, совершенно о том не подозревая... Допив пиво, я поднялся из-за стола.

– Повторим! – предложил мне сосед. Я вежливо отказался и поспешил с непреклонностью распрощаться.

В нашем окне уже горел свет.

Слабый и приглушенный свет, какой образуется, когда лампу, собираясь всю ночь расписывать пулечку, обворачивают газетным колпаком, чтобы остальным, кто решится все же одновременно в этой комнате спать, свет не очень бы мешал. Я постоял под распахнутым окном внизу, пока не услышал незнакомый густой и приятный голос:

– Марьяж, он и в Африке марьяж!

И в тишине решительно хлестанули по столу картишками. Что ж, пулечка состоялась...

Тихою улицей мимо притаившихся вечерних домов, во дворе одного из которых все еще постукивали костяшки домино, я вернулся обратно к городскому саду, располагавшемуся неподалеку от столовой.

У входных ворот мне встретилось несколько молодых парней, несмотря на свежесть уральского вечера бывших в одних рубашках с поднятыми для форсу воротничками, с девичьими косынками на шеях, в смятых под коленками брюках-дудочках. Парни

покуривали, время от времени “сплевывая мастерски и небрежно, и пристально оглядывали всех, проходивших в сад, белозубо переговариваясь меж собою. Они были все одинаково молоды, с блестящими, на пробор приглаженными прическами и казались в надвигающихся сумерках все на одно лицо. То и дело по двое и по трое торопились на танцы девушки, одетые в то, что у них было нарядного. В глубине сада за деревьями, на ярко освещенной прожекторами веранде с полусферой для духового оркестра, толпилось множество молодого народа.

Пройдя в сад, я отыскал свободную скамейку возле самой веранды.

Дорожки в саду обсажены были кустами давно не остригавшихся и потому вольно разросшихся акаций, и кто-то догадался укромно затащить в эти заросли одну из садовых скамеек. Здесь, за акациями, и как бы в совершенном одиночестве, и в то же время имея превосходную возможность для наблюдений за ярко освещенной танцевальной верандой, отгороженной от прочего безбилетного мира, я сидел довольно долго, никем не обнаруживаемый. Без устали трудился духовой оркестр, слышался легкий, как шелест листвы, смех девушек, “и ветви состарившихся тополей сада бывшего лесоинженерного общества, основанного здесь где-то еще в начале века, свешиваясь над круглой верандой, светились под лучами прожекторов нежным желто-зеленым светом, как пух весеннего ивняка.

Странные желания и мысли тревожили меня при этом, и я, как мальчишка, все старался взглядом

отыскать среди танцующих Давидяна и его спутницу. Все это мне до того неловко было испытывать, что я и самому-то себе не сразу и откровенно признался, что прибрел сюда все-таки лишь затем, чтобы еще раз, если повезет, поглядеть на эту девушку, которая, как сказали бы раньше, наверное, сотню какую-нибудь, допустим, лет назад, была столь огромно грешна, но которая тем не менее оставалась внешне такою чистою, что ее так хотелось увидеть еще раз и уже в этом своем желании одним отыскивать сладкое и неподвластное выраженью словом... как музыка, что ли, наслаждение! Наконец увидел я их, Давидяна и его девушку, затем старался уже не упускать из виду, пока их возможно было различать среди танцующей публики. Они то появлялись возле самой ограды, то скрывались в шевелившейся мак бы отдельно от музыки – когда всяк старается танцевать на свой лад, – потной и жаркой толпе.

Я уже собрался было уходить, как музыка тревожно, на полуфразе оборвалась, а толпа на веранде пришла в непонятное мне возбуждение. Послышались крики, женский визг и топот множества ног по деревянному настилу веранды. Трое парней в белых рубашках у меня на глазах перепрыгнули через решетку ограды и мгновенно скрылись в глубине сада за деревьями. Никто за ними не гнался. Я невольно сообразил, что там, на веранде, произошло сейчас, наверное, что-то так или иначе, а касающееся мгновенно всех, и не из одного только любопытства, но и в тревоге почему-то уже поспешил туда: узнать, что же случилось?

Навстречу мне люди выходили с веранды со странными, неподвижными какими-то и белыми лицами. Некоторых девчонок под руки выводили, а кое-кого почти и выносили в полубморочном состоянии.

– Да что... что там случилось? – с беспокойством несколько раз спросил я у выходивших, прежде чем объяснили мне наконец, что только что “зарезали какого-то командировочного”.

И я изо всех сил заработал локтями, протискиваясь на веранду против встречного движения людей.

Небольшая, но плотная, никуда не собирающаяся пока расходиться группа тесным полукругом обступала возле решетки место несчастья. Я с трудом протиснулся далее сквозь задние ряды, пока не уткнулся в решительное и живое ограждение, выстроившееся по внутренней линии любопытных. В центре свободного пространства я увидел Давидяна...

Неестественно в стороны раскинуты были его ноги, а сам он как бы полусидел на лавке, уронив на грудь голову. Руки его, высовываясь из-под белых манжет рубашки, жутко свисали ниже сиденья скамейки, не доставая до земли, но, главное, уже как бы совсем и никогда не собираясь двигаться. Не знаю, отчего почувствовал я это сразу, что – никогда... Подол рубашки был кем-то вытащен из брюк – очевидно, рану уже осматривали, и на груди Давидяна все еще расплывалось свежее, вызывавшее у меня тошноту и почему-то холод в паху и коленках, алое пятно, от которого веяло чем-то неотвратимым, хотя кровь,

видимо, уже не шла сейчас так сильно, наверное, ее больше впитывала теперь одежда. Несколько круглых, как камешки какие, свернувшихся в пыли капелек заметил я зачем-то на грязном настиле веранды подле самой скамейки, на которой находился теперь Давидян.

Рядом с ним сидела его девушка. Она обхватывала Давидяна поперек груди ниже плеч, время от времени трясла его, заглядывала в лицо ему и сдувала упавшие ему на лоб, такие вдруг как бы совершенно преобразившиеся, мертвые волосы, никак не решаясь отпустить своего несчастного друга и поправить ему эти волосы своей рукой, словно боялась, что, если она перестанет держать так поперек груди, может случиться тотчас нечто еще более худшее.

– Арно... Арно! – то и дело звала она тихо. – Слышишь меня, Арно?

В первый момент меня особенно поразило то, что она совсем не была жалка и не билась в истерике, как повело бы себя, наверное, большинство женщин на ее месте, и что с редким упорством и даже мужеством, как показалось или же представилось мне, пыталась помочь своему другу, хотя и совершенно не знала и – видно это было – не умела, как это сделать.

– Пустите меня к ней! – потребовал я, наткнувшись на руки живого ограждения.

– Нельзя сюда, товарищ... Нельзя! – ответили, даже не взглянув на меня, и я почувствовал, как чьи-то руки передо мной стали еще решительнее, преграждая мне дорогу.

– Расходитесь, товарищи! Прошу... – Вероятно,

руководитель оркестра метался за спинами людей. – Танцы отменяются! Прошу, расходитесь...

Никто его, конечно, не слушал, хотя и танцы, разумеется, продолжать никто не собирался.

– Это мой товарищ! – снова потребовал я дороги. – Пропустите меня к нему!

Вот уж на этот-то раз только на меня поглядели и, видимо, не столько мне поверив, сколько определенно не признав за здешнего, пропустили в круг.

– Отойдите! – однако решительно воспротивилась девушка, едва я попытался взять ее за руки, чтобы освободить Давидяну грудь.

Ничего ей не говоря, оттого что, как я догадался, она вряд ли бы поняла меня верно (мои намерения то есть), я вновь попробовал освободить Давидяна.

– Оставьте нас! – снова прогнала она меня. – Разве вы не понимаете, что делаете ему больно?

“Да уж не тронулась ли она!” – почему-то отметил я с раздражением, еще подумав при этом, что нет, все-таки не из нашего она поселка, если так явно не признает меня теперь вблизи, что все ее прошлое я конечно же лишь вообразил себе, приняв ее за другую, и что мне просто всегда казалось, что она со мной здорова. Мне тотчас почему-то легче стало от такого предположения, что она незнакома мне по прошлому, в сущности, и я более уверенно попробовал теперь разнять ее руки. Но тотчас и понял, что все же невозможно будет, по-видимому, сделать это, не причинив ей физической боли. Все притихли вокруг, и я почувствовал, как все стали на меня глядеть: все-таки

действовал я с непонятно для других откуда взявшейся настойчивостью, и люди тотчас принялись меня подбадривать. И голоса уже позади послышались:

- Действительно, – надо освободить его от нее!
- Так вовсе она придушит...
- Если уже не придушила!
- Не дам его! – затвердила она, почуяв эту решимость.
- Слышите, девушка! – сказал я ей мягко, приклоняясь и ласково дотрагиваясь до плеча. – Немедленно отпустите... Вы же больше причиняете ему вреда!

– Что вы хотите с ним сделать? – спросила она вдруг и, как мне почудилось, даже с заинтересованностью.

Но еще мне показалось, что она узнала меня, что я ошибся только что в своих предположениях, и она – нет, она все же именно та наша поселковая девчонка, волею судьбы заброшенная в этот городишко на самый север области.

– Мы все хотим сделать то, что возможно пока и необходимо, – строго пояснил я. – Попробуем положить его, может быть, ему станет легче, – соврал я для большей убедительности, хотя и чувствовал, что все уже, наверное, бесполезно. И нахмурился, чтобы она не видела моих глаз.

– Положить... на пол! – переспросила она растерянно.

– Но здесь грязно...

– Да ему, кажись, уже все одно! – не замедлил кто-то откликнуться на это из другой толпы, организовавшейся у оградительной решетки веранды с внешней стороны.

– Что там сказали? – вдруг осведомилась она даже очень живо и при этом пристально в меня вглядываясь.

– Что надо положить его, – объяснил я. – Поверьте, так ему должно стать легче.

Внезапно она глубоко и устало вздохнула и отпустила наконец Давидяна.

– Вы все теперь... просто обманываете меня... Он давно уже не дышит. Я же понимаю это! Вот только хочу другого... вот и все! – сказала она очень горько и затем даже словно бы с равнодушием пересела рядом.

Я едва успел подхватить Давидяна, чтобы он не упал безо всякой поддержки.

А девушка стащила с волос своих голубую ленту и уткнулась в коленки лицом, обхватив голову коричневыми от пятен засохшей крови, такими тонкими и изящными, сверх меры можно сказать (во всяком случае, для того, чтобы быть в крови перепачканными), пальцами.

Я приподнял осторожно Давидяна. Кто-то еще из “волонтеров” помог мне, и мы устроили Давидяна на полу, уложив на спину. Затем, спохватясь, я скинул пиджак, и мы еще и его подложили под тело. Ток крови, уже было прекратившийся, возник ненадолго снова, но Давидян и верно не дышал уже, и ничем не подгоняемая кровь немного и вяло потекла лишь оттого просто, что мы изменили положение тела своего товарища. Да, все наши старания наверняка были уже бесполезными. Однако я разорвал Давидяну на груди рубашку, ослабил галстук, который почему-то никто не догадался раньше ослабить, и все мы тогда увидели до странного

небольшую и темную ранку, отчего-то казавшуюся все же непоправимо глубокой.

– Шилом! – с идиотской любознательностью предположил позади кто-то.

В ожидании приезда “скорой помощи” я еще пытался кое-что сделать, чтобы оставить в девушке Давидяна (или оживить в ней!) хоть какую-нибудь надежду, с тела ее друга вытирая кровь, прикрывая время от времени рану платком, но девушка вовсе не следила за всеми этими моими бесполезными действиями, которые должны были, как я надеялся, пробудить в ней хоть какие-то иллюзии, и все это время сидела, лицом уткнувшись в коленки, обхватывая растрепанную голову перемаранными в крови пальцами, в которых застряла ее нарядная голубая лента... Между прочим, что меня почему-то в особенности раздражало, так именно эта вот ее лента.

И еще я все время продолжал тупо думать: да она или не она это все же, из нашего ли поселка девчонка!

Здесь, внутри полукруга, в котором лежал Давидян с таким мертвым, сухим и бескровным лицом, что его черные пушистые ресницы казались теперь искусственными, как у куклы, никто не говорил почти. Но за оградой веранды жизнь снова входила уже в свою колею, и слышались там голоса и девичий смех даже. Жизнь, на мгновение оборвавшаяся здесь, в этом укромном уголке танцевальной веранды, где свершилось преступление, вновь смыкалась над нами всеми, как смыкается и затихает постепенно вода,

расходясь далеко кругами, после внезапно брошенного в нее камня.

Я достал папиросу.

Несколько человек тотчас протянули мне спички. Из уважения к моей “решительности” в поступках, надо полагать... Уж так я подумал. И с досадою усмехнулся я легонько тому, что они невольно приняли меня за опытного в трудных делах человека. А ведь никакого “трудного” опыта, то есть опыта поведения в скольконибудь подобных ситуациях, у меня, разумеется, не было. Хотя... И из “тщеславия”, что ли, что маломальский “трудный” такой опыт у меня все же есть, я припомнил вдруг, что нечто подобное мне все же пусть однажды, да уже приходилось наблюдать в детстве. Еще когда отец работал после войны клубным директором, в руководителях оркестра у него был какой-то приبلудившийся к нашему поселку трубач-подросток по прозвищу Музыка... В то далекое теперь мартовское утро сорок восьмого года забежал я к Мироновым, чтобы вместе с Володькой идти в школу, но возле подъезда у их дома встретила меня толпа, через которую не было никакой возможности продрасться.

Володька заметил меня в окошко и замахал рукой, чтобы я зашел с другой стороны дома, и здесь через форточку я пролез к Мироновым на кухню. Я догадался, что Володькиной матери в квартире, видимо, нету, иначе бы “фокус” с форточкой не получился. Я спросил у него, где мать, и он ответил мне, что она действительно сейчас находится в подъезде, так как у них там такое ли: в общем, замерз, дескать, наш

клубный Музыка насмерть, и мать вышла, чтоб кто случайно не вошел в квартиру, так как в другой комнате сидит “мамкин хахаль”.

– Как тебе не стыдно, это же дядя Паша! И мама говорит, что он на ней женится! – обиделась Володькина сестра. Но Володька отвесил ей подзатыльник, и она затихла.

– Пусть попробуют пожениться! – сказал Володька. Володька безумно любил отца, который совсем недавно умер после всех военных своих ранений, и темно ненавидел ставшего приходить к матери еще довоенного отца товарища Павла Артемьевича, у которого своя была семья на другом краю поселка.

С Володькой мы прошмыгнули в коридор подъезда как раз в тот момент, когда появился в сопровождении милиционера огромного роста, которого все звали по прозвищу – Кудри, поселковый уполномоченный лейтенант Шерстинский, немолодой уже мужчина с брюшком и пустой револьверной кобурой на боку черного, без погон полушубка, опоясанного офицерскими, однако, ремнями.

– Разрешите, граждане, разрешите! – строго приказывал на ходу громадный Кудри, расчищая проход лейтенанту и потрясая при этом своим богатым медным чубом, выпущенным из-под милицейской фуражки, которую он по-лихому таскал и зимой и летом.

И вот в углу подъезда увидел я сидящего неподвижно Музыку, нашего клубного музыканта. Ноги его были полузанесены снегом ночной метели.

Лейтенант тут же из толпы назначил активистов,

приказал, чтобы Кудри расставил их в оцепление, и, сдвинув на затылок кубанку, раскрыл полевую сумку и извлек из нее блокнот и карандаш.

Я отвернулся, стараясь на мертвого Музыку не глядеть.

“Вот и весь твой, пожалуй, – не глядеть! – “трудный”-то опыт поведения в подобных обстоятельствах!” – судорожно усмехнулся я воспоминанию...

Врач “скорой помощи” и милиционеры, приехавшие отдельно на мотоцикле, но почти одновременно с санитарной машиной, положили Давидяна на носилки и втащили в машину. Милиция отобрала свидетелей, оставив, однако, в покое девушку, которая наотрез отказалась и идти сейчас в милицию, и домой возвращаться на их служебном мотоцикле. Милиция попробовала настаивать на своем, но врач сказал сержантам, что “это шок”, он пройдет, девушка же до завтра никуда не денется, а, наоборот, успокоится. Потому сержанты и поручили мне довести девушку домой, а сами уехали.

Девушка все продолжала сидеть, запрятав лицо в ладошки, я отчего-то никак не решался тревожить ее. Несколько раз ее пробовали было уговорить уйти домой какие-то подружки, совсем на вид еще школьницы, но она даже зло прогоняла их всякий раз.

Оркестр давно покинул площадку.

Люди разошлись. Наконец и прожектора погасли.

– Идемте же! – предложил я, когда остались мы на веранде совсем одни и только светлые платья и рубашки то и дело мелькали уже за кустами и деревьями на

дорожках сада. – Ничего теперь не изменишь... – повторил я. – Идемте! Я провожу вас...

Но и в этот раз она долго молчала.

Мне стало уже несколько не по себе, что ли, выслушивать это ее молчание, как вдруг, ничего не объясняя, она поднялась сама и, обхватив плечики, не выпуская из вымазанных кровью пальцев нарядной голубой ленты, направилась с веранды, как бы уже не обращая на меня никакого внимания. Но когда вышли мы за ограду сада и я успел пройти за нею всего каких-нибудь десятка два шагов вперед, она обернулась:

– Меня не надо провожать. Они теперь и вас смогут резать. Им все равно уже. Слышите! Со мной нельзя здесь ходить...

– Я ничего не боюсь, – солгал я.

– Мне с вами страшно, поймите! Они, честное слово, могут...

– А вы одна... разве вы не боитесь?

– Меня никто здесь не тронет. – И она пошла быстро, но через несколько шагов остановилась. Я все ждал почему-то, оставаясь на месте, еще каких-нибудь ее слов. Но она тоже стояла некоторое время не оборачиваясь. И вдруг всполошенно оглянулась. Может быть, ей показалось, что я ушел, потому что она сразу будто бы успокоилась, меня заметив: – Скажите, ведь вы Воропаев! Я не ошиблась!

– Да, не ошиблись, – отозвался я с поспешностью и радуясь почему-то, что и я в свою очередь не ошибся, что она и верно оказалась той самой девчонкой из нашего поселка.

– Возможно, вы меня вспомните... Я Трофимова. Лика... Прошу вас, ничего не рассказывайте папе. Вы же знаете его? Хорошо? – попросила она теперь неожиданно. – Ему горько будет, а он у меня очень добрый...

– Конечно, конечно! – пообещал я с готовностью.

– Я сама все ему напишу. А сейчас – прощайте!

Еще некоторое время смотрел я ей вслед, прислушиваясь к звуку ее шагов.

“В конце концов разве поможет ей теперь все, это мое участие?” – возвращаясь к себе, решил я из самооправдания, что не пошел охранять следом. Но все же я остановился и прислушался, одновременно липко стыдясь неодолимого животного страха, который охватывал меня... которым, казалось, так и веяло оттуда, из той темной дали улицы, в какую она уходила. Я обождал, пока совсем не затихнут ее шаги по деревянному настилу тротуара, и лишь тогда заспешил домой...

Издали, еще на подходе, заметил я, что в окнах нет света. Наружная дверь квартиры оказалась полуотворенной, и в передней комнате, в которой собирались расписывать пулечку, я никого уже не застал, лишь на столе в спешном беспорядке разбросаны были карты и все еще крепко было накурено. Вероятнее всего, с известием о несчастье все убежали выяснять обстоятельства.

Пройдя к себе, я удивился: Бердников был дома. В одних трусах пластался он на койке поверх одеяла.

– Сейчас... только что, в сущности, в саду зарезали

Давидяна, – словно оправдываясь, что поздно вернулся, сказал я, принявшись раздеваться.

– Знаю, – усмехнулся Бердников.

– Что же ты здесь сидишь! – Знаешь, покойников я на войне нагладелся, – отозвался он на это.

Еще долго я валялся без сна, по вспышкам сигареты отсчитывая, как часто Бердников затягивался. Мы слышали, как вернулись товарищи Давидяна, но никто из них заглядывать к нам не стал. Молча и долго ворочались они в своих постелях, тоже, естественно, не в силах скоро уснуть после случившегося.

Вдруг Бердников встал и, подойдя к окну, выбросил на улицу очередной окуроч.

– Жутко, – вымолвил он затем, глядя в темноту ночи.

– Уж, кажется, на столько смертей нагладелся, не говоря о тех, про которые слышан да начитан. А вот – был человек, и – нету... Всегда, однако, это жутко. Да ведь и какой, кстати, парень! До ста бы лет ему жить...

– Что ж, о мертвых принято говорить только хорошее, – подтвердил и я. – Но вот о нем действительно ничего плохого лично я сказать не берусь.

– Эх, не в том речь! – усмехнулся Бердников. – Ведь любил он ее! Вот все в чем. Хотя и притворялся, что просто гуляет. А ведь его уже давно страшали, что зарежут. Думал, это как у них там, на Кавказе, попугивают... А вот у нас не Кавказ, у нас Россия. Здесь зря не страшают... Сначала ведь, между прочим, и Кузьменку попугивали даже. Потом уж вот Арно. Когда к нему девушка перешла. Предупреждали. Но он все с ней продолжал... Значит, не шутили. Я же все его отго-

варивал. На свой лад, конечно. Вот нынче хотя бы! Не слыхал, как мы спорили?

Я промолчал.

– Не прислушался он. Не захотел ко мне прислушиваться. Да, впрочем, и не в этом дело... может быть, и не женился бы он на ней никогда, а все-таки любил. Или что-то в этом роде, по-современному. – Бердников помолчал. Закурив, добавил: – Жутко, однако! Но с другой стороны, если вдуматься, так ведь и прекрасно... потому что – любовь! Хоть и кровь здесь, но все-таки... прекрасно. Пусть и задним как бы числом понимаешь, но все равно прекрасно!.. В общем-то, мы ведь и всегда больше как бы задним умом-разумом живем...

Я ничего не стал ему отвечать на это,

Не без некоторой неприязни наблюдал я утром за Коротковым, угадывая в нем собственные рационализм, сухость, логичность. Я следил, как он занавешивает шторами окно от яркого солнца, которое – эх, какая это все же редкость в наших северных краях! – оказалось нынче с утра; как он спокоен, весел, приятен; как наказывает секретарше, чтобы ни с кем она не соединяла нас и никого к нам в кабинет по возможности не впускала, пока мы заняты. И, когда мы присели к столу, я спросил Короткова отчего-то совсем не по делу, а с вызывающей даже, наверное, усмешкой: да знает ли он, что вчера в саду убили Давидяна!

– Знаю, – не сразу подтвердил Коротков и, сняв очки, стал протирать стекла. Его огромные коричневые, утомленные бессонницей веки были печальны. –

Должен сказать тебе, кстати, – еще добавил он, – что девушка, из-за которой-то все, ночью приняла снотворное. – Тут он помолчал, на меня не глядя. – Вот ведь и другая незадача: их бы и хоронить вместе, но и после смерти у них все как-то нескладно. Девчонку здесь через комсомол схороним, она по путевке к нам приехала, а Давидяна родители забирают. Звонили уже... – И лишь после этого сообщения Коротков взглянул на меня грустно, и мне тотчас стыдно стало своей толькошней к нему неприязни, отчего я невольно подумал о том, что Коротков и про вчерашнее, да и про жизнь вообще, знает неизмеримо больше, чем я. И еще я, тоже невольно, подумал о том (да ведь и нынче, признаться, продолжаю так думать временами), что мне никак нельзя было оставлять девушку в одиночестве, едва покинули мы танцевальную веранду, что надо было...

Через три дня, на следующий день после похорон девушки, я уезжал. На похоронах же лицом к лицу я встретился с матерью и с отцом ее и воочию, так сказать, убедился, что она из нашего поселка. И мать и отец ее показались мне поразительно похожими друг на друга: оба полуседые, с сухими, морщинистыми лицами, уже навсегда обожженными вечным крестьянским солнцем; с одинаковыми серыми глазами, уставшими, как мне представилось, от всех тех невзгод и несчастий, какие им довелось в жизни увидеть и вытерпеть. Я все хотел подойти к ним, все же мы были как-никак, а земляки, но долго не мог решиться на это.

Лишь у столовой, где намечалось справить поминки, я осмелился заговорить с ними. Сначала представился на всякий случай, кто я есть, но отец девушки, оказывается, еще раньше узнал меня.

– Помню вас, встречал, – прямо и вопросительно он взглянул мне в глаза: что, мол, мне от него нужно сейчас!

– Я бестолково рассказал о своем последнем разговоре с его дочерью – о первом и последнем, единственном. И он и его жена, оба с задубевшими на воздухе с ветром коричневыми, каменными лицами, выслушали мою бестолковщину не мигая, в упор на меня глядя своими одинаковыми серыми и... в общем, если на кладбище я воображал, будто глаза их – само многотерпение, то в тот миг я понял, что из обыкновенного мужества и вежливости они еще могут позволить себе меня выслушать, а мне – высказаться, но что горе их безутешно. И я скомкал совершенно весь свой рассказ, только что еще представлявшийся мне самому крайне нужным и предельно искренним.

– Вот мы с матерью, – сказал отец Лики после небольшого молчания, когда я смолк. – Мы от рождения, можно сказать, привыкли как бы голый реализм вещей исповедывать... Только я вам скажу, что, может, ничего труднее... ну, непосильнее в жизни другого и нету! – Но вот он взял, видимо, себя полностью в руки и вдруг спросил: – Вы когда уезжаете!

– Завтра. Наверное... – пробормотал я. – А мы сегодня, – вздохнул он зачем-то. – А потом все будем наезжать сюда...

Я заметил, что мать уже еле слезы сдерживает, и поспешил тихо и незаметно их покинуть.

Преступника не то чтобы разыскали, а он явился с повинной сам. Меня, как и всех наших, приглашали к следователю. Но что мы все могли еще добавить к тому, что уже знала милиция, располагавшая убийцей?

Когда ввели его в комнату, где меня принимал следователь, чтобы показать его мне – а не один ли это из тех троих, что перемахнули у меня на глазах через ограду танцевальной веранды, – мне трудно было подтвердить это с уверенностью. Убийца был теперь острижен, да и тогда из-за темноты я не разглядел ничьих лиц. Откуда я мог тогда предполагать, что это в дальнейшем может оказаться столь важным? Я попросил разрешения задать один вопрос, и мне позволили.

– Почему вы это сделали? – спросил я остриженного мальчишку.

– Были, значит, причины, – угрюмо и не сразу ответил он, глядя на решетку окна и на пол стряхивая с сигареты пепел.

– Вам известно, что девушка покончила с собой? – еще спросил я.

Он нахмурился. И некоторое время молчал. А следователь скрытно подал мне знак неудовольствия, что я заговорил об этом.

– Известно, – подтвердил все же мальчишка и снова уставился в окно какими-то в этот раз влажными, больными глазами, в которых почудилось мне даже присутствие непроходимой тоски и, черт его знает,

возможно, что и истинной, безысходной горечи о содеянном.

Его увели.

Протянув для прощания руку, следователь сказал, что я свободен.

– Какое наказание его ожидает? – поинтересовался я. – Это от того зависит, как обернется дело, – пояснил следователь. – Если докажется, что здесь все из-за ревности, то, возможно, только и десять лет срока.

Я тотчас вспомнил, как пассажиры в автобусе, когда я утром ехал на завод, спорили: нашли бы или не нашли убийцу, если бы такое случилось на безлюдной улице! Парень, с которым мне выпало давеча в столовой пить за одним столиком пиво и который, по несчастью, оказался в автобусе рядом со мной, не сдержался и, подмигнув мне, как, стало быть, старому знакомому, заявил громко: “У нас у всех здесь алиби на пять дней вперед!” Его убежденно поддержали окружающие. Вот об этом вспомнив сейчас, в кабинете следователя, я с полной уверенностью сообразил, что, скорее всего, ревность будет доказана, что она все равно была бы доказана, даже если бы... В этот миг я снова вспомнил стариков Ликиных с одинаковыми крестьянскими лицами, серые и незащитные от горя глаза их, и сказал не без раздражения, скрыть которое уже не мог никак:

– Я понимаю, что чувства – дело, допустим, тонкое. Но все равно... пожалуй, я все-таки этого мальчишку... Ведь целых две загубленных жизни! И, может быть, не только две...

– Послушайте, я тоже вас понимаю! – нахмурился

было следователь, но сдержался. – Посудите сами, это ведь тоже не в наших интересах – позволять людям резать друг друга из-за такой хотя бы штуки, как любовь. Но ведь истина есть истина! И она всего дороже... Пока что мы не можем уверенно и точно сказать, из-за чего все. А нужна нам, уверяю вас, только истина! – заключил он энергично. Однако, точно бы запнувшись вдруг, добавил, как бы больше самого себя убеждая в давнем и постоянном споре с самим собой: – Но только никак не эмоции!

Я вышел от него, с бессмысленностью продолжая думать о том, что мне никак нельзя было оставлять девушку в одиночестве, что нужно мне было...

В день отъезда еще с утра рассчитался я за койку в общежитии и до вечера проторчал на заводе, занятый делом. С глубоким удовлетворением от проделанных со сметами манипуляций я расстался на привокзальной площади с Коротковым, подбросившим меня к поезду на своей машине.

“А ведь славно и ловко, черт возьми, оба мы нынче сработали!” – все думал я и по дороге к вагону и пока устраивался в купе. Пусть утомленный порядком, да все же и гордый собою, как и подобает, вероятно, человеку, которому удалось обойти бюрократические рогатки, каких в проектных делах, признаться, немало, я вышел покурить в коридор. И вдруг... вдруг вспомнил тогда снова два коричневых крестьянских лица с серыми, выгоревшими на постоянном солнце глазами, два таких поразительно одинаковых лица, так поразительно и похожих и непохожих на прекрасное по-

неземному лицу их погибшей дочери... и всякие инженерные, тщеславные мысли мои оборвались, – все такие всегда логичные и убедительные инженерные мысли, и я здесь, у окна вагона, находясь среди незнакомых и чужих мне людей, почувствовал, как застилает взгляд.

И поспешил выйти в тамбур.

Мимо проплыл перрон, как всегда полный народу, который собирается здесь, чтобы встречать и провожать поезда.

Я глядел на деревянный городишко, спрятавшийся в тополях, березах и соснах, в единственных деревьях, которые здесь и выживают только, на этой скупой земле, в нашем умеренно-жестокоем климате, и теперь никак уже не мог отделаться от невольных размышлений по поводу событий, приключившихся в последние дни у меня на глазах...

Впрочем, всегда ведь так: когда возвращаешься из таких вот командировок, то невольно задумываешься о ней, о провинции, о родимой своей провинции, в которой вырос, которая всегда была, есть и будет всегда которая, и в чем нет, на мой взгляд, совершенно ничего дурного. Почему-то всегда в такие вот именно мгновения возвращений особенно начинаешь как бы постигать и самого себя с не меньшими жестокостью и откровенностью, чем совсем недавно (да ведь хотя бы в начале и этой Командировки!) брался с какою судить других людей, стремясь непременно отнести их к тому или иному человеческому типу.

Лично я живу уже давно в огромном городе и служу

во вполне приличной проектной конторе “первой категории”. Живу, как принято считать, вполне нормально и современно. Иначе говоря, задерживаюсь на работе “по производственным причинам” в будние дни, а по субботам с воскресеньями “отдыхаю”, встречаясь с гостями или же в электричке выезжая “на природу”. Темпы и ритмы этой размеренной на мгновения жизни постепенно и мне стали привычны. Миллионный город обратился и для меня в жизненно необходимую среду, как для птицы небо, как вода для рыбы, как для червя почва. И тем не менее всякий раз, как только я приезжаю в командировки в такие вот крохотные наши городишки, доставшиеся нам в наследство еще от до-революционного, подчас исключительно руднично-приискового, мелкозаводского, купеческого и лесозаготовительского прошлого, – я чувствую, что только здесь все же я будто бы по-настоящему соприкасаюсь с живой человеческой действительностью.

Возможно, происходит это оттого, что в таких городишках все как-то видней и, несмотря на то что здесь у всех “алиби “а пять дней вперед”, здесь и виднее-то каждый.... Множество их еще существует, таких-то городишек, хотя, прямо скажем, и исчезло уже порядочно. Но даже самые малоприметные из них и самые ничтожные по масштабам строящихся и имеющих в них предприятий никогда не представляются мне захолустьями, а наоборот даже, и исключительно из-за этого-то “все видней”, воспринимаются мною на общем фоне рассчитанного и выверенного современного городского бытия теми

очагами в повседневности, в которых многое из первородного и истинно человеческого вырывается наружу, как, допустим, в отдельных точках земной коры от чрезмерного внутреннего напряжения исторгается время от времени кипящее существо планеты. Мне кажется порою, что чаще, чем где-либо в иных местах, в таких городишках выплескивается в современность и чистая любовь, убивать которую не позволено никому – ни человеку, ни обстоятельством, им закону. Впрочем, с обстоятельствами и законами она обычно справляется самостоятельно...

Поезд уже давно проехал городок и давно уже въехал в тайгу, а я все рассеянно стоял у окна.

Притупленный размеренностью жизни современного города, оглушенный многообразием мимолетных встреч, ослепленный безудержным мельтешением вещей, лиц, судеб, я, из расчетливого, как принято считать, благоразумия, ограничивший свою заботу об окружающих весьма, узким кругом людей, составивших мою семью, – я бесконечно благодарен провинции за эту ее способность всякий раз укреплять слабнущее время от времени в твоей душе убеждение, что, какими бы грубыми и поверхностными, спрятавшись при этом за внешней примитивизм провинциальной жизни, ни выставляли бы сами себя люди, в них всегда столь сильно заложенное так счастливо природой светлое, мужественное и прекрасное начало, более чем в чем-либо другом, наверное, проявляющееся все-таки в верности любви друг к другу.

Отца с матерью.
Мужчины и женщины.
Человека к человеку.

1962–1977 гг.

Владимир Дагуров

МИНУТКА

И звали-то ее Минуткой, а помню ее всю жизнь. Если она появлялась в лаборатории, ее, действительно, ни на минутку не оставляли без внимания: маленькая, лохматенькая, с зачесом на глаза – наверное, помесь дворняжки с болонкой – она была до того забавна, что от нее глаз невозможно было отвести. Очень ей шло прозвище – и даже не из-за ее малости, а из-за ежеминутной готовности на шалости. Каждое мгновение она выкидывала такое, чего никто ожидать не мог. Веселая и непоседливая собачка меньше всего годилась для серьезных физиологических опытов, но именно она дольше всех участвовала в них.

Окна от пола до потолка заливало солнечным сиянием, и кафельные стены нашей лаборатории дробили этот золотой сентябрьский свет. Заведующая Елена Николаевна, спокойная полноватая блондинка, медленно подняв веки и обратив на меня нестерпимо синие глаза, произнесла певучим голосом:

– Сходите, пожалуйста, за моей любимицей.

Сходить – означало – в виварий, где содержались собаки, и о том легко лишь сказать. Мне, единственному мужчине в коллективе, эта обязанность перепала сра-

зу, как только я появился в лаборатории. Задание требовало настоящего мужества.

В подвале размещалась огромная клетка, запертая на висячий замок, а в ней бесновались в лае три десятка собак, недавно отловленных на улицах и еще на забывших обидчиков. Где-то в дальнем углу среди них затерялась Минутка, спокойно спящая среди гавкающего бедлама.

Забрать собаку из клетки – целое искусство. Как только звякнула входная дверь, они, еще не видя меня, поднимают бешеный лай. Я иду по коридору, а лай все нарастает. А уж когда заметят меня, собаки, скаля клыки и брызгая слюной, бросаются на решетку, норовя просунуть голову сквозь прутья. Я подхожу к металлической двери, открываю замок, лязгаю стальной щеколдой и, едва приоткрыв дверь, проскальзываю внутрь. Зубастые, перекошенные злобой морды собак в едином неистовом порыве преследуют меня. И тут главное – не знать страха, как ни в чем не бывало деловито пройти сквозь грозно лающий строй именно к той собаке, которая нужна, и, уверенно схватив ее за ошейник, поволочь к выходу. Зрелище жуткое: лают все, заводя друг друга в бешенстве, красные пасти оскалены, они тычутся мордами в бедро, в грудь – и кажется миг – и вся свора разорвет меня на части, стоит лишь кому-либо начать. Но так будет, если я струшу, если дрогну и закричу от ужаса. Надо прогнать страх, не допустить его в себя, действовать наверняка. Даже если я буду скрывать страх, собаки учуют его и тогда несдобровать. Но что

удивительно: если человек их не боится и держится естественно, не замахивается и не бьет их, а входит в их круг как хозяин – никто не бросится на него. Облают с ног до головы, но первыми кровь не прольют. Таков вековой дремучий инстинкт, а может быть тончайший рефлекс, загадочных существ, верных наших попутчиков в житейском хаосе.

Пробираясь к Минутке, я знал – она не принимала участия в этом ореве. Минутка жила здесь уже два года и ко всему привыкла: и к кровавым разборкам среди вожakov, и к голоду в выходные дни, и к бестолковому лаю новичков. Она знала, что, попав сюда, любой из них будет жить по здешним законам, а потому о воле лучше не вспоминать, гораздо умнее приглядываться к незнакомым людям и слушаться их. Свернувшись калачиком, она спала себе, и снились ей, наверное, наша лаборатория, где ее и покормят домашними харчами, и поласкают нежные руки женщин, и погреют тело ее в теплой ванне. Она должно быть понимала, что нужна зачем-то людям, и потому они так внимательны к ней и заботливы.

Стоило Минутке появиться на пороге лаборатории, как все бросились к ней и наперебой стали ласкать. От души улыбалась обычно сдержанная Елена Николаевна, а уж ее верная помощница и ровесница Александра Ивановна, старшая лаборантка, – та и вовсе расцвела и положила в собачью миску кусок мяса с косточкой.

– Ешь, Минутка, ешь, маленькая... Там тебе, наверное, ничего не перепадает. Вон какие собаки

большушие и злые там – того гляди и тебя разорвут. Ешь, родимая, а то тетя – она выразительно поглядела на аспирантку Валерию – ждет не дождется, когда начнет мучать тебя, беззащитную и слабую.

Молоденькая аспирантка с насмешливой полуулыбкой сидела за соседним столом в расстегнутом белом халате, закинув ногу на ногу, и читала очередную монографию – Валерия работала над диссертацией и постоянно что-то выписывала на карточки.

Неожиданно в комнату вошел директор института профессор Сергей Борисович и, увидев ее, строго сказал:

– Если уж у вас, милочка, такое пристрастие к мини-юбкам, то по крайней мере застегивайте халат. Вольность нравов и наука – несовместимы!

И тут Минутка вырвалась из рук Александры Ивановны и с громким лаем кинулась на профессора. Тот от неожиданности аж отпрянул к выходу:

– Черт-те что у вас творится! Даже собаки распоясались! – он ушел, хлопнув дверью.

В комнате воцарилась тишина, пока на лестнице не смолкли его шаги, а потом все мы разразились гомерическим хохотом – и героем, конечно, выглядела Минутка.

– Теперь он к нам не скоро заглянет, – мечтательно пропела Валерия, так и не застегнув халата.

– Да, Минутка тебя в обиду не дает, – констатировала факт Александра Ивановна.

– Ох, чувствую, дело отчетом на Ученом совете пахнет, – первой оправилась от хохота Елена Николаевна.

Тут ворвался как вихрь в лабораторию Игорь, старший научный сотрудник соседнего отдела.

– Что у вас произошло? Шеф злой, как собака...

– Ну, с кем поведешься... – начал было я, и все, кроме Игоря, опять стали корчиться от смеха.

– Что-то мы сегодня слишком много смеемся, не к добру это, – посерьезнела Елена Николаевна. – Где много смеха, там после бывает много слез...

– Это все она, она, – тыча пальцем на Минутку, сказала Валерия, подойдя к Игорю, – а что, собственно, за претензии у шефа к нам?

Ни для кого в институте не было секретом, что Игорь и Валерия нравятся друг другу, хотя реальных проявлений служебного романа никто не знал. Но факты – это одно дело, а предчувствия, флюиды, симпатия, наконец, – совсем другое, более таинственное и завораживающее магнетическое поле страстей человеческих. А почему, впрочем, человеческих? Вот и Минутка смотрит добродушно на Игоря и вовсю виляет хвостиком – он ей тоже нравится, и, скорее всего, потому, что он нравится Валерии – ведь собака чувствует тоньше людей, но, в отличие от нас, не умеет скрывать своих чувств.

– Я попал к шефу, как говорится, под горячую руку. Сергей Борисович весь красный от гнева стукнул кулаком о стол и заявил, что экспериментальный отдел черт-те чем занимается, что опыты по атеросклерозу надо немедленно прекратить и через две недели представить результаты.

Мы стояли, как громом пораженные. Даже Минутка,

свесив уши, внимательно слушала Игоря, часто помаргивая. Чувствовала ли она, что дни ее сочтены?

За Игорем закрылась дверь. За автоклавом тихо плакала Александра Ивановна. Валерия подошла ко мне с трясущимися пальцами и попросила:

– Замерь давление у Минутки, я не могу ничего с собой сделать, – и разрыдалась откровенно, навзрыд, с бабьими всхлипами. Елена Николаевна сидела за своим столом, пыталась что-то писать но, бросив ручку, сдавленно произнесла:

– Я как чувствовала – не к добру смеялись...

Минутка стояла, зафиксированная в станке, и глядела такими огорченными глазами, будто всю вину брала на себя и уже смирилась со своей участью. У нее от шеи был отделен кожный лоскут с сонной артерией. Я наложил манжетку от аппарата и стал измерять давление. В обычные дни она, непоседа, увертывалась всеми силами – уж больно не нравилась ей эта процедура. Только Валерия могла ласками и словами успокоить ее, поставить в станок и закрепить ремнями. А сегодня Минутка была сама покорность – никогда мы ее такой не видели. Даже освободившись от ремней, она не спешила покинуть стол, словно говоря: “Делайте со мной что хотите, все, что вам нужно – ведь вы для меня самые близкие люди...”

И она для нас была самым близким существом. Хронический эксперимент, который длился почти два года, внешне выглядел как обычная домашняя жизнь собаки: ее кормили, подсыпая лекарственное средство, ее купали в ванной с морской водой, ее

тетешкали и даже уносили домой на выходные и праздники, где дети с ума сходили от счастья. Она знала все повадки людей и вела себя так же естественно, как мы в детстве.

Бесхитростная и эмоциональная Минутка устраивала нам целые спектакли и день ото дня становилась роднее. Магия ее очарования была такова, что мы напрочь забывали главное – Минутка всегда лишь объект эксперимента, результаты которого откроются после ее умерщвления. К тому же нам казалось, окончание хронического опыта так далеко, что его и в голову брать не надо. Одно и то же повторялось сотни раз, и уже сам привычный ритм работы давал иллюзию стабильной жизни. Сегодня было так же, как вчера, а завтра будет так же, как сегодня.

Не это ли ощущение возникает у хронического больного? Он знает, что у него неизлечимая болезнь, но это знание – уж не защитная ли реакция живого организма? – умозрительное, не достигающее глубины души. А день начинается с туалета и завтрака, с разговора с соседом, с воспоминания о хорошем сне. И солнце бьет в окна, и птицы летают в синеве, и тлеет надежда, что этот вечный мир дарует тебе вечную жизнь, а телесные страдания – всего лишь суета сует и томление духа, как говаривал Экклезиаст.

Когда два года назад Елена Николаевна начала хронический эксперимент по изучению обмена липидов при атеросклерозе, в виварии появилась Минутка. Маленькая собачка всегда щенок, и более забавного существа в лаборатории еще не появлялось.

Решено было использовать Минутку не в остром опыте, заканчивающемся гибелью животного в тот же день, а в хроническом, растянутом во времени.

Кто бы тогда шепнул милым женщинам, на какие душевные муки они обрекут себя в итоге, когда опыт закончится. Представьте, что хозяину собаки, которая стала полноправным членом семьи, предстоит своими руками убить любимицу – “во имя науки”, как потребуют не слишком симпатичные ему люди.

Елена Николаевна сама сделала Минутке операцию по выведению сонной артерии в кожный лоскут для измерения давления, сама кормила ее домашней пищей – благо дом находился рядом с институтом, сама выгуливала ее на летней травке и выполняла все манипуляции опытов.

Через год в отделе появилась аспирантка Валерия. Молодость ее сияла умом и красотой, и она сразу стала предметом мужского внимания. Сам директор не избежал власти ее обаяния – собственно, он был руководителем ее диссертационной работы, но независимость суждений и молодая дерзость Валерии после двух-трех конфликтных споров отдалила их друг от друга. А тут еще Игорь из клинического отдела... Сергей Борисович все реже стал бывать в некогда родной ему лаборатории, а в последнее время и вовсе там все стало его раздражать.

Валерия начала работать с собаками неумело и робко, операции проходили с осложнениями, иногда она просто боялась подопытных. Особенно памятна всем история с крупным псом Шариком, грозой пустырей и

помоек. Он глухо рычал, лаял на нее, и, чувствуя ее слабинку, держал Валерию в постоянном страхе. Она, преодолев себя, кормила его из рук, гладила и нашептывала ласковые слова и со временем Шарика приручила. Но тут уже подстерегала ее другая беда. Шарик так уверился в своей власти над ней, что во время опытов откровенно возбуждался и рвался к ней, срывая фиксаторы.

Пришлось Шариком заняться мне, а Валерии уступили Минутку – как самую милую и безобидную...

Записав результаты опыта, я отвел Минутку в виварий. Она шла, как всегда молча, не обращая внимания на бесноватое лаianie сородичей и, устроившись под батареей, привычно свернулась калачиком.

На следующий день Елена Николаевна два часа провела у шефа, а вернувшись, закрылась в своем кабинете и еще пару часов не выходила к нам.

Наконец, ее синие глаза с красными веками оглядели всех нас, и мы услышали:

– Эксперимент решено закончить в ближайшее время. Единственное, что мне удалось добиться – убедила Сергея Борисовича довести число опытов до ста, для статистики.

Это означало еще месяц жизни для Минутки, Шарика и десятка других собак. Все молчали. Я подумал: вот она, обратная сторона профессии людей в белых халатах.

Убьем животное, сделаем на микротоме гистологические срезы сосудов, сердца, печени, мозга и прочих органов и тканей, обработаем статистически

данные сотен опытов и поведаем в научной статье: дескать, механизм действия препарата, изученный в ходе хронических экспериментов, приводит к следующим результатам: вызывает уменьшение холестерина, триглицеридов, соотношения попротеидов и общего количества липидов, а также способствует нормализации склеивания и агглютинации кровяных пластинок и активации фибринолитического фактора.

Прочитает подобную дребедень практический врач и подумает: так ведь это ж на собаке все хорошо получается, а у людей-то все иначе может обернуться – и данное трезвое рассуждение как бы сводит на нет все наши результаты, и в осадок выпадает сермяжная правда: а собачек-то зря загубили...

Я-то как фармаколог знаю, что опыты на животных наиболее полно раскрывают свойства препарата, но ведь перед Богом все равны, и нет ответа на вопрос: дает ли разум нам право распоряжаться чужой жизнью – ведь собака такая же Божья тварь, живая душа все-таки...

Месяц рутинной работы пролетел быстро, и вот наступил черный понедельник, когда решено было забить Минутку.

В девять утра все уже были на месте, но никто ни с кем не здоровался – все разбрелись по углам. Елена Николаевна закрылась в своей комнате, сказав сквозь дверь: “Я не могу ее видеть ...”. Александра Ивановна и Валерия плакали обе, но делали необходимые приготовления: готовили станки с фиксаторами, смертоносные ампулы с магнизией, проверяли шприцы и иглы.

Александра Ивановна обратилась ко мне:

– Сделайте все, как полагается, но меня избавьте сегодня... Вы – мужчина, поймите нас...

Я отправился в виварий, как делал уже полгода, в одно и то же время – обычный рабочий распорядок. Обычный заход в клетку с лающими псами. Я знал, что в углу лежит, как всегда, тихая покорная Минутка. Я шел сквозь оскалы и лай крупных матерых дворняг, не дрогнув ни единой жилкой – я уже хорошо знал свое дело. Вот и Шарик, верховод и заводила, чуть не бросается на меня, но я вижу, что это скорее ритуал, чем бешеное желание укусить и растерзать. Я раздвигаю их морды локтями и двигаюсь в левый угол – и вдруг на меня кидается со страшным лаем Минутка – впервые за всю ее жизнь в виварии. Она лаяла, выпучив глаза и конвульсивно содрогая тело, словно я был ее самый заклятый враг, вроде того пьяного собачника, что чуть не удавил ее в стальной петле.

С лютым взглядом, с ошетинившейся шерстью, с оскаленной пастью Минутка была единственная среди всей своры, кто пылал неподдельной яростью и ненавистью – и мне от неожиданности стало страшно. Осторожным движением я попытался было схватить ее ошейник, но еле отдернул руку от ее клыков. “Минутка, Минутка, пойдем со мной!” – я звал ее, но мой фальшивый тон лишь еще больше обозлил собаку, и она лаяла в слюну, отчаянно защищаясь.

Ни одна собака, самая страшная, не навела на меня такого ужаса, как лай этого маленького взъерошенного существа, изливавшего всю боль обманутой души. Она

несомненно знала, зачем я пришел. “Собачье чутье!” – я впервые в жизни столкнулся с этим безотказным инстинктом, и пещерный страх овладел мной. Смерть пришла к ней в моем облике.

Я все-таки схватил ее за ошейник, вывел из клетки и привел в лабораторию. Весь путь она упиралась и лаяла без умолку, а когда переступила порог и увидела Александру Ивановну – залаяла еще пуще, и тут я остолбенел: я догадался, что не страх близкой смерти разрывал ее сердце, а наше предательство, наш темный коварный умысел – и этого перенести Минутка была не в силах. Появилась Валерия – она тут же перекинулась с яростным надрывом на нее, почуяв холодное дыхание гибели. Валерия, схватившись за голову, с рыданием бросилась вон из лаборатории.

Александра Ивановна, вытирая полую халата слезы, умоляла:

– Сделайте же что-нибудь, успокойте ее!

Мне удалось поставить ее в станок, но на большее я не был способен – руки дрожали, сердце выпрыгивало из груди. Ввести иглу в вену я был не в состоянии.

И тут Александра Ивановна с помертвевшим лицом произнесла нарочито членораздельно:

– Сходите к Сергею Борисовичу и пусть он сам сделает то, что решил, а нас может уволить хоть завтра...

Я не помню, как оказался в его кабинете, и пришел в себя, лишь увидев там Валерию. Она со слезами на глазах просила его выключить из эксперимента Минутку и отдать ей.

– Я призван воспитывать ученых, и если я себе

позволю это, то можно поставить крест на вас и на мне как на личностях.

– Сергей Борисович, – вмешался я, – вы начинали этот эксперимент, будет символично, если вы его и закончите...

– Ну что ж, это другой разговор, – ответил он и направился в лабораторию.

Мне уже не казалось странным, что, увидев профессора, Минутка умолкла и покорно позволила ввести в вену лапы смертельное содержимое шприца...

Когда я слышу расхожее: “Одну минутку...” – я содрогаюсь, и никому не понятен мой отрешенный взгляд в пространство, где я отчетливо вижу собачку, отчаянно лающую на людей, предавших ее бескорыстную любовь к ним. И нет лекарства от этой беды...

Римма Колярская

ТАНЦУЮЩАЯ ЯЩЕРКА

Жила в городе девочка Женечка. Она очень любила танцевать. Когда Женечка подросла, мама отдала ее в балетную школу. Там девочка обучалась разным искусствам и каждый день танцевала.

Летом Женечка с мамой отдыхала на даче. Для нее на веранде оборудовали балетный класс. Здесь она ежедневно занималась “у станка” и повторяла разученные “па”.

Однажды, танцуя, Женечка повернула головку и увидела зеленую ящерицу. Та стояла на задних лапках, передними упиралась в окно и с любопытством заглядывала внутрь веранды. Женечке показалось, что ящерица прижалась мордочкой к стеклу, чтобы лучше видеть. Но, когда девочка подошла ближе, она стремительно юркнула в цветы.

На следующий день Женечка снова увидела ее. Девочка продолжала занятия, искоса поглядывая на забавную гостью. Ящерица точно повторяла за ней все движения: поворачивала головку, поднимала лапки. Это было так удивительно, что девочка позвала маму. Шум спугнул поклонницу балета. Мама решила, что дочь фантазирует.

Назавтра Женечка то и дело поглядывала за окно

веранды. Но заметила свою ученицу, лишь когда та встала “к станку” в первую позицию.

Женечка делала самые трудные движения, однако ящерка, как зеленый человечек, в точности повторяла их. Не получился только шпагат. Ящерка легла на подоконник, вытянула передние лапки вперед, а задние – назад. Это была поза отдыхающей ящерицы, а не шпагат.

– Какая ты забавная, – рассмеялась девочка.

Ящерка подняла головку и старалась понять, что говорит девочка.

– Не обижайся, ты очень хорошо занимаешься, – добавила Женечка.

Четырехлапая танцовщица с достоинством поклонилась. Девочка не успела и глазом моргнуть, как она исчезла.

Ящерка приходила каждый день в то время, когда Женечка начинала занятия, и они работали вместе. Ящерка тщательно подражала движениям девочки. Женечка тоже переняла кое-что у своей ученицы. Ее движения приобрели природное очарование. Она стала танцевать грациозно, кокетливо, словно юная примадонна.

Как-то раз во время занятий во двор прилетела большая ворона. Она хрипло каркнула, ухватила ящерицу поперек туловища и собралась улететь. Девочка закричала, заколотила ладошками по стеклу. Ворона испугалась и выронила ящерицу на землю. Потом взлетела на фонарный столб и стала смотреть вниз, склонив голову набок.

Девочка побежала спасать свою “подружку”. Но вместо ящерики нашла очень похожий на нее деревянный сучок. Женечка подняла деревяшку и заплакала. Жалко ей стало ящерку, она привязалась к ней.

Рассердилась Женечка на ворону и крикнула:

– Противная ворона, зачем ты это сделала? Верни мне ящерку,.. пожалуйста!

Ворона привыкла к брани и не обращала на нее внимания. Но, услышав “волшебное слово” – “пожалуйста”, прилетела обратно во двор. Она стукнулась о землю и превратилась в маленькую горбатую старушку. У нее во рту был один зуб и на носу бородавка с длинным волосом.

– Я верну ящерку, – прошамкала старушка, – но ты станешь деревянной балериной! – и старушка захихикала.

Она стукнула клюкой о камень. Тотчас деревянный сучок превратился в зеленую ящерку. Зато исчезла девочка. На ее месте появилась деревянная балеринка с личиком Женечки. Вокруг нее бегала ящерка.

Левая ножка балеринки стояла на пуанте, правая была вытянута вперед. Одна ручка – красиво поднята над головой, а другая – грациозно открыта полукругом на уровне плеча. Головка была изящно наклонена.

Ящерка тут же скопировала позу девочки. Она ждала, когда девочка сменит ее. Но балеринка не двигалась. Старушка снова захихикала, завертелась волчком, покрылась перьями и вороной взлетела на крышу дома.

Ящерка потрогала балеринку лапкой. Девочка осталась в той же позе. Вдруг из глаз ящерики поползли

капельки слез и упали на балеринку. У вороны выпало перо. И – произошло чудо! Девочка ожила, но была величиной с ящерицу.

Она обрадовалась, увидев живую ящерицу, взяла ее за передние лапки, и они начали кружиться.

Ворона выронила второе перо, и девочка превратилась в прежнюю Женечку. Маленькая ящерица висела у нее на платье, как маленькая брошка. Девочка погладила ее пальчиком и посадила на подоконник. Они продолжили свои занятия. Недаром говорят, – дружба творит чудеса!

4. 02. 2000 г.

Герман Дробиз

ИНЖЕНЕР ЩУКИН

Рассказ

Если пролететь над Уральским хребтом, от его южных предгорий до приполярных вершин, десятки раз будешь попадать в рукотворные зловонные облака, исторгаемые жерлами заводских труб.

Одна из самых обширных и вонючих облачных громад, скрученная из охристых, белесых, сизоватых и зеленоватых дымов, затмит трассу воображаемого полета в срединной части хребта, там, где он переходит в плоскогорье и где дышит в небеса одна из крупнейших в стране, а может, и во всем мире, промышленных зараз двадцатого века – трижды орденоносный Северянский химический комбинат.

Тридцать лет он давал стране серную кислоту и иные вещества с длинными названиями, чем год от году все более укрепил промышленную и военную мощь державы. На вишневом бархате знамени, что торчало из полированной подставки в директорском кабинете, в прилежавшем к деревку углу торжественной ткани, чуть выше сдвоенного ленинско-сталинского силуэта, прибавлялись ордена. В прессе комбинат называли не иначе как флагоманом очередной пятилетки, прославленным предприятием социалистической промышленности, лидером отрасли. Но к концу пятидесятых

годов слишком явно обнаружили себя последствия ударного строительства, большевистских темпов под лозунгом “Время, вперед!”, стахановских рекордов на монтаже.

Изношенное оборудование сочилось ядовитыми жидкостями и газами, нескончаемые аварии останавливали сложный многоступенчатый процесс.

Спасение было только в новой очереди комбината, в стройке, развернувшейся бок о бок со старыми зловонными цехами. Шла она ни шатко ни валко, сроки сдачи и пуска пересматривались из года в год.

Но тут настали шестидесятые годы, знаменитые обилием удивительных идей и деяний Никиты Сергеевича Хрущева. Одно из самых масштабных преобразований, предпринятых по воле энергичного генсека – “Большая химия”. Идея в считанные годы расширить химические производства и поднять их до уровня мировых лидеров – американских, немецких, французских – была, может быть, самой разумной хрущевской новацией за все годы его сумбурного управления страной. Химия в СССР и впрямь была допотопной, а потому досадно тормозила развитие всех других отраслей и прежде всего самой главной – оборонной; в частности, требовалось все больше новейших взрывчатых веществ, все более могучего ракетного топлива, не говоря уж о самом засекреченном – химическом оружии.

На “Большую химию” были брошены соответственно большие силы. Из лагерей досрочно освобождали заключенных, переводя их на полусвободный режим,

в котором они пребывали, трудясь на стройках. С тех времен много лет еще бытовало выражение – “послать на химию”.

“Большая химия” круто изменила и судьбу строительства новой очереди Северянского комбината. Удесятирили средства, утроили коллектив строителей, со всех концов страны в Северянск покатали эшелоны со стройматериалами и оборудованием. Специальным документом. Центральный Комитет партии постановил, что никакие передвижки сроков более недопустимы, и текущий год будет для стройки решающим – последним и пусковым.

... Начальника строительства сменили. На его место, передав в другие руки достраивать нефтеперегонный завод в Поволжье, по решению партии прибыл Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских и министерских премий, строитель множества крупнейших предприятий легендарный Николай Сергеевич Паторжинский. По утрам его машина, ныряя в колдобинах разбитой вдрызг тяжелыми грузовиками дороги, въезжала на стройку под аркой, на которой алело бесконечно знакомое: “Вперед, к победе коммунизма!” Всякий раз он кривовато усмехался, а иной раз и говорил шоферу, своему многолетнему верному водиле, другу почти:

– Давай, газуй, Андрюша – коммунизм уже недалеко...

Андрей, сверстник, поворачивал к нему морщинистое лицо и в понимающей улыбке скалил железные зубы.

Ни в какой коммунизм Паторжинский давно уж не верил, про родную партию знал много позорного, а еще

больше – страшного. Навсегда запомнил, как энкаведешники уводили главного инженера Красномашстроя. светлейшую голову, инженера божьей милостью и благороднейшего человека. Уводили прямо с оперативного совещания, на глазах у сотни молчавших. И он, понятное дело, молчал, только дурацкая фраза крутилась неслышно, заезженной пластинкой: “Если это враг народа, кто ж тогда народу друг?”

Но когда в Георгиевском зале Кремля ему вручали золотую звезду Героя за Волго-Дон – тоже хорошо помнил: его охватило гордое, чудесное чувство сопричастности к великим свершениям века, к преобразованиям, меняющим лик Земли. Но и в тот, самый торжественный день своей жизни, в приподнятом, окрыленном состоянии пробыл недолго. На последовавшем после церемонии награждения пышном и обильном банкете он сидел со старым товарищем, с которым начинали еще на Кузнецкстрое. После нескольких добрых рюмок, когда перешли на доверительный дружеский треп, Паторжинский, наклоняясь все же поближе к уху собеседника, поведал старому другу, что самыми тяжкими временами на его последней стройке были не те, когда по каким-то причинам работы выбивались из графика и прибывали московские раздавальщики выговоров и угроз, а пара недель, затраченных на установку на берегу канала, в голой степи, шестидесятиметровой бронзовой статуи товарища Сталина. Под какой охраной и под чьим присмотром это делалось, какого уровня чины прилете-

ли решать, куда именно, через канал или вдоль него будет смотреть вождь советского народа...

А теперь верховодил дорогой Никита Сергеевич. одаренный так называемым простонародным умом, в чем-то и впрямь обаятельный, предприимчивый мужик, но при том – глубокий невежда с четырехкласным образованием. Плюс, правда, институт красной профессуры, тот еще вуз. Удивительно, как ухитряются по-настоящему умные люди время от времени разяснять ему действительно насущные нужды страны – такие, как создание “Большой химии”. Да, это не кукуруза, это разумно и своевременно. И Паторжинский построит вторую очередь комбината, а точнее – новый комбинат – в срок, чего бы это ни стоило. Это будет шагом на пути того технического прогресса, которым богатеет Запад. Тут – да, давайте догонять а то и. чем черт не шутит, перегонять. Правда, тут же он представлял, куда именно, кроме несомненно полезного производства удобрений, пойдут с его комбината серная кислота и фосфорная и прочие пакости... И мрачнел.

Оперативки проходили в просторной конторе будущего цеха экстракции, начинались в одиннадцать. Паторжинский приходил раньше. Поджидая, пока соберутся все, стоял у окна, перед развернувшейся во всю ширь панорамы строительства.

Срок, как уже было сказано, утвержден с такими строгостями, с такими грозными предупреждениями о невозможности его срыва, что Паторжинский и помыслить не смел о неуспехе. Но иногда, как сейчас,

обозревая горы грунта, размытые осенними дождями траншеи, полувыросшие из котлованов стены, недозабитые до нужной отметки сваи. он цепенел от накатывавшегося ужаса, и сердце, поработавший на своем веку, порядком изношенный, не раз леченный насосик, давало чувствительные перебои.

Он посмотрел на часы: ровно одиннадцать. Обернулся. Все на своих местах. Руководители управлений, начальники участков, прорабы. – Стальконструкция. Начнем с вас.

Он выслушал “Стальконструкцию”: перекрытия цеха водоподготовки, опоры под ЛЭП к новой подстанции, опоры под паропровод, удерживаемся в графике, но надо бы еще хоть с десятка опытных сварщиков... Далее пошел “Спецхиммонтаж”: идут в графике, но среди фильтров первичной очистки один с брачком, самим не устранить, надо вызывать заводскую бригаду... “Трубомонтажстрой”, мостоотряд. “Котломонтаж”, “Спецфундамент”... “Спецфундамент” отставал по всем статьям и тормозил других.

– Николай Сергеич, ну, как держать график при таких дорогах? Цементовозы от железки тащим тракторами, три кэмэ в час, какой может быть график. Хоть от трибуны и стеллы освободите, Николай Сергеич, ну что, они без нее не откроют, что ли?

Паторжинский покосился на сидевшего рядом парторга ЦК, ладного моложавого крепыша в потертой кожанке. Чем-то он напоминал ему Кирова, с которым довелось общаться в Ленинграде в начале тридцатых. Безусловно, нужный человек, грозными звонками и

телеграммами ускоряющий поставки материалов и оборудования. Если бы не пропагандистская мура, на которой он изо дня в день настаивает как партийный руководитель стройки. Все эти плакаты, транспаранты, газетные стенды, капитальная доска почета на могучих бетонных подставках. Убивается время, отвлекается и без того дефицитная рабсила. Лучше всяких призывов действует добрая кормежка в столовых и весомые премиальные за досрочные работы, за “черные” субботы (светлых, впрочем, давно нет). Да еще эта дурацкая стелла. Открытие новой очереди запланировано как торжественный митинг строителей на площади перед центральным входом, прилетят секретарь ЦК, три министра, столичные газетчики, телевидение. Надо замостить площадь, построить капитальную трибуну, а возле трибуны поставить пятнадцатиметровую стеллу со всякими там символическими фигурами созидателей, сеятелей, воинов. А это еще один котлован, еще одна заливка, еще одна стальконструкция, да из нержавеющей. И когда крепить эти фигуры, если их все еще отливают где-то под Москвой. Хорошо еще, не старые времена, подумал он с усмешкой, а то пришлось бы ставить стометрового дорогого Никиту Сергеевича. Всего-то стелла – и на том спасибо.

– ...И еще, Николай Сергеич. Неудобно о пустяке, но все же. На химзащите нам на три дня работы, но чертежа нет и нет. Элементарная разметка фундаментов, мы бы и сами. но тогда разрешите, или как?

– То есть как нет чертежа?!

– “Химпроект” не шлет. И работы-то, говорю, на три дня. но как бы нам не сорвать химзащиту...,

Паторжинский тяжеломерно поднялся, пузо легло на край стола, щеки побагровели. Грохнул по столу кулак, подпрыгнул стаканчик с карандашами, и над оперативкой прогромыхали крепкие непечатные слова, без которых в стране, как известно. не обходится ни одно дело, тем более такое как громадная пусковая стройка.

– “Химпроект”! Федоров! В чем дело... (Трах-та-ра-рах! Та-тах! Та-та-тах!)

Старею, думал он, глядя, как участники оперативки тянутся к выходу, переговариваясь и на ходу закуривая. Неадекватное поведение. Срываюсь из-за ерунды. Ну. с чего, с чего я так взъярился из-за этой мастерской химзащиты? На стройке не залито полсотни фундаментов, не уложены километры труб, котельная торчит, как сломанная расческа... что на этом фоне какая-то мастерская? Тьфу! Плюнуть и растереть. Сотая доля процента. А ты разнос устроил. Толкового парня изматерил. Где чертеж?! Подать к завтрашнему утру! Ох-ох-ох...

Да то и взъярился, что сотая процента Ну, было бы что-то сложное, требующее конструкторского дарования, квалификации приличной, долгих расчетов. А то – чертеж, который под силу третьекурснику стройфака. Да миллион человек есть в стране, могущих с закрытыми глазами начертить это за пару часов...

Ладно, надо сказать, пусть разметят сами.

Старею все же. Старею...

Миллион не миллион, но тысяч сто по стране действительно бы нашлось. Не за пару часов, но уж за один рабочий день сделали бы этот нехитрый чертеж.

Но поручили его только одному из ста тысяч – недавнему выпускнику строительного вуза, начинающему инженеру Антону Щукину. И поручили в дни, когда мысли Щукина были куда как далеки от искусства проектирования чего бы то ни было. Более того: они были сосредоточены на том, как бы ему порвать с этим искусством раз и навсегда.

Кульман Щукину достался чрезвычайно удачный – у окна, на свету. В наступившую осеннюю хмуру лампы в зале, где трудились с полсотни проектировщиков, горели почти до полудня. Щукину светло было вдвойне – трудиться бы и трудиться с той самозабвенностью, которая требовалась от всего института – основного проектировщика второй очереди Северянского комбината. Щукин грустил и глядел в окно. По ту сторону, за двойными рамами, на бетонном выступе сидел голубь. Нахохлился, замер в неподвижности, пытаясь удержать в воздушном тельце крохотное тепло. Если б не рамы, можно было протянуть руку и погладить мерзнувшую птицу. Или сунуть его за пазуху и отогреть. Голубиный глаз обреченно уставил на Щукина смутный зрачок в оранжевом ободке. Голубю предстояла холодная и голодная зимовка. Щукину тоже предстояло решить, как жить дальше. Сопоставив свою проблему с голубиной, Щукин подумал, что голубиная проще, потому что однозначней: либо он выживет, либо

не выживет. У Щукина вопрос о смерти не стоял. Стоял вопрос о жизни.

Ватман, на котором никак не хотел проступить чертеж разметки фундаментов мастерской химзащиты, был приколот к доске крупными латунными кнопками, делавшими его похожим на обитую дверь. Как распахнуть ее и выйти? И куда?

Подходил начальник конструкторского бюро. поторапливал. Щукин что-то бормотал в оправдание. Простейший чертеж не шел, не двигался. В нем сконцентрировалось все, с чем Щукину, хотелось решительно порвать, как с тягостным заблуждением многих лет, наконец-то ясно осознанным именно как заблуждение.

– Товарищ Щукин, не исключено, именно из-за вашего чертежа сейчас простаивают рабочие – вы способны это понять? Там, на пусковой стройке, счет идет на дни, а скоро пойдет на часы – вы это понимаете?

Щукин бормотал в ответ, что да. понимает, но он простужен, болит голова, он не может сосредоточиться, но завтра он обязательно...

Начальник раздраженно отмахивался и уходил дальше по рядам: были дела поважнее.

Вскоре после обеденного перерыва снова зажгли лампы. Их тонкое комариное жужжание доставало, как зубная боль. Стрелки настенных часов, казалось, остановились. Люди годами сидят в заключении, а для меня пытка дотянуть до звонка, подумал Антон.

Едва он прозвенел, этот благословенный звонок, известивший об окончании рабочего дня, Щукин пулей

вылетел на лестницу и помчался вниз. – Ты куда так резво? – окликнул его знакомый из соседнего бюро. – Не хочешь присоединиться пивка попить? Собираются хорошие ребята.

– Нет, я...

На стене висела афиша. Скользнув по ней взглядом, Антон выпалил:

– Я на футбол. Последний матч сезона...

Неподалеку от института, в сквере, он сел на скамью и закурил. Надо было что-то решать. Он не мог оставаться в институте более ни дня. Это была настоящая болезнь, не выдуманная простуда, а самая настоящая болезнь. Но что значит – уйти? Во-первых, нужно отработать три года по распределению – крепостное право, а его трудовой стаж – два месяца. Во-вторых, а вернее, это и есть во-первых: куда уйти? Уходить надо было еще из вуза. когда ясно понял, что не хочет он ничего строить, созидать, не хочет ни проектировать, ни мотаться по стройкам. Чего же он хочет? К чему приспособлен, к какому роду занятий людских?

Сквер был тих, безлюден. Редкие прохожие торопливо шмыгали по аллеям, на трамвайную остановку и от нее, никто, как Антон, не выказывал желания присесть на холодную сырую скамью для напряженных размышлений о своей жизненной судьбе. Все они что-то решили для себя, живут по каким-то планам, преследуют какие-то желания и мечты. А может, сдались, и тянут лямку доставшегося проживания там, куда их занесло.

Окружающие здания были густо заштрихованы голыми ветвями тесно посаженных тополей. “Сижу за решеткой в темнице сырой...” Он приехал сюда по распределению три месяца назад. Два с половиной. Город не понравился ему с первого взгляда, не нравился и теперь. Большой, даже громадный, куда больше его родного города. Многоэтажные громады соседствовали с облупившимися особняками прошлого века, на широких площадях, продуваемых ветрами, торчали стандартные памятники вождям, проспекты были прямыми, весь город был накрыт прямоугольной сеткой. Среди фасадов попадались и светлые, и желтоватые, и розоватые, но в целом в городе торжествовал серый цвет. Бесконечные серые кварталы, а по окраинам, куда ни глянь, вечно чадающие трубы заводов.

Его родной город, старинный, бывший губернский центр, был уютен, полон извилистых переулков, летом утопавших в зелени, зимою – в чистых, сверкающих белизною сугробах. А главное – стоял на большой реке, на высоком обрыве, с безоглядной далью по ту сторону. Река, чистая нарядная набережная, ледоходы и половодья, пестрота речного порта, протяжные гудки теплоходов, пляжи, мосты...

Этот город разросся на берегах невзрачной речонки, стиснул ее, лишь в одном месте, перегороженном плотиной, позволив ей раздаться до скромных размеров пруда. В центре города речонка была торжественно вставлена в высокие гранитные берега, которые были ей велики, и от основания гранитного великолепия до

уреца воды тянулась илистая полоса, замусоренная всякой дрянью.

Город оставлял у Антона ощущение чего-то несуразного, неуклюжего, грубоватого. То же – и здешние люди. Они разговаривали, проглатывая гласные в конце слов, говор их был тверд, и все, что они говорили, казалось грубым и недружелюбным.

Вода здесь была невкусная, и мороженое имело странный привкус, а он, как ни смешно, любил мороженое, как ребенок, и привык к определенному его вкусу, к сладости, радовавшей с детства. Он и потешался над своим раздражением от таких мелочей и не мог отрешиться от них.

За эти два с небольшим месяца он не подружился ни с кем из жильцов институтского общежития, где ему дали отдельную комнату – единственное, что порадовало его сразу и продолжало радовать до сих пор. Не познакомился ни с одной девушкой. Не обрел никакой компании. Иногда ему казалось, что он приехал в другую страну. Мать забрасывала письмами, каждую неделю вызывала на переговорный. Он отвечал редкими открытками, по телефону, взнуздав себя, отвечал жизнерадостным голосом: “Все в порядке, мам. Работа нормальная, комната нормальная, питаюсь нормально ...”

Мать вырастила его без отца. Отец погиб на фронте в сорок первом. Он был инженером и, как теперь понимал Антон, вполне рядовым. Но для матери отец оставался в памяти важным человеком, проектировщиком каких-то секретных строек, “и

будешь инженером, как отец” – эта фраза звучала все его детство и препроводила его после школы в строительный институт. Был бы в городе металлургический или машиностроительный – он выучился бы на металлурга или механика. Но институт в городе был один...

Через сквер к остановке пробежали три мальчика и девочка, все со скрипичными футлярами в руках. Видимо, неподалеку была музыкальная школа. Как хорошо быть юным дарованием или хотя бы родиться с явными способностями: музицировать, петь, рисовать, играть в шахматы, бегать, прыгать, пинать мяч... Ни к чему мучительные раздумья о предстоящей жизни, твой путь за тебя определила природа, даровав тебе тонкий слух или зоркий глаз, удачно расположенные в горле связки или особо эластичную, упругую мускулатуру. Но как быть тем, в ком природа ничего не акцентировала, не предопределила? Или она что-то дарует всем, но неявно – и ее замысел нужно угадать? Сколько же лет разгадывать эту загадку? А те, кто работает рядом с ним в конструкторском бюро? Как они попали сюда? Мечтали с детства и счастливы? Занесло? Смирились?

Его поражало, как много супружеских пар работает в их зале. Он был уверен: эти мужчины и женщины соединились не по любви, а по привычке быть рядом, за соседними кульманами. О чем же они говорят дома после того, как восемь часов провели бок о бок в одном помещении, поскрипывая грифелями по ватману? О ней же – о работе?

Как ему порою хотелось вызвать на откровенный разговор своих коллег. Есть среди них и увлеченные работой, но есть и такие, кто не скрывая, тяготится и трудом и профессией. Как он. Но в отличие от него, они, побряхтывая, чертят и чертят, переползают с категории на категорию, радуются, когда к зарплате прирастает червонец. И он будет таким?

Ничтожный случай поверг его в отчаяние и произвел впечатление, несоразмерное со своим масштабом: на собрании в бюро “обсуждали” инженера Кутько. В институт пришла бумага с сообщением о безобразном поведении означенного работника, предлагалось это поведение осудить общим собранием или товарищеским, судом. Инженер Кутько, посетив ресторан “Ривьера”, вел себя там, как сообщалось, развязно, сначала нахамил официантке, а затем, будучи в подпитии, оскорбил музыкантов оркестра и, наконец, завязал драку с другим посетителем – впрочем, без серьезных травматических последствий как для него, так и для себя.

В красном уголке дебошира посадили лицом к коллегам. Звучали гневные речи, требовать уволить опозорившего своим поведением весь коллектив. Однако выступивший в заключение секретарь партбюро успокоил страсти, предложил простить инженера Кутько по молодости лет и ограничиться строгим выговором с предупреждением. На чем и порешили.

Из всего, что прозвучало на собрании, упоминание о молодости хулигана поразило Антона больше всего.

Инженеру Кутько, как явствовало из зачитанных в начале анкетных данных, было тридцать лет ровно. Антон смотрел на его лицо, где уже наметились складки у рта и поперечные морщины на лбу, и никак не мог признать обладателя лица молодым. Да еще синеватые прожилки на носу, набухшие подглазные мешочки и какая-то рыхлость в полнеющем теле... Он представил: его разница в возрасте с этим Кутько – восемь лет. И они пройдут здесь, в конструкторском бюро. целых восемь – вечность! Он, чтоб не сойти с ума от постылой работы, от одних и тех же лиц рядом, тоже начнет пить вино и тоже однажды попадет в передрыгу. И также будет посажен на собрании вот здесь, в красном уголке, расписанном лозунгами, со стенами в осточертевших плакатах, с расшатанными стульями и унылым столом президиума под красной скатертью. Он будет посажен отдельно, лицом к разгневанным товарищам по труду. Тридцатилетний, морщинистый, рыхлый, с жеваными щеками и набрякшими подглазьями. И все еще будет считаться молодым, которому по юной несмысленности можно сделать поблажку. Молодым – то есть человеком, у которого все еще впереди?! Боже, боже... Да если к этому почтенному возрасту не стать заметной личностью, авторитетом, в своей хотя бы профессиональной среде – каким ничтожеством надо быть? Таким, как Кутько? Или таким, как ты?..

Он не сразу заметил, что в сквере стало много оживленнее: почти сплошными вереницами по аллеям к остановке тянулись прохожие, все больше мужчины, весело переговаривались на ходу, из

обрывков долетавших до него фраз он тут же понял, куда они все спешат. Его безотчетно потянуло вслед за ними. Он вскочил, побежал, втиснулся вместе с прочими в трамвайный вагон... Через сорок минут он сидел на переполненной стадионной трибуне и смотрел футбол.

Антон вырастал крепким мальчишкой, зачеты по физкультуре в школе и вузе выполнял более или менее успешно, но никогда не увлекался спортом и не был спортивным болельщиком. Не был до такой степени, что, даже мельком глянув на афишу в институтском вестибюле, не запечатлел в памяти, кто с кем играет. И только на стадионе, после дикторского объявления, уразумел, что это последняя игра сезона и что в ней местная команда встречается с противником в решающем матче за возможность перейти в более высокую лигу. И что противник – не кто иной как команда из его родного города. Услышав эту сухую информацию, Антон с немалым удивлением обнаружил, что в нем нет четкого ответа на, казалось, простейший вопрос: болеть ли ему за команду родного города или за игроков, представляющих этот громадный, серый, недружелюбный, едва ли не враждебный, в котором он прожил неполных три месяца? Противоречие разрешилось вот каким образом: два десятка крепких, агрессивно настроенных парней азартно носились по разбитому полю, свирепо толкались, падали в грязь, так что вскоре не то что нельзя было различить номера на футболках, но и трудно было понять, кто какой команде принадлежит. Что-то

первозданное, природное, естественное виделось Щукину в самоотверженной борьбе этих ребят. Вот у кого нет проблем с призванием, природа дала им крепкие ноги, невосприимчивость к боли и жесткий неуступчивый характер – и они стали футболистами. Понятно, что это занятие лет самое большое до тридцати и бог знает, что с ними будет дальше. Но сегодня они упоенно сражаются, без угрызений совести лупят друг друга по ногам – и никто из них, конечно, не приходит в свободную минуту на набережную постоять над струями ничтожной реки и подумать о своей дальнейшей судьбе. Вот ребята без комплексов, может быть, животные, но чем они хуже тебя? Замечательные ребята, а что касается, что одни из них бегают по топкому болоту осеннего поля за команду этого города, а другие – за команду его малой родины, то для них это просто работа и через сезон одни могут оказаться в команде противников, а другие – где-нибудь еще. Пусть победит сильнейший, сказал себе Щукин, я не позволю себе идиотской привязанности ни к тем, ни к тем. Другое дело, что вокруг него сплошь сидели поклонники местной команды, они поминутно вскакивали, кричали, посылали вперед криками: “Дуня, забей!” какого-то любимца, орали: “Судью на мыло!”, сколупывали жестяные крышечки с бутылок дешевого портвейна и разливали его в граненые стаканы, и Щукину захотелось слиться с этими людьми, сделаться элементарной частицей толпы, болельщицкого бушеванья, и когда кто-то протянул ему стакан, до

половины заполненный смугловатым пойлом, он, не задумываясь, махнул в рот эту несусветную дрянь и заорал вместе с соседями: “Дуня, забей! Ломай баранов!” Противников почему-то называли баранами. Легкий хмель вскружил голову, и захмелевшая голова вдруг вспомнила суд над инженером Кутько. С чего он, Антон, решил, что это так ужасно: быть тридцатилетним, оставаться при этом рядовым проектировщиком заурядной категории и переживать всеобщее осуждение? Да в гробу мы видали вас, моралисты. Мы, бездарные от природы люди, тоже имеем право на существование – да, на не бог весть какое, включающее в себя нервные срыв, ведущие к дракам в ресторане, но мы же наказаны от рождения отсутствием решающих способностей, мы серые, как этот город, он может быть от того и сер, что нас тут большинство, и это мы окрасили его в соответствующий своим дарованиям и интеллектам цвет, но мы живые люди, а я, в частности, еще по всем понятиям, молод, я жить хочу, вы слышите, дарования и таланты, я тоже имею право жить?!

– Внимание! – прогремело из динамиков над трибунами. – Инженер “Химпроекта” Щукин! Вас просят срочно пройти к Западному выходу!

Бедняга, подумал Антон, надо же, как не повезло: отрывают от такой забойной игры.

Диктору понадобилось дважды повторить это сообщение, чтобы Антон Щукин, наконец, осознал, что вызывают его.

Гром среди ясного неба менее поразил бы его, чем с

тех же небес прозвучавшая его фамилия. У Западного выхода, возле светло-серой “Волги”, по-наполеоновски скрестив руки на пальто, стоял начальник конструкторского бюро.

Не дожидаясь от Щукина никаких расспросов, он произнес как репетированное:

– Срочно в институт, сделать чертеж по мастерской химзащиты, ночным поездом выехать на стройку и утром быть там!

– Я не на фронте, Лев Матвеевич! – вырвалось у Щукина.

– Ты... Именно что на фронте, Щукин! От самого Паторжинского звонили, ясно? Мало того, еще парторг ЦК! Я из-за тебя с работы вылетать не собираюсь! Да я бы сам эту элементарщину за три часа начертил, но я тебя хочу как щенка в дерьмо ткнуть, Щукин! Как щенка в дерьмо!

Он заграбастал его – здоровенный дядька – и впихнул не в желанное дерьмо, а на заднее сиденье машины, и пока ехали, успокоился, но после нескольких минут молчания продолжил, уже без истерической ноты, но жестко:

– Я тебе зла не желаю, Щукин. Вижу – не проектировщик. Хочешь уйти, черт с тобой, уходи. Сам пойду к директору, упрошу, чтоб не заставлял тебя отрабатывать распределение! Увольняйся и вали, куда хочешь. Нам такие не нужны. Но этот чертежник, изволь, завтра утром должен быть у исполнителей. Плохо начинаешь жизнь, Щукин. Плохо и глупо.

Все сказанное было сказано справедливо и было

истинной правдой – и тем более оскорбительной и унижающей.

– А если не сделаю?

– Не сделаешь – не беспокойся, найдем статью.

– Не пугайте, какую еще статью?

– Не пугаю, юноша. Есть такие статейки. Для начала хотя бы преступная халатность. А есть и повеселее. Например, причинение вреда умышленным неисполнением служебных обязанностей. Прежде чем хорохориться, разыщи “ука” и посмотри.

– Какой еще “ука”?

– Уголовный кодекс. Знать надо, дитятко.

Машина крутилась по знакомым улицам, приближаясь к институту, к бюро, к его кульману, на котором латунными кнопками был прибит ватман, напоминавший обитую дверь. Его везли открыть ее... И захлопнуть за собой. И остаться. И беззаветно трудиться, ощущая ответственность за судьбы Родины. Антон чувствовал, как тысячетонной громадиной наваливается на него стройка в шести часах езды на поезде. Всенародной важности стройка, на которой распоряжается известный всей стране, всемогущий строительный босс Паторжинский, лично приказавший разыскать ничтожного Щукина, срывающего пусковой график идущей под контролем Центрального Комитета партии стройки...

Невыспавшийся в душном плацкартном вагоне, он в восьмом часу утра сошел на станции и побрел в толпе прибывших сквозь темень и непролазную грязь к автобусной остановке, но его тут же остановили:

– Вы Щукин из “Химпроекта”? Идемте в машину.

Он вдруг почувствовал себя важным лицом, героем, спасителем стройки. Подумать только, второй раз за неполные сутки за ним присылают машину. Он зауважал не только себя, но и свой простенький чертеж, покоившийся у него на коленях в футляре.

Но важность мигом слетела с него, когда на стройке машина, наплясавшись в глубоких колдобинах, остановилась перед внушительным зданием главной конторы, и приезжего провели не в какую-нибудь прокуренную прорабскую, как он ожидал, а в просторный, отделанный полированным деревом кабинет, где за широким столом, уставленным разноцветными телефонными аппаратами, сидел грузный хмурый мужчина с тяжелым взглядом. Щукин, похолодев, понял, что это сам Паторжинский.

Паторжинский разглядывал высокого сутуловатого паренька, замершего посередине кабинета, неловко прижавшего к животу футляр и таращившегося с нескрываемым испугом. Он вспомнил, как когда-то, в двадцать девятом, в таком же примерно возрасте впервые предстал перед великим Бардиным на Кузнецкстрое. Похож парнишка на тогдашнего меня? Нет. У меня тогда глаза горели. Говорить с гигантом Бардиным было, конечно, страшно, но ведь я говорил что-то. Порол какую-то юношескую чушь. Как будто бы можно вдвое ускорить темпы на монтаже. Бред, сказал тогда Бардин, терпеливо выслушав, но что-то в этом есть. Подумай еще и хорошенько... А у этого глаза не горят. И он молчит. Паторжинский усмехнулся...

(Щукин подумал, что так мог бы усмехнуться бегемот).

– А я думал – девчонка... Давно работаешь?

– Два месяца. – Что заканчивал? Щукин назвал.

– Неправильно у нас распределяют после диплома, – сказал Паторжинский. – Да ты садись...

Щукин осторожно присел на краешек стула.

– Строитель должен начинать на стройке. Хотя бы пару лет. После того, если почувствовал вкус к проектированию – иди, садись за кульман. А не хочешь у меня на стройке остаться? С институтом договорюсь. Для молодого специалиста здесь отличные перспективы. Пустим вторую очередь и вскоре начнем третью. И жилье здесь получишь куда раньше, чем в областном центре.

– Спасибо... У меня другие планы... – выдавил Щукин.

– Ну, как знаешь. – Бегемот снова усмехнулся и зевнул. – Иди, неси чертеж.

Провожатый привычно петлял то в свете прожекторов, то в полной тьме, и Щукин едва поспевал за ним в бесконечных переходах через кучи грунта, вдоль дорожных колеи, заполненных жидкою глиной, через шаткие дощатые мостики над траншеями.

В мастерской химзащиты трещала и лучилась сварка, разбрасывая голубоватые блики на стены.

Мужчина в прогоревшем ватнике и болотных бахилах, неотличимый одеждою от работяг, но с интеллигентным лицом, взял из рук Щукина футляр, вытащил рулончик, развернул, поднес поближе к переносной лампочке, слепо горевшей под потолком,

глянул внимательно, но коротко, и отложил чертеж в сторону. Упругий рулончик свернулся, прокатился по замызганному столу и был остановлен забитой окурками алюминиевой пепельницей.

– Нормально, – сказал мужчина Щукину. – В основном совпадает.

И тут же повернулся и пошел в дальний конец помещения, где принялся что-то втолковывать сварщику.

– Ну, я пошел, – тронул Антона за плечо провожатый.

– Светает, так что обратно дорогу, надеюсь, найдете.

Щукин стоял, бестолково озираясь: он никак не ожидал такого приема. Он понимал, что могут и отругать за опоздание, но при этом жадно схватят чертеж и лихорадочно начнут изучать его, радуясь, что можно приниматься за работу. Ему это виделось похожим на кадры какого-то фильма об ударной стройке: мужчина с таким же интеллигентным лицом, как у этого распорядителя, только одетый чисто и аккуратно, вбегает в помещение, потрясая рулоном ватмана, и кричит: “Ура! Есть чертеж! За работу, товарищи!”

По-прежнему никто не обращал на него внимания – ни малейшего. Сварщики варили арматуру под будущую заливку, двое работяг нещадно лупили сувалдами по зубилам, вырубая дыры в бетонном полу. Прораб, или кто он тут был, закончив распоряжения, вернулся, присел к замызганному столу и принялся что-то писать в столь же замызганном блокноте. Закончил, закурил папиросу, сладко потянулся. На лице его были

написаны усталость и удовлетворение. Щукин шагнул поближе.

– Вы меня извините... – начал он, как ему показалось, сухим тоном оскорбленного человека, но вышло просительно. – Вы... Я что-то не понимаю... Меня, представьте, нашли после рабочего дня. Выдернули со стадиона, с отличного футбольного матча. Кстати, даже не знаю, как закончилась игра...

– Два-два, – незамедлительно откликнулся прораб, мотнув головой в сторону переносного приемника, свисавшего с гвоздя на стене.

– Да ладно, не в футболе дело! – взорвался Щукин. – Но я вижу, вы тут и без меня уже шуруете вовсю, зачем нужно было поднимать панику, хватать человека как уголовника какого-нибудь, усаживать до ночи за кульман, гнать его сюда, как на пожар?!

Прораб подчеркнуто тщательно задавил окурок в пепельнице. Помолчал.

– Да вы присядьте. Присядьте, – настоял он и помолчал в ожидании, пока Щукин сядет на шаткую табуретку. – Зачем вас гоняли, могу объяснить. Ситуация попала Паторжинскому под горячую руку. Старееет мастодонт. Имеют время от времени место вспышки гнева, как, знаете, выбросы лавы у гаснущего вулкана. А когда остыл, сам же велел начинать, не дожидаясь ваших расчетов. Ну, вот, мы и прибрoсил ориентировочно, что уже можно делать. Я же, вы видели, сверил с вашим чертежиком – ну, все там у вас нормально. Все совпадет, не беспокойтесь.

Уменьшительное “чертежик” покорило Щукина и он произнес, нажав на последнее слово:

– А если бы я вообще не привез вам чертеж? – А тогда до конца сами сделали бы. Мы же, товарищ, тоже институты кончали, – с нескрываемым ехидством произнес прораб.

– Я вам еще нужен? – Щукин поднялся с табуретки.

– Нет-нет, располагайте собой, как пожелаете. Поскольку до обратного поезда еще часов пять, можете, если интересно, посмотреть стройку. Обувь у вас, правда... – Он бросил сочувственный взгляд на густо обляпанные глиной туфли Антона. – Не для ударныхстроек коммунизма... Да! Вы же наверняка еще не завтракали? У нас тут шикарнейшая столовая. Вот там настоящий коммунизм: очень дешево, очень вкусно и громадные порции. Сходите-ка в столовую, настроение сразу поднимется. Гриша! – окликнул он одного из рабочих, колотивших кувалдами по полу. – Не считй за труд, покажи товарищу, как пройти в столовую.

– Спасибо, не стоит отрывать товарища рабочего от ударной работы на пусковой стройке, – сказал Щукин. – Найду сам. До свиданья.

Он чувствовал, что не может более ни минуты находиться среди этих людей, уверенно занимавшихся своими несложными делами. Эти люди, видно было, не мучались размышлениями над судьбой, призванием, будущим. Они вполне определились в жизни. Ему тяжело было находиться среди них.

– Как знаете, всего доброго, – вежливо откликнулся прораб. – А за чертеж спасибо. Счастливо вам!

Вадим Осипов

ИММИГРАЦИЯ В КАНАДУ

Рассказ

Свернули с тракта на узкую асфальтовую дорогу. День, с утра дождливый и серый, разгулялся. Проглядывало солнце и высвечивало желтую стерню, тростник по краям маленьких озерков, где вода мгновенно вспухала густой рябью под порывами ветра, березовые рощицы с белыми росчерками стволов. Вся эта живая осенняя картина двигалась за стеклами машины, цвела яркими, отчетливыми красками и просилась то ли на холст, то ли на фотопленку.

Каждый уголок, каждая опушка выглядели как самостоятельное произведение в пейзажном жанре и были бы воплощением идиллии земной, если бы в этих краях не проходил знаменитый южно-уральский радиоактивный след.

На одной дороге тут встретишь колючку и знаки с указанием на опасность радиации, на другой – скрытую деревню, от которой остались только старые тополя вдоль бывшей улицы, да кладбище, куда приезжают люди по родительским дням, помянуть предков, костям которых угораздило оказаться под слоем радиоактивных осадков.

Знакомый мой фотограф рассказывал, как зашел в зараженный лес, ничего о том не подозревая, и набрел

на удивительные ромашки, у которых одни лепестки были белыми, другие – синими и фиолетовыми. Он привез их домой, целый пук, и выбросил только после того, как ему объяснили, что к чему.

Но, говорил он назидательно, мы без природы сдохнем, а ей – все ничего, тем более – наши проблемы.

Знакомый татарин из местных, выжженный водкой и солнцем до кирпичного состояния, выразился короче и яснее: “Вымираем помаленьку!”

Нашей проблемой был короткий отрезок пути вокруг желанного озера, словно налитого на дно глубокой пологой воронки километров десять в диаметре, и манившего своим голубым блеском, размахом небес по горизонту и открытием охоты. То есть истинно мужским ежегодным праздником, о котором рассказывать людям несведущим и женщинам можно, лишь заранее выбрав какой-нибудь понятный и занимательный ракурс.

Края этой воронки были распаханы и засеяны разными полезными вещами, которые прекрасно росли на черной глине. В сухую погоду ехать тут было одно удовольствие. Но стоило пройти дождям, и машина вела себя на этой коварной почве, как кусок мыла, упущенный ротозеем в общественной бане. То есть выскальзывала из-под руки водителя, сползала в самые гиблые места и теряла первоначальный цвет, покрываясь грязной пеной.

Летом, после охотничьей отработки, когда выбирались с базы по грязи, при проливном дожде, пришлось дойти до греха и свернуть на край не

скошенного овсяного поля. Машина утонула в овсе по самые стекла, капот красного “Москвича” сразу стал похож на нос подводной лодки, идущей вровень с водой. Лил дождь, жизнь цвела и на капот сотнями падали мокрые зеленые кузнечики и молочные зерна в полупрозрачных пленках, тоже похожие на каких-то крылатых тварей.

На этот раз проехали более-менее, выехали на песчаный участок. Я прибавил скорость. На крыше громыхнула алюминиевая “Романтика”, самой замечательной особенностью которой была абсолютная устойчивость при стрельбе в любой степени трезвости.

– Эх, постреляем! – Андрей закинул руки за голову, устремил нос с едва заметной горбинкой в потолок, и потянулся. В руке он держал бутылку пива, из которой, по мере нарастания праздничных чувств, делал глоток-другой.

По озеру гуляли белые барашки. Боковым зрением я успел увидеть пару уток, плавающих в прибрежных тростниках.

– О, сидят, смотри, какие жирные. Патронов не жалей, у меня штук сто заряжено. Сам вертел, еще от тестя осталась банка пороха. Ничего хитрого – раз-раз и заряжаешь. Мелочь у меня, шестерка, семерка... – Андрей опять отхлебнул из бутылки.

Навстречу стали то и дело попадаться мотоциклы с коляской, трактор, какая-то “Нива”, заляпанная черной грязью.

– С покоса, наверное... Слушай, Евгенийчик, мы тут дурака валяем, а они...

– Да, причем всю жизнь, и все время – одно и то же. И никак из этого не выберутся! Осторожнее, осторожнее, камень! Дай я выйду, посмотрю ... Ого, а машин, машин!

И в самом деле, на площадке у дома стояла целая куча легковушек, уазиков, какой-то автобус, грузовик. Перед входом в гостиницу – длинный деревянный дом, сверкавший свежесвеженным фундаментом, толпились мужики в камуфляже, по виду – типичные вояки.

Началось выяснение отношений с местным начальством.

– Ну, мужики, что я сделаю, понаехали из Челябинска, и глава из района, и какие-то деятели, и все с бумагами. И селить вас некуда. Ваши свердловчане в крайней комнате, идите к ним на пол, договаривайтесь. Построение в пять. Подъем флага...

С трудом определились на двенадцатый номер, место неплохое.

С приказом об открытии охоты нервно ходил маленький, суховатый пенсионер – старейший охотник военного округа.

Около сараев валялись березовые чурбаки, колун с топором из сваренных вместе труб, разная бесхозная мелочь и стоял колесный трактор с разобранным на все составные части движком. Блок цилиндров лежал в траве метрах в десяти, синели разные бачки и трубки. Создавалось полное впечатление, что трактор этот уже не жилец.

– Вот она, Россия-то... – ожесточился Андрей. – Раскидали все по пьяни и все по фиг!

– Нет, почему, собирать будем! Рубашку порвало! – возразил ему охотовед, низенький мужичок полутатарских кровей, который появился откуда-то из-за угла гостиницы. – Здорово! Опять приехали? С лодкой? С мотором? Это хорошо, а то ветер. Второй день сети снять не можем. Не выгрести.

– А утка есть?

– Утки мало, так, лысуха... Весна холодная была, утки с гнезд ушли.

Перетащили вещи и ружья из машины в относительно чистую и опрятную гостиницу.

– Эх, все сгнило! – сказал, тем не менее, Андрей, бросая рюкзак и спальник на пол возле печи и глядя на просевший потолок. Во мне вдруг поднялось странное раздражение, как будто именно мне нужно было завтра с утра чинить этот самый потолок, и незачем лишний раз об этом напоминать. – Пошли, с улицы скамейку принесем и отгородимся от публики, а то еще на руку наступят.

На руки нам до сих пор не наступали, но гомонили охотники, бывало, долго, а однажды мы проснулись от длинного, страшного, нечеловеческого крика. Кричал наш старейший охотник, вскинувшись на койке в предраассветных сумерках.

Потом он долго извинялся и рассказывал, что это у него – с войны, и кричит он каждую ночь.

– Да разве вас не предупредили? Я, елки, молодой был. Принимать, елки, пулеметный взвод приехал... Да,

только стал представляться, а тут налет. Минометы, елки! Прихожу в свой взвод, а там – прямое попадание в землянку. Кишки по веткам висят... такого повидал – с тех пор и кричу!

Но на следующую ночь я интуитивно нашел лекарство от этого эха войны, – едва он закричал, я, мгновенно проснувшись, громко скомандовал: “Отставить!”, и все стихло...

Расположились, приняли по паре стопок.

– Ну, с прибытием! Давай, Евгенийч!

– Эх, Витаминыч, а може, подумаешь все ж?

– Место поэта – в России. Это тебе все равно, где фишки считать.

– Ну-ну, наливай!

Тут скомандовали на построение. Выстроилась разномастная шеренга охотников, человек двадцать. Остальные, видать, плюнув на традиции, уже разъехались по номерам. Но, встав в строй и подтянув живот, я почувствовал некий подъем сил и легкую гордость. Подняли флаг.

Российское полотнище заплескалось на ветру, флашток, выкрашенный в голубой цвет, задрожал. Захотелось то ли совершить подвиг, то ли крикнуть “Ура!”. Начальство произнесло прочувствованную речь о том, как важно в меру принять, но не перестрелять друг друга. Пальнули из ракетницы. Разошлись и засобирались.

– Черт возьми, у меня даже мурашки забегали! – сообщил Андрей. – Поехали кататься!

Я подогнал машину по траве задним ходом к каналу,

прокопанному через прибрежные отмели. В канале мокло с пяток полузатопленных плоскодонок и плавала более-менее ладная лодка хозяев базы, с которой выбирали сети.

Пока Андрей тащил издали в строго вертикальном положении капризный наш моторчик, я стоял у машины на истоптанной влажной земле и оглядывал озерный горизонт, простор воздуха и света, наполненный ветром, облаками и ощущением полета. И защемило в груди, пополз холодок по животу: в последний раз. И уже не услышишь знакомого голоса: “А чего ты ближе не подъехал? Давай, давай сюда! А може, еще по капельке? Это, конечно, не “Хэннесси”...

– Для смазки оптических осей?!

– Верно говоришь!

Озеро было соленым, с мутной желтовато-зеленоватой водой и с густыми тростниковыми зарослями вдоль берегов, где в лабиринтах и окнах гнездились утки и лысухи, черные водяные курицы. За горой протекала знаменитая радиоактивная речка, но вояки уверяли, что все тут замерено-перемерено, и все чисто.

– А вода-то поднялась! Где мель? По ней еще кулички ходили.

Спустили лодку на землю. Правая рука у меня отозвалась в локте резкой болью. Устроили на место решетчатые настилы, сиденья, весла. Потом дружно ухнули и, подняв “Романтику”, опустили ее кормой в воду, родимую, всеподъемную и безотказную! Закрепили мотор, оттолкнулись от берега...

И приняла нас стихия, понесла, поплыли мимо тростинки с японских гравюр, заплескалась вода, рванул ветер. Затрещал мотор, ударили тугие струи вдоль бортов. Настал тот блаженный миг единения с природой, который и дарила мне эта странная охотничья эпопея, напрочь отрывающая от привычного круга городской жизни, мелких и крупных забот, а взамен обещавшая мужскую вольницу, азарт выстрела и острые ощущения.

Евгеньич, в своем неизменном защитного цвета ватнике и старой-престарой заячьей ушанке, которая была у него чем-то вроде охотничьего талисмана, держась за румпель мотора, весь устремился вперед, блаженно прищурил глаза и, по обыкновению, заорал:

– Витаминыч, как иностранцы кричат в Большом театре? За...бис!

Что тут ответишь? Так оно и есть! Чайка расправила свои тонкие крылья над головой. Облака раскрылись перед глазами во всем великолепии, не стиснутом городскими рамками. И все при тебе, и ты несешься в глупом своем кураже, подкрепленном “Смирновской можжевеловой”, и все впереди...

Мотор взвыл, лодка сразу потеряла ход и осела в воду, потеряв стремительность. Стало ясно, что мы тут – гости, а озеро – хозяин. В борт гулко застучали волны.

– Шпонку срезало, – сообщил Андрей. – Давай плоскогубцы и садись на весла! Э, а где у нас шпонки?

Пока добирались до берега, облака окончательно раздуло, вода постепенно успокоилась, и в предвечернем свете потянулись пологие медленные

волны, натянутые, как струны величественного рояля. Быстро темнело. По зарослям шарахались от нас черные лысухи, кружился лунь, еще засветло прошла с пропеллерным звуком плотная стая каких-то мелких дружных птичек. Но не было видно ни чирков, ни жирных крякв, которые обычно пролетают вечером по своим птичьим делам.

– Вот тебе и открытие охоты!

Наконец, прилетела пара чирков и упала за стеной тростника, как раз напротив нашего номера, обозначенного табличкой на березовом черенке.

Поставили привезенную с собой “сетешку”, растянув ее в узком проливе между островком и берегом, и глубоко воткнув палку в илистое дно, а другой конец привязав веревкой к тростнику.

Поплыли обратно на базу, ориентируясь на силуэт гостиницы с наблюдательной вышкой, который постепенно сливался с темнеющим горизонтом. У самого входа в канал опять срезало шпонку. В темнотище вылезли на берег.

– Витаминыч, а винта-то нет! – растерянный Андрей светил фонариком за корму. – Он, наверное, тут и лежит, в канале!

– Да не в канале, а на той чертовой мели, которую скрыло под водой!

– А-а! Так это мы за дно и цепляли. Блин! У тебя во фляжке... давай по капельке.

Капелька вылилась в плотный ужин сначала на улице, где на капоте старой “Волги” нас угостили жареной рыбой, причем как-то сама собой добавилась наша

запасная бутылка. Потом я долго объяснялся с каким-то офицером на тему долга и Родины. Пол в коридоре гостиницы стал слегка наклонным, а разговоры – путаными и обстоятельными. Дизель вырубили, свет погас, зажгли свечку. На крайней койке кто-то храпел. Старейший охотник объявил, что сегодня не пил, и поэтому кричать не будет. Двигая скамейку, я скривился от боли в локте.

– Витаминыч, давай, я тебе рэйки сделаю! Это не моя энергия, поэтому количество выпитого на нее не влияет. Ложись, я тебе нормализую потоки. Но тут вот такая штука: водка без пива – деньги на ветер.

Выпили “Очаковского” из пластиковой бутылки.

Андрей уложил меня на свободную койку, сел рядом и мягко наложил ладони выше и ниже локтя больной руки.

– Ты ни о чем не думай, расслабься и лежи, представляй себе что-нибудь приятное.

От рук его пошло вдруг доброе тепло, по стенам бегали свечные тени, потолок плыл куда-то, как облака....

– Евгеньич, и как ты в это колдовство поверил? Ведь никогда, понимаешь...

– Лежи, молчи. Главное, действует. А как там, что там – сам сэнсэй не знает. Тебе бы тоже к нему пойти, у тебя воображение работает... ну все, нах хауз дер шлоффен... Пошли на пол!

Кажется, и не спал. Во рту все спеклось. В дверь стучали: “Подъем!”. На улице стояла темень. По всему дому хлопали двери, стучали сапоги. За окном заводили

машину, свет фар проплыл широким светлым ореолом.

– Слушай, Евгенийч, а рука-то не болит!

– Это от алкоголя! Фонарь не забудь! Держи, чай из термоса.

– Правда, не болит! Ага, сейчас на веслах пойдем!

– Я буду грести! Поехали, поехали, я у машины!

Из канала выбирались неуклюжие плоскодонки. Уже все знали, что мы вчера потеряли винт. Какой-то шутник посветил фонариком в воду и закричал: – Да вот он лежит!

Подплыли к берегу, когда уже почти рассвело. Вдали слышались выстрелы, иногда стрельба шла чуть ли не очередями.

Мы плыли на лодке вдоль изгибов тростниковых зарослей, один на корме, на веслах, лицом к носу, а другой, настороже, с ружьем. Плыли в тишине, только всплескивала вода, да постукивали весла.

Андрей видел дичь, наверное, не только глазами.

– Ну вон же она, вон, ну, стреляй, стреляй! – шипел он с кормы, когда я лихорадочно шарил взглядом и никого не видел.

Да и, по правде сказать, за несколько лет охоты поутих мой азарт.

Я помню свою первую птицу на этом же озере, когда я качался один, на зеленой плоскодонке, на утренней зорьке, и совсем было задумался о своем, когда вдруг налетела со стороны восходящего солнца четверка уток, я выстрелил, и крайняя утка отвалила в сторону, закувыркалась и шлепнулась в воду. Ветер относил ее от берега, и такое меня охватило возбуждение, что я

бросил ружье, беспорядочно забил тяжелыми веслами и стал грести так яростно, как будто предстояла схватка с каким-то соперником, который вознамерился подобрать мою добычу раньше меня!

Сейчас же я стал относиться ко всему философски и больше любовался зарей, отражениями в серой воде, размахом облачных крыльев...

Как бы то ни было, мы спалили по паре десятков патронов, взяли несколько лысух и одного чирка и нашли выход на берег, выкошенный рыбаками.

На берегу был устроена какая-то тренога из жердей, крытый сеном навес, под которым были вкопаны стол и скамейки. Мы выпили прибереженного пива, схрумкали по паре яблок и, закинув ружья на плечи, поднялись на гору, возвышавшуюся над всем озером.

Тут она и лежала, наша земля! Бледные стога толпились на косогоре, мощные деревья поднимались у проселочной дороги, и ветер летел над озером, звеня невидимыми струнами! Весь склон был изрыт чьими-то норами, не то кротовыми, не то ту жили какие-то хомяки. Жили – не тужили и обжили весь этот живописный склон, обосновались в черной земле.

Плодились, водили свои мышинные хороводы и никуда отсюда не уходили в теплые края, даже в самый лютый холод.

На самом верху горы торчал длинный кривой валун, покрытый цветными пятнами лишайников и похожий на громадную каменную щуку. Воздух вокруг него дрожал, словно от какого-то страшного напряжения, и, казалось, еще немного, и нутряная сила поперет из

горы, вспарывая землю, сшибая стога, сбрывая редкие кусты и распространяясь до самого озера, на котором тут же возникнет что-то вроде цунами. В голове слабо шумело, сказывался короткий пьяный сон, ветер обвевал лицо. В глазах все плыло и как-то странно рябило.

Андрей поднялся до последнего, самого верхнего стога, и, не сбрасывая с плеча ружья, с размаху привалился спиной к его пружинистому боку, раскинул руки и блаженно закрыл глаза.

“Вот и все!” – отчетливо сказал голос за спиной. Я повернулся на него вокруг своей оси, потерял равновесие, посыпался с горы и упал на колючую стерню всем телом, лицом вниз, ружье больно ударило по затылку, воздух хлестнул тугим жгутом и воткнулся в уши мертвой тишиной, а в глаза – темнотой...

...Ну зачем, зачем ты уезжаешь? Чего тебе тут не хватает? Какого дьявола ты бросаешь все, что построил, нажил, вырастил? Вспомни, как мы в первый раз парились в новой бане! Как сидели на листовном полке и жмурились от вечернего солнца, вливавшегося через расчетливо прорубленное оконце. Как обжигал тугой пар, и принимал к тебе жаркий веник, как ударяла ледяная вода и ты сам кричал, что это – полный кайф!

...Почему мы лежим в машине, как на весенней охоте? Или это чрево матери-природы, мирное и безопасное теплое чрево бытия? Ты брат мой, наша жизнь поделена пополам. Ты первым слушал мои новые стихи, ведал обо мне такое, о чем знают, да помалкивают. На пустом месте, на бросовой болотной

земле мы закладывали дома и сад, строили, рыли, таскали бревна. Откапывали из торфа заветную, третью бутылку. Палили вместе в одного зайца, выметнувшегося по снегу из-под валежника, после дикого, азартного бега по заснеженным горкам. Слышишь, как шумят деревья? Это лес баюкает нас в своей целебной колыбели, вместе с машиной, ружьями, лодкой, всеми грустными проблемами и маленькими радостями жизни...

...Ну да, все развалилось, рыночная экономика, металловед стал бухгалтером, четырнадцать лет работы – прахом, все вдруг стали торгашами. Но ты всегда знал, как улучшить эту жизнь, этот быт. Сделать его послушным и комфортным. Как воспитывать дочь, исходя из твоих представлений о месте и роли женщины в жизни...

... Там жизнь лучше, безопаснее, дольше? В другой, другой стране...

“Но если все на юге спрячутся, то на кого ж оставить дом?”

...Чувствуешь, как лодку качает? Нас всех сейчас так качает, что тошнит. Кто морской болезнью страдает, тот уже лежит, и молится. Или пьет до посинения. Почему те, кто может, умеет, хочет грести, у кого уже и мозоли привычные, уходят на большой корабль с чужим флагом?

... Вода лилась на лицо, на шею, холодными пальцами заползала за пазуху... Перевернутое лицо Андрея выплыло из мути, материализовалось и отделилось от

большого белого облака, повисшего надо мной. В ушах стоял водопадный шум.

– ...Витаминыч, ружьецо-то нужно на интерцептор ставить, так сказать, на предохранитель! Ты вообще не в рубашке родился? Кто по гороскопу-то, Телец, говоришь? А не козел, случайно? Ты лежи, лежи, это ты не хера не слышишь! Да нет, никого здесь нет, как бахнуло, я тебя перевернул, морда вся ободрана, лысина дымится, а ты на меня таращишься и материшься! Я уж думал, мозги тебе отшибло начисто. Так, легкая контузия...

Окончательно я пришел в себя на берегу, умывшись соленой водичкой, отчего мои ссадины опалило милосердным огнем. Тонко и противно звенело в правом ухе. Тут до меня дошло, что охота кончилась. Но Евгенийч остался верен себе. Я бы век этой сетешки не видел...

– Елки-палки, про сеть-то мы забыли. Там, наверное, рыба ведрами сидит! Такая жирная!

Подплыли к сети. Пологая волна двигалась сквозь редкий тростник и качала лодку. Я с трудом удерживал ее на месте, упираясь веслом в илистое дно. Андрей тянул сеть и выбирал рыбу. Вдруг на берегу зашумел мотор, подъехал какой-то уазик с мигалкой на крыше, и остановился прямо напротив нас. Из него вышли двое и стали пристально рассматривать нас поверх зарослей. До них было метров сто, и никак не удавалось рассмотреть, кто это такие.

Андрей вдруг выпустил сеть.

– Слушай, а если это рыбинспекция?

Он засуетился, спрятал мешок с рыбой под сидение, пригнулся к борту.

Я смотрел на него удивленно. Чего он заметался? Растерянный, испуганный...

– Ну, и...?

– Да это те же менты, им потом ничего не докажешь!

– Слушай, им нас с берега почти не видно, и вообще здесь все подряд все ловят!

И вдруг до меня дошло: у человека виза лежит в Москве, ему только протокола не хватало, и каких-нибудь крупных последствий мелкой шалости! Настроение у меня совсем упало. Ну ладно, решил я, давай поиграем в охотников. Я поднялся на ноги и заорал:

– Мужики! Вы с какого номера? У нас тут двенадцатый!

На берегу молчали.

– Евгенийч, давай, я гребу, а ты стреляешь по кустам, и делаешь вид, что там лысухи! Только над ухом не пали, а то я совсем оглохну.

Андрей поднял ружье, вскочил и шарахнул по кустам.

– Есть, попал, греби, греби!

– Вон, вон она! Ушла!

С берега молча наблюдали за этим спектаклем. Постепенно мы отплывали все дальше и дальше, обогнули мысок, другой. Не могу сказать, что я был спокоен: стояли-то они возле моей машины, оставленной на берегу.

Оказалось, что метрах в двухстах дальше по берегу был устроен причал, у которого стоял здоровенный

баркас с круто выпяченными бортами, и моторка. Три мужика сачками выгребали со дна баркаса отливавшего серебром полупрозрачного сырка и грузили его в ящики.

Мы подплыли, зацепились за жерди причала и вылезли из лодки, закинув ружья на плечи. Поздоровались, поговорили о погоде, охоте, и о том, как по пьянке падают мордой вниз.

– Рыбнадзор видели? Они как раз к вам поехали? – спросил пожилой рыбак с коричневым лицом. Мы переглянулись.

– Слушай, давай у них рыбы купим. Скажем ментам, что вся рыба – отсюда.

– А у вас рыбы можно купить?

– Давай. Ведро за десять патронов.

Мы произвели обмен андреевых патронов на еще полуживую рыбу. Опять поплыли к своему номеру.

Пожилой вдруг крикнул издали:

– Слышь! Вы рыбу-то спрячьте! Поймают – оштрафуют. Нам-то рыбу запрещено продавать. Езжайте в поселок, там на рыбозаводе ее можно купить. Там можно продавать...

Андрей плюнул в воду и вздохнул:

– Ну, давай, проверим, уехали они, или нет. Сеть потихоньку за собой утянем, смотаем как-нибудь.

– А мешок спрячем с воды в камышах, сходим потом с берега в болотниках.

На берегу никого не было, наша машина смотрела на озеро фарами. Молча погрузили все внутрь, подняли лодку, забрали браконьерский мешок. Рыбы набралось

большое пластмассовое ведро. Андрей опять занервничал:

– А куда они повернули? Стоят, небось, и ждут на дороге! Давай поедem вверх, через поля, там где-то есть другой выезд. Спрячем рыбу на шоссе, а потом поедem с базы по старой дороге и заберем.

Покатили по мягкой грунтовке, которая бесконечно петляла между горok, полей, покосов и луж. Особой радости мне эта поездка не доставила. Кое-как выбрались на асфальт, и Андрей запрятал рюкзак с ведром под придорожными сосенками.

Остаток дня потерялся в каких-то обыденных мелочах, накапливалась усталость. Пора было ехать домой.

Забрали и рюкзак с рыбой, и на рыбозаводик завернули, где этого самого сырка было море, во всех видах – сырого, соленого и копченого.

Когда выехали на тракт, ударил ветер, а воздушная волна от встречного “Камаза” так плюхнула по лодке, что мы остановились, и решили привязать корму к переднему бамперу.

Нашли в багажнике прочную плетеную тесьму, натянули ее от рым-болта на корме вниз, через радиатор.

– Евгеньич, краску-то на капоте сдерет!

– Подожди, я сейчас!

Он выскочил из машины и засунул между тесьмой и краем капота свою знаменитую заячью шапку.

– Испортишь... – начал я и замолчал.

– Не нужна больше! – коротко ответил Андрей. – Ехай!

Юрий Кузнецов

ПРОГУЛКА ЗА ГОРОД

Рассказ

В субботу, перед концом рабочего дня, Харин заглянул в библиотеку, чтобы взять английский журнал, где написано, про него, Харина Александра Игнатьевича. Дина собирала со стола газеты.

– Уже взят, – сказала она, заметив вошедшего Харина.

– Шабалин? – почти не задумываясь, спросил он,

– Угадал. Нужно было прийти тогда, когда я тебе звонила. Ну, ничего, прочитаешь после начальника. Так даже лучше, – Дина неопределенно улыбнулась и неожиданно спросила: – Ты сегодня свободен?

– Ага.

– А завтра?

– Тоже.

– Поедем за город?

– За город? – переспросил Харин и несколько минут шевелил губами, не произнося ни звука, наконец, посмотрел в окно на резко очерченные тени домов и закончил: – Хорошая идея.

– Бог ты мой! Можно подумать, что тебя кто-то принуждает. – Дина взяла со стола ключ и пошла к выходу. – Я уже передумала, Харин догнал ее около двери и, взяв за руку, придержал.

– Ну хорошо, девочка, я тебя приглашаю за город.
Где мы встретимся?

– На вокзале.

– Время?

– Шесть часов.

– Ну и отлично, – добродушно улыбаясь, сказал Харин. – Я приглашаю тебя на вокзал в шесть часов вечера.

Харин ехал на вокзал в приподнятом настроении. В его отношениях с Диной появилась определенность. Теперь он точно знал, что нравится ей, а самое главное – она ему нравится, и это радовало Харина.

И на работе постепенно все становилось на свое место. Только вот Шабалин. Станный все-таки он! Живет прошлым: книги прошлые, слова прошлые, заслуги прошлые. Мумия, а не человек. Кажется, дунь посильнее – и развалится.

Харин живо представил, как в понедельник Шабалин вызовет его к себе. Он будет в черном кителе образца пятидесятих годов с глухим воротником, одна рука за спиной, другая на животе.

– Поздравляю, любезнейший, – скажет он, – от всей души поздравляю, хотя и не ожидал. Не ожидал – это не точно. Не понимал, не верил, препятствовал – вот где гвоздь.

Харин тотчас вспомнил выступление Шабалина на ученом совете.

– ...Мысль. Ну, хорошо, а что такое мысль, товарищи?

С точки зрения марксистско-ленинской диалектики, мышление – это особая форма движения материи. Вопрос: в чем ее особенность? Ответ: в несводимости к другим формам движения. Нам здесь предлагают выяснить природу мышления. Как? Как, я спрашиваю? Узнать мысль при помощи чего? Мысли? Мысль узнает мысль? Неужели мысль обладает еще одной мыслью, чтобы узнать мысль?

Харин смотрел тогда на Шабалина, и ему казалось, что тот раздувается, увеличивается в размерах и вот-вот лопнет от умничания.

Шабалин действительно замолк, осмотрелся и, остановив укоризненный взгляд на Харине, сказал:

- Простите меня, но все это чепуха, любезнейший.
- Откуда вы знаете?! – крикнул тогда Харин.

Всех тонкостей дела Шабалин действительно не знал, но у него было то, чего не имел Харин, – опыт человека, прожившего жизнь. Неплохой нейрохирург, получивший известность во время войны, он некоторое время работал ведущим специалистом в городе. Однажды его вызвали в закрытую клинику, и он сделал операцию ответственному работнику. Во фронтовых условиях такие операции редко заканчивались успешно. А тут случилось непонятное: работник не умер, но прежняя ясность ума к нему не возвратилась. Авторитетная комиссия пришла к заключению, что Шабалин ошибся. В чем была ошибка, Шабалин так и не понял, а этот случай решил в его жизни многое. Отныне он стал делать только те операции, в успешном исходе которых был абсолютно уверен.

Харин оказался первым кибернетиком, с которым Шабалину пришлось познакомиться.

Харин окончил два института, соответственно получил два диплома – хирурга и инженера-электроника, а работу выбрал себе на стыке этих наук.

Диплом инженера он защищал на английском языке. Вопросы функциональной аналогии в мозге и машине, о которых докладывал Харин, были спорными. Защита превратилась в драку. К тому же некоторые члены комиссии не знали английского. В результате – “удовлетворительно” и то благодаря помощи руководителя проекта.

От постоянных споров у Харина испортился голос: стал хриплым, иногда переходил на шепот и от этого становился противным и вкрадчивым. Говорил он коротко и зло, не любил длиннот и, поймав основную мысль в разговоре, тотчас же переставал слушать. Он носил короткие волосы, а крупный вздернутый нос и тяжелый взгляд делали его похожим на молодого Маяковского.

Конечно, Шабалин слышал о кибернетике и раньше, до появления в отделе Харина. Слышал, но не более. Харин принес с собой ее суть:

резкую полемичность идей, гипотезы, берущие за живое. Сотрудники помоложе потянулись к Харину, постарше – отнеслись настороженно и ждали, что скажет Шабалин. А тот, просматривая разработки Харина, пытался понять логику его действий – и не мог. Она скрывалась от Шабалина за частоколом интегралов и теоремами теории вероятностей.

И тогда Шабалин сказал свое слово на ученом совете.

На каждой остановке в троллейбус садились люди. Увидев освободившееся место, Харин прошел вперед и сел. Несколько минут он сосредоточенно смотрел перед собой, потом улыбнулся, чуть-чуть разжав губы. “Видимо, правду говорят, что нет худа без добра”, – подумал он.

...Весной, в разгар опытов на обезьянах, ему позвонил Шабалин и попросил приостановить работу на день. Харин согласился, отпустил лаборантов по домам, а сам стал рассматривать осциллографические кривые. Опыты были пока необнадееживающие: половина удачных, половина неудачных. Что это: полууспех или полупровал?

Очень хорошие результаты получились в опытах на молодом шимпанзе Скау¹ – так Харин назвал его за строптивый характер. Скау постоянно обрывал вставленные в разные участки головного мозга тонкие серебряные проволоочки, и перед каждым опытом их приходилось наращивать снова.

Харин подошел к клетке. Шимпанзе улыбался, обнажив два ряда ровных желтых зубов. Жесткие черные волосы, разделенные на прямой пробор, торчали по сторонам, почти не прикрывая оттопыренных ушей.

– Выручай, дружище, – прошептал Харин, наблюдая за развязющимся Скау, – выручай!

Утром на следующий день он нашел свою комнату опечатанной; на двери – замок и дощечка с сургучной

печатью. Харин пошел к начальнику караула и потребовал объяснения. Тот сослался на Шабалина.

По пути к Шабалину Харин заглянул в лабораторию. Она преобразилась. Откуда-то принесли цветы, на сотрудниках новые халаты. Сонечка Милованова, аспирантка Шабалина, стирала пыль с приборов.

– В чем дело. Соня? – поинтересовался Харин.

– Ты не знаешь?

– Нет.

– Ждем английскую делегацию.

Харин выскочил из лаборатории и ворвался в кабинет Шабалина.

– Это еще что за шуточки? – спросил он.

Шабалин что-то писал. Увидев Харина, он встал, распрямился, опустил руки по швам и, вытянув лысую голову из накрахмаленного воротничка сорочки, поправил галстук.

– Это не шуточки, а здравый смысл. Да вы садитесь.

Харин не сел. Он молча подошел к столу, разглядывая Шабалина, его новый однобортный костюм, длинные, почти до колен руки, вытянутую вперед голову на короткой шее. “Австралопитек, – подумал Харин и усмехнулся. – Австралопитек и есть”.

– Вы же знаете, что, мягко говоря, ваша работа далеко не закончена, – сказал Шабалин. Харин молчал.

– А незаконченные работы мы не имеем права показывать, тем более работы сомнительного характера.

Харин молчал.

– Наконец, вы же знаете, что нельзя показывать то,

что может скомпрометировать советскую науку. Надеюсь, вам это не безразлично?..

– У меня там Скаундрэл, – срывающимся голосом произнес Харин.

– Простите, кто?

– Негодяй.

– Кто негодяй? – Шабалин вздрогнул и, резко подавшись вперед, замер.

– Скаундрэл.

– Что? – машинально переспросил Шабалин, опускаясь в кресло.

– Шимпанзе “Скаундрэл”.

Последнее Шабалин, кажется, уже не слышал. Он смотрел на Харина отсутствующим взглядом и, видимо, думал о чем-то своем, имеющем лишь приблизительное отношение к этому идиотскому разговору.

– Ну и что? – уже строго спросил он после некоторого раздумья.

– Скау через час нужно кормить.

– Не умрет.

– У него рефлекс, понимаете, рефлекс вырабатывается!

– Понимаю, – сказал Шабалин. – Понимаю, – задумчиво повторил он. – Кормите, только плотно закройте дверь.

Покормив Скау, Харин закрыл лабораторию. Думать не хотелось – мешало глухое раздражение. Харин зашел в библиотеку, перекинулся несколькими фразами с

Scoundrel (англ.) – негодяй.

Диной, посмотрел стопку газет. Потом он часа три слонялся без дела по комнатам, мешал наводить порядок, ехидничал и саркастически улыбался.

– Миша, – приставал Харин к Михаилу Левченко, медлительному великану, правой руке Шабалина, – ты слышал, какое коленце выкинул шеф?

– Да.

– Что скажешь?

– Если ты считаешь, что Шабалин не прав, пойди к директору. Он, по-моему, к тебе хорошо относится.

– Ну, а ты сам как думаешь?

– Я, Саша, не знаю. Почему не уйдешь в институт кибернетики?

– Там туго с обезьянами, а здесь есть даже австралопитеки.

– Зачем ты так? Шабалин по-своему хорош.

– Хорош гусь, правда, Сонечка? – уже наседая на Милованову, сказал Харин.

– Не знаю, Саша.

– Она тоже не знает. Миша, Сонечка! Я устрою для вас цикл лекций: кибернетика и ее применение в народном хозяйстве.

В час дня появились те, кого ждали. Они въехали в институтский двор на нескольких автомашинах. А еще через час они появились в комнате, где сидел Харин.

Сначала вошли гости, потом Шабалин, за ним Эмма Броницкая, переводчица из институтского бюро.

Шабалин вышел вперед и начал рассказывать. Эмма переводила. Харин сидел в углу комнаты за цветком и рассматривал гостей. Их было двое. Старый

меланхоличный человек внимательно слушал Шабалина и часто задавал встречные вопросы. Второй, высокий длиннолицый метис, казалось, совершенно не слушал. Он только смотрел. Он смотрел на приборы, на цветы, на новые халаты сотрудников, на портрет академика Павлова, на Сонечку Милованову. Посмотрел он и на Харина.

Эмма довольно бойко переводила. Иногда, правда, неточно. А на словах “нейронное влияние гуморальной природы” она споткнулась, неловко посмотрела на Шабалина, потом на Харина.

– Так и переводи, – буркнул Харин и перевел.

Метис обернулся. Он подошел к Харину и протянул ему смуглую мягкую руку.

– Хэнфи, – коротко произнес метис, с нескрываемым любопытством рассматривая Харина.

Они начали говорить по-английски, задавая поочередно вопросы друг другу. Это было похоже на пристрелку. Потом они накрыли цель, нашли общую тему – Хэнфи работал над тем же, что и Харин. Их

остановил Шабалин, до этого беспомощно стоявший с листком в руке. Он раздраженно сказал, обращаясь к Харину:

– Не мешайте. У нас все регламентировано.

Метис оживился. Он попросил Харина перевести слова Шабалина. Харин пожал плечами и показал на часы. Метис замотал головой. Од жестом подозвал к себе переводчицу и попросил у Шабалина разрешения ознакомиться с работой Харина. Шабалин промолчал.

Без десяти шесть Харин остановился около вокзала. Дины еще не было. Он прислонился к колонне, закурил и стал наблюдать за подъезжавшими к вокзалу троллейбусами.

... С Диной Харин познакомился на новогоднем вечере в институте.

Он стоял у входа в актовый зал и исподлобья широко открытыми глазами рассматривал незнакомую девушку в черном платье, ее короткую фасонистую прическу, красивую шею и голубоватую от ламп

дневного света кожу открытых плеч.

“Вот это да”, – подумал Харин, и ему стало хорошо оттого, что в зале действительно весело, что через час все будут слушать бой московских курантов, что он видит в этот предновогодний час девушку, каких еще никогда не видел, и она загадочна для него, как вновь открытая звезда для астрономов.

Харин пригласил девушку танцевать и между прочим выяснил, что звать ее Дина, что она недавно поступила в институтскую библиотеку, что она уже слышала о Харине. Потом он обнял ее в пустом коридоре. Просто так, ради спортивного интереса. Она не сопротивлялась, только держала обеими руками новогоднюю прическу, только смотрела? на Харина из-под полуопущенных вздрагивающих ресниц.

Остаток вечера Харин провел в одиночестве, наблюдая из угла за танцующими. Он тревожно вертел головой, усмехался, бросал шуточки налево и направо, стараясь не придавать, случившемуся значения, но это

ему удавалось плохо: что-то неясное заставляло Харина отыскивать взглядом короткую стрижку Дины и следить за каждым ее движением. Домой Харин ушел один.

Сразу после Нового года Харин заглянул в библиотеку. “Выясню обстановку и уйду”, – решил он, но, заметив пристальный взгляд, Дины, отчего-то смутился и сказал первое, что пришло в голову:

– Мне бы что-нибудь почитать.

– Что именно? – строго спросила Дина.

– Я полагаюсь на ваш вкус.

Дина подала ему книжку в тонком бумажном переплете.

– О внешней и внутренней культуре, – прочитал он.

– Можно и про культуру, – продолжил Харин, растягивая слова. – Хорошо, – сказал он. – Я прочитаю эту книжку, и при случае мы с вами обсудим.

Недели две Харин не показывался в библиотеке. В это время он получил первые положительные результаты на Скау. Успех обрадовал Харина, и он целыми сутками пропадал в лаборатории. Вот почему забежавшей на минутку Соне Миловановой стоило большого труда сплавить ему лишний билет в театр.

На спектакль Харин опоздал, и в зрительный зал его не пустили. Тогда он спустился в буфет и все первое действие просидел за бутылкой пива, перебрасываясь короткими репликами с хорошенькой буфетчицей.

В антракте Харин поднялся наверх и стал искать в карманах билет. В это время его окликнули, Харин поднял глаза и увидел сначала Дину, потом Соню

Милованову, Михаила Левченко и еще несколько знакомых. Он пошел к ним, все время поглядывая на Дину.

– Саша! Са-ша! – Соня дернула Харина за рукав. – Ты где был?

– Немножко опоздал, – медленно, стараясь не смотреть на Дину, сказал Харин.

– Ты в своем репертуаре.

Со звонком Харин занял место в партере. Сначала он следил за происходящим на сцене, потом закрыл глаза и стал слушать музыку; она звучала ненавязчиво, чуть приглушенно, и временами Харин находил в ней отзвук собственного настроения.

После спектакля он увидел Дину в раздевалке. Вышли они вместе. На улице стоял добрый январский мороз. Светильники были окутаны легкой дымкой. Дина шла молча, не оглядываясь и не поворачивая головы. “Если сядет в трамвай, не поеду”, – решил Харин и замедлил шаг. Но она прошла мимо остановки.

Около перекрестка Дина, наконец, повернулась к Харину лицом. Он смотрел на нее как тогда, на новогоднем вечере – исподлобья. Она улыбнулась.

– Забодать хотите?

– И забодаю, – дрожащим голосом сказал Харин.

– А рога сломаете?

– Подожду, пока новые вырастут, и снова попробую.

– Чудак человек! Пока вы свои рога будете растить, многое может измениться.

– Действительно. Я об этом как-то не подумал, – сказал Харин. Несколько метров они прошли молча.

– В библиотеке я часто слышала вашу фамилию, – Дина немножко помедлила. – Звучная, запоминающаяся и чуть-чуть противная. Я спросила у Марии Ивановны, кто этот Харин. Она сказала, что лично ей вы кажетесь симпатичным молодым человеком. Чудно как-то, правда?

– Да, – согласился Харин.

– Вы в тот вечер испортили мне настроение на целый год, – Дина грустно улыбнулась.

– У меня оно тоже неважное, – сказал Харин. Дина рассеянно посмотрела на него и ничего не ответила. Видимо, то, о чем она говорила, целиком занимало ее мысли.

– Я стала листать ваши отчеты, статьи, выступления. Из них я пыталась понять, что вы за человек.

– Ну и нашли что-нибудь?

– Нет, – Дина замедлила шаг, подняла на Харина глаза и спросила: – Скажите, Саша, чего вы хотите?

– То есть?!

– Вообще...

– Жить, – не задумываясь, ответил Харин.

Дина склонила голову набок и с интересом посмотрела на него. Он поймал ее взгляд и, истолковав его по-своему, добавил:

– И еще я хочу, чтобы вы на меня не сердились.

– Это проще простого, – улыбнувшись, сказала Дина. Они остановились около большого пятиэтажного дома. Дина засунула руки в карманы, посмотрела вверх.

– У нас еще свет. Спасибо, Саша. До свидания.

Оставшись один, Харин переступил с ноги на ногу и

почувствовал, как ноют обмороженные пальцы. Из-за поворота показался трамвай. В вагоне Харин сел, снял полуботинки и поставил ноги на теплый бок калорифера.

Еще студентом в такой же мороз он пошел провожать с вечера третьекурсницу-медичку с золотистыми волосами. Собственно, только волосы он и запомнил. Харин проводил ее на самый край города. Около дома она сказала “спасибо” и ушла. А он, пока добирался до общежития, успел обморозить пальцы ног. Ту медичку Харин больше не видел.

Он вспомнил эту историю десятилетней давности и невесело улыбнулся. Но Дина никуда не уйдет. Сегодня, правда, она была сдержанна. Ну что же, на все требуется время. И Харин его не пожалеет, он постарается заработать честным путем все то, что авансом получил в новогодний вечер.

Вскоре Харин узнал, что Дина учит английский язык, и вызвался ей помогать. Закончив работу, он поднимался в библиотеку, садился напротив Дины и пел хриплым голосом:

– Динара, дина-а-ара.

Дина от души смеялась, и Харину было приятно слышать ее смех.

Однажды Харин сильно задержался. Приоткрыв дверь библиотеки, он увидел Дину. Она сидела за столом и шевелила губами, видимо, тренируясь в произношении. Дина повернула голову в его сторону, неловко улыбнулась, почему-то встала.

Он подошел к ней близко, ближе, совсем близко, и

теперь уже ничего нельзя было различить, кроме ее расширившихся зрачков.

– Саша, ты хороший? – зачем-то спросила она.

– Угу, – прошептал Харин, стараясь поцеловать ее в плотно сомкнутые губы.

– Сюда могут войти.

– А если бы не вошли...

– Не нужно.

– Предвззудки.

– Кто-то идет...

По коридору действительно кто-то шел. Харин отпустил Дину и, повернувшись к двери спиной, стал ждать. Звякнула дужка у ведра.

– Уборщица, – тихо произнес Харин. – Так на чем мы в прошлый раз остановились?

– У меня все вылетело из головы, но, кажется, на временах.

– Верно.

– Ты почему задержался?

– Приезжали англичане, а потом с шефом у директора выясняли отношения.

– Поссорились?

– Было дело.

– Из-за чего?

– Это давнишний спор.

– Ну и расскажи мне о нем, – Дина уперла руки в подбородок и приготовилась слушать.

– Понимаешь, девочка, мозг современного человека перерабатывает информацию, в несколько раз больше, чем сотню лет назад – Харин сказал это

неожиданно высоко для своего испорченного голоса. Он отвернулся, откашлялся и уже обычным голосом продолжал: – В то же время известно, что нервная система, как и всякая другая система, имеет предел нагрузки. Скажем, животное не может иметь вес больший, чем позволяют его ноги; размер дерева ограничен механизмом переноса солей от корней к листьям; подвесной мост может рухнуть, если его длина превысит некоторый предел. Возникает любопытная мысль, что мы, возможно, тоже стоим перед одним из таких природных ограничений, когда эффективность специализированных органов мозга начнет уменьшаться.

Харин увлекся. Его голос опять стал срываться.

– А коли так, то я хочу знать, когда ЭТО может случиться. А мне говорят: мистицизм, механицизм, витализм. Антидиалектично. Отождествление органического и неорганического.

Харин внезапно умолк.

– Я, наверное, не все поняла, – Дина задумчиво посмотрела на Харина, – но я хочу знать, Саша, одно: почему тебе все мешают работать?

– Некоторые, – уточнил Харин и добавил: – если бы все, я бы не работал.

Харин заметил Дину издалека и тут же потерял в толпе. Она выросла перед ним неожиданно, разъединив прикуривающих мужчин, Харин мельком осмотрел ее остроносые туфли, шоколадного цвета брючки, белую блузку и удовлетворенно хмыкнул. Она передала ему

большую треугольную сумку, взяла под руку и, поглядев на вокзальные часы, спросила:

– Ты не сердишься? Я, кажется, опоздала.

– Нет, – успокоил ее Харин.

Они пошли на платформу через тоннель навстречу потоку людей. На платформе Харин вспомнил, что у него кончились сигареты, и подошел к ларьку. Дина остановилась у вагона. Отрывисто прогудел проезжавший с другой стороны платформы маневровый электровоз. Харин вздрогнул и, резко обернувшись, посмотрел на Дину. Их взгляды встретились, и они оба поняли, что чего-то ждут друг от друга.

– Куда мы едем? – спросил Харин, когда они зашли в вагон.

– К моему деду на пасеку. Тебя это устраивает?

– А чего, можно и на пасеку, – тягуче произнес Харин, поудобнее устраиваясь в кресле, обшитом красной искусственной кожей. – Ну что там англичане про меня пишут?

– Я только посмотреть успела эту статью – пришел Шабалин.

– И все же?

– Тебя хвалят: мистер Харин, несомненно, один из талантливых советских нейрокибернетиков.

– Так и написано? – неопределенно прохрипел Харин.

– Ты доволен?

– Только будущей работой.

Дина медленно закрыла глаза. Она простила Харина за бестактность, начисто отмечающую ее на второй

план, и подумала о другом, более важном, чем обычная женская щепетильность.

– О, господи! Работа, работа, а где результаты? Статья в английском журнале. Но ведь ты живешь не в Англии! Это у тебя от эгоизма, Саша. Ты со всеми испортил отношения, тебя не любят в институте, зажимают. Делай, как все, и ты будешь академиком.

Ровно стучали колеса. За окном мелькали телеграфные столбы” мелькали километровые столбы, отталкиваясь от электрички, бешено мчалась назад земля. Дина говорила негромко, но уверенно:

– Хорошо было графу Льву Толстому иметь свое мнение. А тебя согнут, Саша, не дадут работать. Неужели ты этого не понимаешь! “All covet, all lose”¹ – так, кажется, Харин?

Дина спохватилась и замолкла, но было поздно.

– Все это я уже слышал, – низким надтреснутым голосом сказал Харин и замкнулся.

Что-то большое и ершистое встало внутри него на дыбы. Зажмурившись, он попытался уяснить смысл своей жизни в высшем, высочайшем смысле и полностью ушел в себя. Такие моменты бывали у Харина, и он их любил. Когда вдруг перестаешь чувствовать настоящее, весь устремляешься в будущее и, опираясь на прошедшее, стараешься оценить с абстрактных позиций голого рассудка каждый свой шаг.

Настоящее возвращалось к нему медленно и одной стороной, комната, беспорядок в книжном шкафу,

¹ Всего желать – все потерять. (Англ.)

схемы будущих установок. Его начало знобить. Харин знает и это состояние душевной наэлектризованности – так у него всегда бывает перед работой.

И вдруг он подумал, что совсем мало знает о Дине: единственная дочь в семье заслуженного деятеля искусств окончила библиотечный вуз. “Не густо”, – решил он и с интересом уставился на Дину.

Через два часа езды они сошли на дощатую приподнятую над землей платформу. Пахло мазутом и сухой травой. Слева от платформы в небольшой лесок шла проселочная дорога.

К пасеке они подошли к вечеру. Еще издали увидели человека, пристально смотревшего в их сторону из-под руки.

– Здравствуй, Динушка, – сказал он и, посмотрев на лобастого и большеголового Харина, добавил: – Милости прошу к нашему шалашу.

– Познакомьтесь, – сказала Дина.

Харин пожал протянутую ему руку еще крепкого с виду старика.

Дина с дедом сразу же ушли к домику, а Харин остался на месте, устало опустил на свежеструганные доски, для ульев и притих.

Пасека была огорожена березовыми жердями, а проходящая по ее территории дорога рассекала стройные ряды ульев на две половины.

Харин смотрел на голубые крыши ульев, на мелькавших в воздухе пчел и с наслаждением вдыхал ароматный воздух. Было по-вечернему тихо, лишь ровный гул пчел шел от пасеки. Розовое солнце уходило

за лес, расчесав лохматые вершины деревьев полосками яркого негреющего света. От земли шло тепло, но Харина знобило. Он почти не воспринимал окружающей его природы, сосредоточив все внимание на том, что он оставил в городе и с чем расстался только на один день. Харин сидел до тех пор, пока его не позвала Дина.

В избушке, оказавшейся неожиданно просторной, Харин с дедом выпили по кружке крепкой, как ликер, медовухи, закусила намазанным на кусок хлеба медом.

Потом дед ушел в пристрой к избушке, как он называл его, – видимо, желая угодить Харину, – в “медовую лабораторию”, пообещав устроить завтра экскурсию по пасеке.

Харин устало потянулся, окинул взглядом плохо обструганную кровать, накрытую чистой простыней, керосиновую лампу под потолком, старый диван и вышел.

Была середина июля, и липы цвели. Еще вечером, сидя на досках, Харин заметил желтоватые липы, усыпанные черными точками пчел. А сейчас он полной грудью вдыхал этот нежный, ни с чем не сравнимый запах, проникающий под одежду, в легкие, и у него закружилась голова. За дальним леском вспыхивали зарницы, будто фары невидимого автомобиля подсвечивали небо. В перерывах между вспышками были видны далекие зубчатые звезды.

Когда Харин вернулся, Дина уже лежала. На спинке кровати висели ее брюки и белая блузка. Она дышала ровно, открытым ртом. Харин медленно разделся и лег

на диван. Старые пружины заскрипели так, что заломило зубы. Потом Харин слушал, как тихо шумят липы, ночные жуки стучат в окно, и чувствовал, как кружится земля на громадной скорости вместе с диваном, избушкой, Хариным, Диной, дедом, пасекой.

Спал Харин плохо.

Проснувшись перед рассветом, он слышал, как плакала Дина. Харин слушал этот плач, лежа на спине с открытыми глазами. Потом он повернулся на бок, увидел женщину, прикрытую до пояса простыней, хотел встать, но неожиданно вспомнил разговор в электричке и где-то прочитанные слова, что мозг человека, вероятно, действует по принципу:

“что три раза скажу” – тому верь”.

“Черта с два”, – подумал Харин. И тогда опять закружилась земля, и закружился он и полетел вместе с землей в черную холодную бесконечность.

Утром Харин долго вспоминал прошедшую ночь, запахи лип, ночных жуков, глухой плач Дины и кружение земли. Он думал о Городе, о своей комнате, о шимпанзе Скау, о новой схеме, в которой чего-то недостает. Так он лежал долго, пока не почувствовал, что вот сейчас он “нашел то самое, единственное, которое он долго искал, и от чего раньше мысль отскакивала, как капля воды от раскаленного металла.

– Я уезжаю, – сказал Харин и не услышал своего голоса.

– Я уезжаю, – сказал он, и хриплый испорченный голос повис в избушке.

Дина повернулась к нему, слегка приподнявшись на

локте, когда он уже оделся. Ее нижняя губа по-детски обидчиво вздрагивала.

– Я думала, ты лучше. Зря я тебя убеждала. Ты раб самого себя. Эгоист до корней волос.

– Раскусила! Наконец раскусила! – сказал Харин, с наслаждением прислушиваясь к самому себе.

Дина устало прикрыла покрасневшие глаза и отвернулась к стене.

– Пока, – сказал Харин и вышел.

Он уносил с пасеки настоянный липовым цветом воздух, жужжание пчел, разобщенность человеческих душ и нестерпимое желание работать.

Борис Фурманов

АЛЬМА МАТЕР

Главы из “Семейной книги”

Помахав рукой и повернувшись спиной к городу школьных знаний, я оказался перед выбором, куда идти дальше. В какой институт? Это было без вариантов – УПИ. Один из крупнейших и известных институтов страны и под боком. На какую специальность, вот вопрос?

Я определенного желания не имел, каких-то наклонностей – медицина, учительствование, радиотехника – не проявлял. Оставалось строительное дело. Для мамы специальность не имела значения, главное получить высшее образование – это – мечта ее жизни. Для отца обсуждать специальности не имело смысла: дед был каменщиком, сам он строитель, надо продолжать строительную династию.

На том и порешили наш семейный совет и семьи моих дружков: Трофимовы и Панковы. Мы вместе уезжаем в институт на день открытых дверей, на сдачу документов в приемную комиссию. Настроение наше поднялось, когда увидели, что конкурс на стройфак подходил к семи.

Сдавать нужно было пять экзаменов, в их числе и “любимые” предметы: русский и немецкий языки. Институт поразил масштабом главного корпуса и очень

понравился. Учиться в нем захотелось, теперь только бы поступить. Готовился вовсю, каждый день проходил столько, сколько устанавливал сам себе, чтобы успеть все.

Первым экзаменом был русский письменный. Когда на вывешенных внизу листочках с фамилиями тысяч поступающих я нашел свою и напротив нее 4, то очумел от радости. Надо же, при списывании не допустил ошибок. Со следующей математикой было все ясно.

Сдача физики запомнилась. Экзаменатор даже наклонил вбок голову и с удивлением слушал, как я чеканил формулировки. Но в этом блеске его что-то не устраивало, больно все гладко, не очень натурально. Он колебался, какую из высоких оценок поставить, и решил задать вопрос на сообразительность – от ответа на него, и будет зависеть результат. Я замер, так как слово “сообразительность” никогда не предполагалось на уроках физики. Что это могло означать?

На листе бумаги, уже держа голову вертикально, он нарисовал две окружности: одна значительно больше другой. Одну назвал землей, а маленькую – предметом, приближающимся к ней, и спросил: “Что будет происходить с весом предмета при приближении к земле, как он будет изменяться?” Зная про знаменитую формулу Эйнштейна, я без затруднения ответил, что вес станет возрастать. Экзаменатор кивнул с удовлетворением, но его закавыка была закопана

глубже. “А если предмет будет проникать в землю, что тогда?” – спросил он.

“Это как?” – ответил я вопросом. “Например, предмет станет опускаться в шахту” – продолжал он. Формула Эйнштейна в этом случае не срабатывала, а развитием нашей сообразительности физик не занимался. Я в итоге ошибся. Экзаменатор сказал: “Нет, вес станет уменьшаться, так как вышележащие слои станут предмет притягивать к себе в обратную сторону”. Я все моментально понял, но судьба оценки решилась в пользу четверки.

Самым же памятным событием стала сдача экзамена по немецкому языку. Мы пришли на сдачу с Пайковым, и к нам присоединился Данька Мендельсон, ученик нашего класса, решивший связать жизнь со строительством. Немецкий он знал намного лучше нас. Вместе взяли билеты, стали готовиться к ответам. На сдачу он пошел первым. Отвечал и получил... двойку. Такое не могло и присниться, что же тогда делать нам?

Следующим идет Панков и терпит полное фиаско. И тут экзаменатор спрашивает: “Вы в какой школе могли учиться?” Анатолий называет нашу школу и слышит в ответ: “А, тогда понятно. С этим предметом в вашей школе проблемы. А Мендельсон из вашей школы?” Ответ утвердительный. Экзаменатор задумался, решая нашу судьбу. Затем ставит Панкову тройку. Смотрит мои письменные ответы, качает головой и ставит тройку. Мендельсону он оценки не исправил, тот не поступил, и потом у него не очень ладно сложилась жизнь. Вот ведь как бывает.

Мы же с Панковым после сложения всех оценок получили полупроходной балл. Такой же оказался и у Трофимова, которому по немецкому языку заочно каким-то образом была выставлена тройка. Полупроходной – это такой балл, когда для укомплектования набора берут только часть абитуриентов, отдавая предпочтение ребятам и особым обстоятельствам. У нас этим обстоятельством являлось то, что мы все были из семей строителей.

Пока решался вопрос о зачислении, переживали и мы, и родители. В Первоуральск со стройфака приезжал преподаватель, знаю, что он встречался с отцом у нас дома за столом с бутылкой водки...

Из-за тройки, полученной на вступительных экзаменах, стипендия мне не давалась. Место в студенческом корпусе №5, относившемся к стройфаку, институт не выделил. Проживание в общежитии предоставлялось особо нуждающимся, с низким доходом на члена семьи. В Пионерском поселке – частном секторе города Свердловска, в километре от института родители снимают комнату, в которой кроме меня с друзьями Панковым и Трофимовым, живут еще двое. Удобства отсутствовали, и по вечерам глубокой осенью с прохладой и чистым звездным небом, мы выходили перед сном во двор и пели популярную тогда песню, слова которой подходили к нашим условиям: “Здесь под небом чужим я как гость – нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих в даль”.

Через месяц родители забирают меня из-под “чужого неба”, и я оказываюсь почти в центре города на улице Луначарского № 183. По узкой тогда улице в двух направлениях ходили трамваи. Деревянный домишко с воротами и двором принадлежал семье геологов, вечно находившихся в командировках. Сразу при входе стояла печь. Когда в выходной меня навещали родители, они привозили с собой вязанку дров. Всегда было очень холодно, я жил один и продержался первый семестр. Сдав зимнюю сессию на повышенные оценки, получил возможность переместиться в студенческое общежитие, где началась новая для меня коллективная жизнь. К учебе я относился исключительно серьезно, после записи лекций дома даже переписывал их начисто. Читал, записался в музыкальный лекторий, где увидел впервые инструменты и послушал исполнение на них.

Записался в драматический кружок стройфака. В нем нас оказалось трое: старшекурсник Вадим Балицкий – красивый, высокий, разбитной парень, Людмила Михайлова – студентка из одной со мной группы, очень энергичная девушка, жизнерадостная, развитая, эксцентричная, не особенно миловидная, но смотрелась эффектно, и последним был я.

Наш художественный руководитель подобрал из богатого репертуара пьесу на трех исполнителей. Взял он “Медведь” А.П. Чехова. Главные герои по ходу действия много ругались, а потом не без удовольствия переходили к поцелуям. С каждым разом игра у них

получалась все лучше, особенно концовка, к которой они обоюдно стремились.

Моя роль была эпизодической, с моими физическими данными я не мог в этой пьесе претендовать на большее. По общему же развитию мне было далеко до героя-любownika. Выучил я небольшой текст и вживался в образ старого слуги. Подглядывал на улице за стариками и что-то брал для себя. Когда шел пешком, то десятки раз повторял слова, меняя интонацию, походку и жесты.

Ближе к весне началась конкурсная часть на сцене актового зала института. Конкурсную комиссию возглавлял режиссер Свердловского драматического театра Виленский. Самодеятельные представления давали драм-коллективы всех факультетов института, их было больше десятка. В зале находились зрители. Из театров города привезли костюмы, приехали профессиональные гримеры. Теперь нужно было только появиться на сцене и не упасть в обморок от волнения.

Некоторые коллективы оказались многочисленными, по полтора десятка исполнителей. и наша троица чувствовала себя обреченной. И все же мы отыграли. В конкурсной комиссии при обсуждении возникли споры. Все признавали, что “Медведь” был поставлен и сыгран лучше других, однако в нем занята очень малочисленная труппа, а значит, на стройфаке нет массового охвата самодеятельностью студентов.

Все же класс игры победил, и лауреатами среди коллективов факультетов института признали нас.

После оглашения результатов, которые группа наша не могла и предполагать, Виленский устроил разбор спектаклей. Было высказано много лестных слов о нашей игре, а когда речь зашла о слуге, то он выразил восторг по поводу игры студента, и попросил показать меня. Показали уже без грима. Он добавил, что не верит тому перевоплощению, свидетелем которого был сам. Мне почудилось, что после сказанного он заберет меня сразу с собой и не даст доучиться.

Однако пережитый успех жизнь не изменил. В театр не забрали ни сразу из зала, ни потом, когда улеглись страсти. Драмкружок распался. После достигнутого мне повторять не хотелось, все уже было, зачем тратить время. Больше я никогда не пытался играть, оставаясь всегда только самим собой. Героиня и герой пережитые на сцене отношения перенесли в реальную жизнь, они вскоре поженились, и у них появился ребенок. Потом Люда с Балицким разошлась. Лет через сорок она звонит мне в Москву из Кургана и просит помочь сыну в его предпринимательских делах. Тот приходил ко мне на работу, побеседовали, помочь я ему не смог, но прошлое вспомнилось.

Экзамены первой и последующих сессий шли без троек. Сдача на высокие оценки еще не была гарантией получения стипендии. Это зависело и от дохода семьи. Ежегодно представлялись справки от организации, где работал отец. Одна из них за февраль 1958 года сохранилась. “Дана для представления в УПИ в том,

что Фурманов А.Р. действительно работает начальником Первоуральского управления строительством и его месячный оклад выражается в сумме 3000 (три тысячи)рублей”. И все же на старших курсах стипендию давали независимо от заработка родителей.

Иногда по воскресным дням родители с моей сестренкой Талой приезжали в Свердловск, и мы обязательно вместе обедали в ресторане “Ермак”, что прямо на центральной площади города, рядом с драмтеатром. Заказывали солянку сборную, всегда вкуснейшую, мясное блюдо и компот. Для себя отец добавлял грамм 150 водки. Это были великолепные обеды, стоившие тогда на всех около ста рублей. В ресторане было пустынно и тихо.

Учебный поток объединял пять групп по 25-28 студентов в каждой, из них около половины девчонок. Занятия для потока в целом проходили в так называемых римских аудиториях, которых было четыре, а занятия групп – в разных небольших аудиториях. Во время учебы мы были кочевниками. Все радовало и всем восторгался: студенческая столовая, буфет, сатирическая газета “Бокс”, преподаватели, студенты, образ жизни.

Появление в учебном процессе студенток осложнений не вызвало, отношение к ним ко всем было братским. Группа наша С-122 оказалась дружной, большинство в ней были свердловчане. Иногда собирались у кого-нибудь на квартире, больше на начальных курсах, и благочинно проводили время. Например, у Краюшкина Владимира Сергеевича читали книги, говорили, спорили, пили чай.

Первое время отношение к городским было настороженным, и выглядели они иначе, и крут интересов у них другой, и чувствовал, что многим из них в знаниях общего плана уступаю. Но очень быстро все изменилось, наша деревенская закваска давала себя знать, и желание не отставать устраняло разницу. Увлекался в это время Есениным, много учил наизусть его стихов, в том числе поэмы “Анна Снегина”, “Черный человек”.

В нашей группе в отличие от других оказалось сразу два великовозрастных студента, и они воспринимались родителями: Борис Верхоглядов, отслуживший в армии много лет, он и пришел в военной форме, и Иван Петров – гражданский человек, ставший бессменным старостой класса.

Они имели большой жизненный опыт, были цементирующей основой, и привносили в жизнь группы благоразумие и нацеленность на дело. Мне кажется, что их присутствие незаметно оказывало доброе воздействие на коллектив. Может потому, что это наша группа, а к ней у меня бережное отношение, но равной ей не было. Одну группу мы звали детским садом, были группы, где случались осложнения, проступки. В нашей все годы прошли ровно, тепло, по-братски.

Общежитие стройфака, в котором я оказался, именовалось студенческим корпусом №5, стоявшим на пересечении улиц Мира и Малышева. Со своими

школьными друзьями Панковым и Трофимовым мы разошлись, оказавшись в разных учебных группах одного потока. Первая комната в общежитии на первом этаже поражала размерами и числом проживающих. Обитало нас в ней человек двенадцать. Кровати примыкали к боковым стенам торцами, стояли они и вдоль двух окон, а в центре оставалось свободное место для стола. Были еще прикроватные тумбочки и открытые вешалки для одежды. Подбор проживающих оказался случайным – второкурсники разных групп. Из нашей я был один.

Обстановка в комнате к занятиям не располагала, поэтому после лекций ходил работать в читальный зал. В комнате всегда кто-то находился, кто-то спал, кто-то ел, к кому-то заходили гости. Для меня такие условия явно не подходили, не соответствовали привычкам, лишали уединения и мешали сосредоточиться. В такой свалке людей и событий приходилось жить.

Начиная с третьего курса, когда мы стали старшекурсниками, комнаты в общежитии выделялись на четырех человек. Не скажу, что это нормально для проживания, но вскоре к этому привык, и когда кого-то выселяли, то четвертого даже не хватало не только для игры в преферанс.

В нашей группе я подружился с Юрием Шабановым и Львом Десфонтейнесом. Юрина семья жила в деревянном доме в центре Свердловска, возле городского пруда и имела огород. Мы часто собирались

малым составом у него дома. Его мать, маленькая миловидная женщина, нас щедро угощала, в том числе и приветливостью, отец – высокий лысый подполковник занимал за столом рассказами о службе. Сам Юра – приятный, добродушный парень, с отличным чувством юмора, выдержанный, спокойный, добрый не мог не нравиться. На первых курсах он увлекся плаванием, окреп и пополнел, что шло к его характеру. В учебе особенно не выделялся, но был крепким студентом. Ему не хватало решительности, тем не менее, после окончания института женился на однокурснице Миле, тонкой высокой девушке с печальным выражением глаз, так нравившемся мне. Юра и сейчас живет в Свердловске, имеет двух дочерей с большой разницей в возрасте.

Проработав всю жизнь в научно-исследовательском институте, так и не защитил кандидатскую диссертацию. Все время находился в поиске лучшего конструктивного решения. Занимался он подвеской на крючки стеновых панелей зданий, что давало ему возможность в шутку называть себя “главным крючоктворцем страны”. Его рассказы о мытарствах с автомашиной “Москвич 401”, а потом с “Запорожцем” первого выпуска нельзя слушать без смеха.

В полученной малогабаритной квартире “хрущевке” из двух комнат он без конца продумывал разные перепланировки, выгораживая кабинет для занятий без дневного света площадью полтора квадратных метра. Недавно мы встречались у меня на работе. Он заметно постарел и похудел, живет материально трудно, но

остается тем же прежним милым Юрой Шабановым. Он рассказывал, что ему удалось уговорить младшую дочь не прокалывать уши для сережек, так как это отрицательно сказывается на состоянии здоровья женщины. А настоящая причина в том, что он не может купить ей эти украшения. Она спрашивает отца: “Почему другие живут лучше, почему родители не могут помочь ей?” Мы такие вопросы в свое время не задавали. Это была трогательная и печальная встреча. На прощание подарил ему книжку своих стихов, подумав о несправедливости нынешних времен перестройки.

Лев Десфонтейнес. В нем все было необычно: фамилия – его предки писались Дес фон Тейнес, имя – совершенно не подходившее к его характеру, хотя вместе с отчеством Николаевич оно звучало достойно. В серой шевелюре прямо от центра лба уходил клочок белых волос. Он был воспитанным и много знающим молодым человеком, мягким, добрым, отзывчивым и безвольным.

Фразы порой давались ему с трудом, и в разговоре он очень выразительно жестикулировал, чтобы все поставить на свои места, а то брался за карандаш, если тема касалась техники, и на схеме все объяснял доходчиво. Был высок, строен, хотя физически не очень крепок. Знания его эксплуатировали, девушкам он нравился, но на прочные связи с ним они не рассчитывали, тут женская интуиция давала правильную подсказку.

Последние два курса к нему наведывалась безропотная милая особа, прекрасно понимающая, что нет надежды на замужество. Мне приходилось в этих случаях исчезать из комнаты. О своих чувствах к девушкам он никогда не говорил, да думаю, что их у него и не было.

По складу ума он относился к тем, кого называют истинными технарями. Его отец в должности главного инженера строительства, возводил гидроэлектростанции в разных местах Союза. Семья в профессиональном плане многое дала ему и не только в профессиональном. Он был грамотен и на правах друга поправлял меня, выкорчевывая странности в моей речи. Отличался своеобразием в учебе особенно на старших курсах. Сам по учебникам не занимался, тянул с выполнением курсовых работ до последнего дня, когда задержка уже вызывала озабоченность у сокурсников. Однако же, все со своими вопросами обращались к нему. Он слонялся по аудитории от стола к столу и отвечал на задаваемые желающими вопросы: ответы давал не с ходу, а начинал вместе разбираться по руководствам и доходил до сути. Дня за два до сдачи курсовой работы под давлением окружающих он, наконец, сядил за проект и делал его сразу начисто и быстро.

При всей разнице характеров мы стали настоящими друзьями и всегда были вместе. Если кто-то из нас появлялся один, это вызывало недоумение. Начиная с четвертого курса, имели на двоих одну толстую тетрадь большого формата в дерматиновом переплете, в

которой строго по очереди записывали лекции сразу по нескольким предметам.

На ее первом листе было написано: “Лекции студентов группы С-422 Десфонтейнеса Льва и Фурманова Бориса по Теории упругости. Экономике строительства. Частям зданий. Технологии строительного производства, Инженерной геологии. Лабораторным занятиям. Водоснабжению и канализации, Организации и планированию. Диалектическому материализму”.

Тетрадь в клеточку имела 50 листов, часть из них так и осталась не исписанной конспектами лекций за четвертый курс по восьми предметам и еще лабораторным занятиям. Других тетрадей ни общих на двоих, ни индивидуальных не имели. Не могу сейчас объяснить, но почему-то большая часть записей сделана карандашами разной твердости. Карандашом же на первом листе зачеркнута моя фамилия и сверху написано “Чапаева В.И.”.

Жили мы после первого курса вместе, нас много раз переселяли с этажа на этаж, из одного конца корпуса в другой. Причины тому были разные, но чаще всего наши мелкие провинности. Нас в этих случаях предупреждали, что переселение делается в последний раз, а потом, похоже, забывали, и мы снова имели возможность скромно отмечать новоселье. В гости ходили редко и только по приглашению. Наведывались и в такие места, где имели право появляться в любое время.

Например, в конце учебы на первом курсе часто

бывали в комнате на первом этаже напротив центрального входа в общежитие. В ней проживало два человека и мотоцикл, который принадлежал Богдашину П.М. Павел Михайлович, а тогда просто Пашка для однокурсников, а для нас Павел, был известным спортсменом, занимавшем призовые места не только во внутрисоюзных, но и в международных соревнованиях по мотокроссу и мотогонкам на льду.

Комната скорее напоминала гараж, в ней были масса запасных частей от мотоцикла и сама машина. Павел вечно что-то мастерил, прикручивал к покрышкам колес острые длинные металлические шипы, готовясь к очередным соревнованиям. Мы глазели на происходящее и по его просьбе подавали нужные детали. В ту пору пятикурсники занимались дипломными проектами, и наш герой успевал делать все сразу.

За оказанные мелкие услуги однажды Богдашин по очереди прокатил нас на своей машине, разрешив сесть на заднее сидение и обхватить его могучую талию руками. Он не зря считался выдающимся мастером, ибо был помешанным на скорости; несколько сот метров за его спиной, преодоленные на мотоцикле, помнятся и сейчас. Та езда напоминает нынешние аттракционы катания с горок в капсулах, только на мотоцикле ты не пристегнут ремнями и шлемов тогда не существовало.

Другим дипломником в комнате был Михаил Десфонтейнес. Однофамильцем Левки со столь редкой фамилии он быть не мог, а братом вполне. Миша действительно был Левкиным братом, учился он на

последнем курсе и по возрасту лет на десять опережал Льва: степенный, серьезный, мало напоминающий характером разгильдяя Левку. Его проживание в комнате с Богдашиным и позволяло нам навещать в этот самый “гараж” без приглашения.

Когда я уже написал эти строки, мне попала в руки книга П.М. Богдашина “Что наша жизнь?”. Это воспоминания о детстве, учебе в институте, работе. Внимательно прочел ее до конца, но не нашел упоминания ни о нас с Левкой, на что и не надеялся, ни о Михаиле Десфонтейнесе. Зато узнал, что Богдашин одно недолгое время работал в системе родного мне треста “Уралтяжтрубстрой” и именно на строительстве Новотрубного завода в Первоуральске. Тогда я еще учился в институте.

При том количестве переездов в общежитии, которое выпало мне и Льву за период учебы, и хождений по гостям, когда нас приглашали, или как в рассказанном случае мы оказывались без приглашения, нам должны были встретиться и другие факультетские знаменитости, однако не встретились. Выходит, что не так их в жизни бывает много.

Не сказал еще о специальности промышленное и гражданское строительство (ПГС) – это широкий профиль, который необходим будущему генеральному подрядчику, не сравнимый с теплогазоснабжением и вентиляцией, водоснабжением и канализацией, а также с другими. Учебная загрузка на ПГС была значительно

выше. Нам давались дисциплины всех факультетских специальностей практически в том же объеме, в чем не раз приходилось убеждаться во время учебы и после. Такой вывод не касается только архитектурной специальности.

Там царила иная атмосфера, и наши отношения с будущими архитекторами, державшимися особняком, как более высокая каста, складывались противоречиво. Особенно это почувствовали после выхода постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О борьбе с излишествами в строительстве”, когда расформируется Академия Архитектуры СССР. Обстановка расставила нас на позиции враждующих сторон, а своего собственного ума тогда не хватало разобраться в сути.

Мы были технарями, конструкторами по духу воспитания и обучения, слепо следуя рекомендациям наставников. В формировавшемся мировоззрении было много наивного и ошибочного, чего мы тогда просто не понимали, принимая все на веру. Жизнь и время изменили позицию далеко не сразу. Мне со временем удалось искупить вину за неправильное отношение к архитектуре и недооценку ее роли. Случилось это много позднее, когда я имел прямое отношение к воссозданию Академии архитектуры и строительных наук, почетным членом которой был избран.

Возвращаясь к учебной нагрузке, об архитектуре еще будет рассказ впереди. На недавней встрече в институте с Сисьмековым Виталием Константиновичем, который 21 год отработал деканом строительного факультета,

он подтвердил, что учебная программа ПГС и сейчас на 40 процентов выше, чем у других специальностей.

Был конец сентября, здание не отапливалось, до 70-летнего юбилея стройфака оставался месяц. Готовясь к встрече такого события, деканат и кафедры затеяли грандиозную реконструкцию в коридорах и аудиториях, конец которой при всем строительном опыте я не мог предсказать. Денег нет, помощь оказывают только бывшие выпускники факультета, работающие а коммерческих структурах.

Кроме нас двоих на встрече присутствовали руководители кафедр Красный Ю.М., учивший Сашу, и Пекарь Г.С., работавший со мной в системе одного главка. Они открыли бутылку коньяка, В.К. из своего дипломата извлек свежую бруснику и клюкву на закуску. Мы трижды опустошили маленькие рюмки и в приятнейших воспоминаниях о прошлых временах обучения просидели три часа, не замечая холода. Потом, помолодевшие, расстались.

На втором курсе меня избирают секретарем комсомольской организации группы. Идеология, как таковая, меня никогда не привлекала, и я не стремился тогда следовать рекомендациям комитета комсомола факультета. Для меня роль комсомольского вожака – это возможность проявить свои организаторские способности по сплочению коллектива, по организации совместных мероприятий: походы, вылазки, посещениестроек, и это удавалось.

Мне помнится экскурсия, организованная мной для нашей группы в Первоуральск на строительство Новотрубного завода. Мы добирались поездом, на станции Хромпик делегацию встретил автобус и повез на стройку. За редким исключением студенты на площадке были впервые, а там неразбериха, отсутствие привлекательности. Все жались, ходили гуськом, робели и шарахались от механизмов. Нас водили по площадкам целый день и к вечеру вернули на вокзал. Конечно, посещение запомнилось, а для некоторых оно так и осталось единственным в жизни. По крайней мере, все лучше стали представлять реальную жизнь строителя, ожидавшую нас. Те, кого ее своеобразие сильно смутило, при распределении выбирали проектные институты.

На восемнадцатой отчетно-выборной конференции УПИ я был делегатом. Стандартное по форме мероприятие, собравшее сотен пять делегатов, шло проторенным путем: отчетный доклад, доклад ревизионной комиссии, прения по докладам. В прениях вышла осечка. На трибуне оказался студент старшего курса физико-технического факультета Немелков. С первых фраз он заинтриговал и заворожил зал.

Возмутитель спокойствия заговорил о демократии, о представительстве студентов в выборных органах всех видов власти, о доверии к молодежи, о дискриминации и многом другом. Его выступление, зачитываемое с листа, было блестящим по слогу, мыслям и сути предложений. После первых же фраз в зале нашлись те, кто вскочили с мест, и потребовали лишить

Немелкова слова, кричали о клевете на социалистическую действительность. Но выступающий уже захватил зал, и ему дали возможность сказать задуманное до конца.

Это политическое выступление вразрез с установленными порядками было мне близким по духу. Я многое из того пережил, почувствовал на собственной шкуре, но сказать так об этом тогда не умел. Понятно, что оказался в числе тех, кто горячо поддерживал Немелкова. Я даже претендовал на выступление со своими наивными рассуждениями о доверии друг к другу, о братстве и тому подобное, но до меня не дошла очередь.

Конференция не закончилась в один день и была перенесена. На следующее утро на трибуне оказались и секретарь обкома, и представители ЦК партии и много других партийных лиц. Аналогичный эксцесс произошел тогда и в Ленинграде, мы были не одни, за нами следили другие Вузы страны, мы хотели в один прием переделать порядки. Уместно тут сказать: “Мы пахали”.

Конференция продолжалась три дня и пришла усилиями властей к успокоению. Все осталось на своих местах. Осуждавших Немелкова заметили и вскоре по комсомольской и партийной линиям они пошли в гору, сделав карьеру на ретивости. Не остался без внимания сам Немелков, долго выясняли, какие агенты из-за рубежа или родители его надоумили. Когда выяснили, что он был сам по себе, его исключили из комсомола и института, и больше о нем я не слышал, хотя

интересовался его судьбой. Уж больно умным и смелым он выглядел человеком. И лишь совсем недавно узнаю, что через два года после памятных для него событий он был восстановлен в институте на энергофаке. К прежней специальности, отличавшейся тогда исключительной секретностью, его все-таки не допустили.

Были замечены и выступившие в поддержку, и поддерживавшие с мест в зале. Все оказались на учете, и началось приведение разволновавшихся в порядок. Насколько я знаю, исключили тогда еще нескольких человек. Наступило присмирение и затишье. В пределах учетного списка оказался и я. Интересна была схема работы с провинившимися. В известность поставили родителей, которые раньше меня узнают о возможном исключении из комсомола и института. Можете представить их волнение и мое, когда институт для всей семьи многое значил.

Когда я вечером в субботу приезжал электричкой в Первоуральск, меня ждали, к встрече готовились, делали что-нибудь вкусное – холодец, или пирог “Наполеон”, или окрошку на домашнем квасе, у нас она называлась холодным борщом. Мною гордились, хотя никогда не хвалили перед другими. Отец говорил со мной о делах, советовался. Мы успевали съездить в выходной на стройку, предприятие стройиндустрии, посмотреть новинки.

Он всегда брал меня на расследование аварий,

обрушение строительных конструкций, а таких случаев хватало. Мы расхаживали одни по обломкам и разбирались в причинах. Отец уважительно относился к моим доводам, и они порой подтверждались. Особенно часто это было на старших курсах.

Вечером меня провожали на поздний автобус. Мы шли с мамой и отцом по улице Герцена в сторону стадиона, поднимались на пригорок в парк. Отсюда через лесок я спускался к автобусной станции у Старотрубного завода, а они под горку возвращались домой. Перед расставанием обязательные поцелуи и мамины напутствия об осторожности.

Уходя, я несколько раз оглядывался и махал рукой. Они стояли вместе и отвечали мне до тех пор, пока я не скрывался из виду. Наверное, они переживали счастливые минуты, видя уверенную поступь сына в учебе. Уже реально маячило, хотя и вдалеке, свершение родительской мечты о получении мною высшего образования, которого сами они не имели.

В той обстановке спокойствия информация из института прозвучала для родителей громовым раскатом. Но они держались и спокойно говорили со мной, упоминая об институтской и нашей домашней обстановке, давали советы по поведению. Я был готов правильно понять случившееся и сделать выводы. Спустя время, оказываясь на собеседовании в комитете комсомола института, где до этого не был, там со мной приветливо беседуют взрослые холеные дяди. Обсуждается мое поведение и моя секретарская работа в группе. Я привожу доводы в защиту своих деловых

усилий, и не ввязываюсь в политику, о Немелкове говорю сдержанно.

Вслед за этим с участием представителя комитета комсомола проводится собрание в группе с моим отчетом о комсомольской работе. В ходе обсуждения комитетчик предлагает исключить меня из комсомола. Группа не может понять, чем продиктована такая жесткая мера, и голосует против. Через неделю повторное собрание, на котором отдельных ребят я просто не узнаю, настолько они изменились и готовы сказать обидное в мой адрес.

Сам я ни с кем из товарищей не говорил об истинной причине такого поведения комитетчиков и не агитировал за поддержку своего секретаря, я никогда такие приемы не использовал в жизни. Сотоварищей подготовили “сверху” сдать меня без боя. Правда, на этот раз вопрос ставился мягче: освободить от обязанностей комсорга и вынести выговор. Такое смягчение произошло, видимо, после общения со мной и однокурсниками, когда власти могли убедиться, что я не представляю социальной опасности, не занимаюсь политикой, как таковой, не подбиваю никого в напарники.

Второе обсуждение было коротким, группа сдалась, как того и требовали. Меня досрочно освободили от обязанностей секретаря комсомольской организации группы и вынесли строгий выговор с занесением в учетную карточку. Позднее, когда уже работал, при

заполнении личных листков по учету кадров я лет десять подряд добросовестно в графе “порицания” писал: “строгий выговор с занесением в учетную карточку за развал политико-воспитательной работы в группе”. Формулировка “политику” не исключала.

На однокурсников поначалу я обиделся, не за свержение с поста, к чему отнесся спокойно, а за формулировку, в которой было слово “развал”, что было просто оговором, но не упреком. Много лет спустя, когда бывшим выпускникам стройфака перевалило за пятьдесят лет, мы встречались в Москве у Леонида Климкина по случаю защиты им докторской диссертации. Был там Шабанов Юрий, Балицкая Людмила, Соловьева Ирина Баяновна – дублер первой женщины космонавтки Терешковой, Люся Волынская и другие.

Я дарил свою первую книжку стихов, очень ценимую мною. Был тогда министром, услышал в свой адрес много хвалебных слов, мы немножко выпили и вспоминали прошлое. У меня хватило решимости впервые напомнить всем ту давнюю историю сдачи меня комсомольским властям. Обращение мое смущения не вызвало, кое-кто и не мог вспомнить, о чем это я говорю, а кто-то не стал распространяться. Я сказал, что по той истории у меня нет обиды, и это было правдой.

Обиделся после выговора я лишь на политиканов: какая грязь, подтасовки, подлость, безнравственность, ложь. Я пообещал себе еще тогда, что никогда не стану заниматься этим грязным делом, и придерживался этого

правила, как ни подталкивали меня обстоятельства поступать иначе. Такой позиции следовал и, будучи членом правительства страны. Я не отрицаю необходимость политики в обществе и государстве, она необходима. Только в нынешнем виде она противоестественна моему складу: я не могу, походя, соврать, предать, изменить мнение о деле или о человеке. Отношу к достоинствам гражданина эти качества.

И чтобы совсем кончить эту историю, скажу еще вот о чем. Когда я по возрасту должен был уйти в запас, меня на оформление документов пригласили в военкомат по месту жительства в Москве. Там встретился с двумя неожиданностями. Выяснилось, что я ухожу в запас в звании капитана, о чем я понятия не имел, так как не проходил за все годы ни одной переподготовки. Вызовы на службу поступали, но руководство организаций, где я работал, не считало возможным отпустить меня с производства на военную переподготовку.

Все-таки звездочки на погонах мне автоматически добавлялись, и выпущенный военной кафедрой УПИ в чине младшего лейтенанта, я получал повышение вместе с возрастом и, как выяснилось, закончил карьеру с четырьмя звездочками, пусть и маленького масштаба, но на каждом погоне.

В извлеченном их архива личном деле, следовавшем за мной в Москву и пролежавшем без движения столько лет, при его перелистывании я наткнулся на учетный листок, заполненный моей рукой на последнем курсе

института, т.е. 25 лет назад. В графе о взысканиях читаю собственноручно написанные строчки: “Строгий выговор с занесением в личное дело за развал политико-воспитательной работы в группе”. Я не ожидал, нахлынули воспоминания, подивился тому, как бумажка следует за человеком и может объявиться в любой момент.

Будучи старшекурсниками, мы не раз принимали участие в субботниках на возведении в Свердловске завода железобетонных изделий имени Ленинского Комсомола, ставшего потом известным домостроительным гигантом на Урале. От студенческих корпусов до заводской площадки было рукой подать, и нас привлекали на работы по уборке в цехах строительного мусора и очистке территории.

В меньшем объеме, но одновременно создавалась производственная база по деталям домостроения в Первоуральске на заводе ЖБИиК. Там, в цехе КаПэДэ, как говорил главный инженер предприятия Турко Рахиль Лейбович, а все произносили „КэПэДэ” и подшучивали над ним, монтировалось два автоклава для изготовления пенобетонных стеновых панелей размером на комнату. Диаметр автоклава был 3,6 метра, говорилось, что он самый крупный в мире. Его стальная стенка имела толщину 24 мм, в сосуде создавалось рабочее давление в 10 атмосфер, а температура 140 градусов Цельсия.

В пенобетоне в качестве воздухововлекающей

добавки использовалась гидролизованная кровь, называвшаяся в обиходе бычьей кровью. Технология шла трудно, большие размеры изделий и их толщина преподносили сюрпризы. Все было новым, лабораторная служба, рабочие и ИТР дневали и ночевали в цехах. По воскресным дням отец брал меня с собой на завод, и я имел возможность втянуться в проблему и перезнакомиться с главными действующими лицами.

Там увидел я, будучи еще студентом, и Теплова Валерия Викторовича, с которым станем друзьями. Потом технология пошла, начался монтаж первых пятиэтажек. Заложили их возле нашего дома, разрабатывалась монтажная оснастка, проходило ее испытание. На стройплощадках с отцом мы бывали часто, я уже что-то соображал и не только слушал, но и пытался делать подсказки. Навсегда запомнились трудовой накал 1957-1958 годов, приезды начальства из треста и Свердловского совнархоза, устанавливавшего очередные жесткие сроки.

Отец всегда обожал новинки, эту тягу к техническому прогрессу пронес через всю жизнь, его возраст никогда не мешал видеть в передовых приемах выход стройки из трудного положения. Мне именно тогда передалась его увлеченность, и она определила выбор моей привязанности к инженерному делу и творчеству.

Как счастливы были люди, когда налаживалось технология, удачно шел монтаж, когда был введен в действие первый крупнопанельный дом. Кстати мне позднее даже довелось пожить в нем.

В трудовой книжке отца 21.10.1957 года появилась запись: “За проявленную инициативу в строительстве жилых домов из крупных блоков и крупных панелей премировать месячным окладом 2300 руб.”. Очередная отметка 17.07.1958 года: “За проведенную работу по освоению выпуска крупных стеновых панелей из ячеистого бетона и монтажа крупнопанельных домов премировать в сумме 2000 руб.”. Формулировалось так в постановлениях Совета Народного Хозяйства Свердловской области. Меня так и тянет углубиться в описание технических деталей, составлявших суть работы большого коллектива единомышленников, рассказать подробнее об атмосфере взаимоотношения людей, но понимаю, что отхожу в сторону от темы книги. К тому же, кому это может быть интересно, когда техника с той поры шагнула так быстро вперед и так далеко ушла, что ее даже нельзя сопоставить. А что еще ждет в будущем?

К спорту относился сдержанно в том смысле, что ни одному виду не отдавал предпочтение. Охотно участвовал во всяких играх, кроме бокса, который не принимала моя натура. Бегал на длинные и короткие дистанции, прыгал в длину и в высоту, играл в футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, настольный теннис не хуже, но далеко не лучше других, т.е. не подавал надежд на особые достижения. Дилетантский уровень моей подготовки давал возможность подключаться к любой компании.

После окончания института приехал в гости к Левке в г. Воткинск. Жили они в отдельно стоящем доме в городке гидростроителей. Дом был просторным с прекрасной мебелью, обедали за большим столом в гостиной, подавали редкие блюда. Там, например, я впервые увидел и отведал приготовленную цветную капусту.

Отец его в это время работал главным инженером строительства Боткинской ГЭС. Он провез нас по стройке. Колоссальное, сложное в инженерном отношении сооружение сразу покорило и позднее в поездках по стране я всегда, когда предоставлялась любая возможность, бывал на гидроэлектростанциях. Плотины на малых речках пришлось в жизни с удовольствием на общественных началах проектировать и самому.

Потом мы оказались на теннисных кортах, которые традиционно строились при городках гидростроителей. Я впервые соприкоснулся с этой благородной игрой, держал в руках ракетку и даже играл. Надеюсь, что соперники высказывали искреннее удивление, когда не верили, что раньше я не выходил на корт большого тенниса. После первой пробы не видел настоящих кортов и не играл лет тридцать. В наших общестроительных организациях скромные финансовые возможности не позволяли иметь такую роскошь.

Перед зданием УПИ в годы учебы была громадная неблагоустроенная территория. На ней горки, ямы, непролазная грязь в дождь – самое удачное место для

езды на мотоциклах по пересеченной местности. По крайней мере, тренировки спортсменов проходили именно здесь. Как-то отбирались желающие выступить за факультет. На мотоцикле я ездил за спиной великого спортсмена Богдашина и без раздумий оказался в очереди претендентов.

Каждому давалась возможность проехать один пробный круг по этой самой пересеченной местности, и по результату делался отбор в команду. При передаче мотоцикла на старте следующему претенденту двигатель не глушили, попробуй потом заведи снова. Первую скорость не выключали, а только выжимали сцепление, и в таком состоянии шла смена наездников.

Получив разрешение на старт, я отпустил сцепление и тронулся в путь, поехал впервые в жизни. Машина оказалась тяжелой, страшно неуклюжей, а тут еще глубокая колея, крутые подъемы и спуски. Это был кошмар, моих силенок едва хватало мотоцикл удерживать, но я доехал и уложился в зачетное время. Распорядитель мероприятия поставил галочку в бумагах, сказал мне: “Хорошо, приходи завтра на тренировку, но на хороших участках надо было переходить на повышенную передачу”. Я был так доволен услышанным, что на радостях с дуру высказал ему претензию: “Но Вы же не показали мне, как переключать скорости”.

В трескотне мотоциклов, штурмовавших трассу, он не сразу понял, что я такое сказал. Когда же смысл услышанного до него дошел, облеченное властью лицо, грязно выругалось в мою сторону и посоветовало

убраться быстрее. Организаторам не приходило в голову, что в очередь претендентов на пробный заезд может затесаться студент, не имеющий прав на управление мотоциклом и вообще никогда не ездивший на нем сам. Несмотря на удачный старт, больше никогда в жизни на мотоцикл не садился при всей внешней привлекательности каждой из следующих моделей.

Так как наш институт имел военную кафедру, то ребята на старших курсах познавали танковое дело, а у девиц был лишний выходной день в неделю, но и он им не помогал наверстывать в учебе. Выпускала нас кафедра командирами танковых взводов в чине младших лейтенантов. Учеба базировалась на совершенно тогда секретной машине Т-54. Дважды мы побывали в военных лагерях на сборах.

Очень хотелось бы поведать о постижении военных премудростей. Шло оно через массу памятных впечатлений и комических ситуаций. Только главное в том, что военка многое дала: обучила режиму секретности, получили права на вождение автомобиля, водили танки и в ночное время, стреляли из пулемета, пушки, приучались к дисциплине, краткости и точности команд, почувствовали силу мужского коллектива. Все это было полезным и нужным. Военную кафедру с ее учебой и лагерными сборами вспоминаю только с благодарностью.

Но военное дело чередовалось с обычной учебой и потому выглядело контрастно по темам лекций и преподавателям. Шутили мы по этому поводу сверх всякой меры, не понимая тогда, что профессора в

военном деле и в технической дисциплине и не могут быть одинаковыми, слишком разные стихии.

Вспомнил же я военку совсем по другому случаю, по поводу, косвенно связанному со спортом. В первом лагерном заезде на стрельбище каждому из нас предстояло поразить мишень в форме человеческой фигуры из пистолета тремя выстрелами и набрать максимально возможное количество очков. Как и все другие ребята, из боевого оружия я стрелял впервые. После нудного инструктажа и соблюдения массы предосторожностей, тройками выходили на боевую позицию.

Отстрелялись, в моей мишени оказались две пробоины в десятке и одна в девятке, что давало итог в 29 очков. Офицер с уважением посмотрел на меня и не командным, а нормальным голосом поинтересовался, какой у меня разряд по стрельбе. Я зауважал себя и с гордостью доложил по требовавшейся форме, что стрелял из пистолета впервые.

Мой ответ его несколько разочаровал, я еще подумал тогда, что это от зависти. “Тогда результат случайность” – отчеканил он. Однако на вечернем построении перед сотней парней уже самый старший офицер по чину, без упоминания о случайности результата, назвал мои 29 очков с упоминанием фамилии лучшим достижением и поздравил меня перед строем.

Неожиданно открытый талант стрелка дал возможность помечтать о следующих достижениях. Правда, холодные расчеты огорчали, показывая, что достигать-то уже и нечего – всего одно очко отделяло

от предела. С нетерпением ждал, может быть единственный во всем институте, новой поездки в лагеря, ждал и тренировался целый год. Держал перед собой вытянутую правую руку, нажимал пальцем на воображаемый спусковой крючок – получалось все хорошо. Скорее бы добраться до пистолета.

На огневом рубеже был спокоен и взволнован одновременно. Чего во мне тогда оказалось больше, ответил результат стрельбы. Только одна пуля попала в мишень, остальные улетели за “молоко”. На том все и закончилось. Сейчас я подумываю о том, что было бы интересно узнать, и почему не выяснил раньше, какой же из результатов был случайным?

Ежегодно 9-го мая в день светлого праздника Победы проводилась легкоатлетическая эстафета на приз газеты Уральского политехнического института “За индустриальные кадры”. Соревновались между собой факультеты, итоги подводились отдельно по мужским командам, по женским, по смешанным, по командам пятикурсников и по массовости. Приз за массовость считался престижным, но для победы требовалось поставить в ряды бегунов чуть ли не всех студентов факультета, а это задача не из легких.

Стройфак часто владел этим призом и умел его добиваться. В начале апреля 1955 года, когда приближение весны тянуло из помещения на улицу, деканат объявляет сбор после занятий всех групп специальности ПГС в учебной аудитории для

проведения встречи. Удовольствие сидеть в духоте небольшое, но первокурсники народ еще послушный.

На встречу с нами пришел Борис Николаевич Ельцин. Его представили как пятикурсника стройфака, который сейчас работает над дипломным проектом, как члена комитета комсомола института, как студента-отличника, как спортсмена, выступающего за сборную команду УПИ по волейболу. В последнюю информацию не особенно верилось, хотя роста он был высоченного, тонкий, гибкий и сильный, но на его левой руке не хватало большого и указательного пальцев. Зная, каким строгим является судейство в волейболе, в первую очередь при приеме мяча, не верилось, что с таким дефектом можно играть за сборную.

Агитатором он оказался отменным, с глубокой убежденностью, сдержанно, с паузами для возможности осознания значительности сказанного им, рассказал о прошлых победах стройфака в эстафетах за приз массовости, о необходимости поддержать честь факультета. Призвал с завтрашнего дня начать тренировки по утрам, и подсказал, какие именно.

Далеко не всякому человеку, которого слушают и видят впервые, удастся произвести впечатление на “массу”, а нас было человек сто, заставить поверить себе, а затем воздействовать на нее по своему желанию. У него все вышло как-то само собой. Он очаровал студентов, расположил к себе, заставил сопереживать, волноваться за исход предстоящих соревнований, до которых несколько десятков минут назад нам не было

ровным счетом никакого дела. Словами сегодняшнего дня, его внутренняя энергия была намного сильнее всех наших расслабленных вместе взятых.

После встречи с Ельциным расходились взволнованными, и утром следующего дня почти все вышли на тренировку. Такого порядка придерживались до самой эстафеты. Ради объективности нельзя не добавить, что уже на следующее утро, мобилизованный деканатом горнист носился по этажам общежития и устраивал побудку во всю силу тренированных легких. Находились и те, кто обещал ему повыдергать ноги. В очередной победе стройфака по массовости был вклад и нашего учебного потока, и агитатора, и, конечно, горниста. На пятом курсе, выступая по разряду “старичков”, мы также добились успеха.

До окончания учебы в институте Борис Николаевич больше не оказывался в поле моего зрения, работая, о нем слышал часто. Позднее довелось не только слышать, но и видеть его и много лет вместе не играть, а трудиться в одной команде. В моей строительной судьбе он был неоднократно причастен к резким изменениям, о чем надеюсь рассказать позднее.

Не надо только думать, что после того первого знакомства я запомнил его фамилию, имя и отчество. Это потом, при последующих встречах все увязалось. Не произошли бы они, так бы и не знал, кто тогда жестикулировал руками в аудитории перед нами в такт словам. В памяти тот случай все равно бы остался.

Преподавательский состав на кафедрах стройфака был сильным, особенно по дисциплинам, составлявшим основу специальности: геодезия, железобетонные конструкции, металлические конструкции, сопротивление материалов. Уступала им, к сожалению, кафедра организации строительного производства. Лицо кафедры определял ее руководитель.

На общем “профессорском” фоне факультета наиболее самобытной, неповторимой фигурой был доцент Николай Николаевич Мазуров, возглавлявший им же созданную кафедру геодезии. Он преподавал курс инженерной геодезии на втором и третьем годах обучения. Имя его не сходило с уст студентов во время учебы, после завершения курса геодезии и спустя годы по окончании института. Он много лет проработал в составе геодезических партий в неосвоенных таежных местах России. Николай Николаевич был участником экспедиции В.К. Арсеньева, знаменитого этнографа, писателя и исследователя Дальнего Востока, и тот упоминает о нем в книге “По Уссурийской тайге”. Даже он не мог его не заметить и не запомнить, а куда уж нам.

Ходили слухи, что Мазуров по политическим мотивам отбывал срок в лагерях, при этом злые языки некоторых остряков, страшно его боявшихся, тут же шепотком добавляли, шутя по черному, что Ник Ника все-таки рано выпустили. Не знаю, когда именно случилось освобождение кумира большинства

студентов из мест заключения, но до вступления нашего потока на геодезическую почву, он уже работал в стенах института. Скорее всего, памятное для него событие произошло в 1953 году.

Коренастый крепыш, с бородой и усами, в очках, с крупной каплей-родинкой возле носа, подвижный, острый в ответах, жесткий во взаимоотношениях, требовательный, а, в конечном счете, добрейший человек воспринимался по-разному. С одной стороны напоминал представителя старой российской интеллигенции, чудом сохранившегося после тридцатых годов, не потерявшего человеческое достоинство, уважение к самому себе, свое мнение и свою позицию.

С другой стороны – взлохмаченностью шевелюры, следами небрежного отношения к одежде, простотой речи, распорядительностью тона, энергичностью, требующей принимать немедленные решения, он напоминал только что вышедшего из леса человека, который попал в новое для него общество и диктует ему свои законы и порядки, не обращая внимания на реакцию окружающих.

Его “чужацествам” не было числа, шли они от опыта и требований реальной жизни, которую он хорошо знал, но это понималось позднее. Он запрещал, не принимал к сдаче и просто мог разорвать нивелировочный или пикетажный журналы, если они заполнялись ручкой, а не простым карандашом. Запрещалось стирать карандашные записи резинкой, только зачеркивать и рядом писать новую цифру, так как старая может

потребоваться. Конечно, в те времена, когда он пробирался вместе с партией геодезистов по таежным завалам, было не до перьевых ручек с чернильницами, но мы то уже пользовались авторучками. Все равно нельзя.

При сдаче отчета по геодезической практике, которую проходили в полевых условиях целых две недели, поставив последнюю выстраданную трудом точку, мы доводили затем отчет до кондиции. Мяли его в руках, топтали ногами, посыпали страницы дорожной пылью, чтобы они походили на “настоящие”. Такой отчет он открывал с уважением, и лицо его теплело. Ошибки, тем не менее, и всякие подгонки результатов находил сразу.

Такие популярные выражения как “пузырек на середину”, если тема касалась нивелира, теодолита, или “нет угла без препятствия внутри него”, если речь шла об автомобильной и железнодорожной трассах, произносили обязательно и неоднократно при ответах.

Геодезию и с большой натяжкой нельзя отнести к сверхсложным наукам, но почему-то большинству студентов, а особенно девчонкам, она давалась с трудом. Может, причина была в том, что в нивелирах и теодолитах, на нивелирных рейках изображение перевернуто вниз головой, и необходимость мысленного разворота на 180 градусов окончательно сбивала с толку, да еще под пристальным взглядом вездесущего Мазурова, все поставить на место оказывалось сложно.

На нашем потоке учился высоченный, худющий

Гинзбург с фигурой в форме вопроса. После работы с теодолитом он вставил его в ящик-футляр, перевернув вниз головой. Сделать так даже при желании невозможно, но у него получилось. Он смог вогнать теодолит в коробку так плотно, при всей своей хилости, что когда Мазуров принимал инструмент, то не смог теодолит извлечь. Ник Ника поразил этот акт вандализма и примитивизма настолько, что теодолит доставать не стали, а сделали из ящика с прибором экспонат для демонстрации. Мазуров лично показывал его всем группам под соответствующий комментарий об уникальных способностях студента.

При всех “странностях” главный геодезист делал свое дело, вбивая в наши молодые податливые головы геодезию так, как Гинзбург вогнал теодолит в деревянный футляр – навечно. Это подготовило к производству, оказавшемуся куда более жестким, чем порою взгляд Мазурова. Зато, когда я в первый раз, работая мастером на стройке, стал к нивелиру в окружении бригады и бригадира Афанасия Васильева, который немножко умел прикладываться к нивелирной трубе, я не робел, а знал, что делать.

“Пузырек на середину” вывел регулировочными винтами и приступил к отсчетам. Секундное замешательство вышло, когда стал записывать цифры ручкой, но тут же остановился, попросил у бригадира карандаш. Нужды в этом никакой не было, только порядок есть порядок. Меня так учил знаток своего дела, а ему я верил. Страх перед Мазуровым я не испытывал, но однажды меня охватило оцепенение. На экзамене по гео-

дезии, вытащив билет с двумя вопросами и задачей, понял, что даже примерных ответов на вопросы не знаю. Покраснел, вспотел, не помогло – темы вспомнить не смог. Когда пришел в себя, попросил разрешения взять второй билет. От меня он этого не ожидал, но разрешил. Было ясно, что больше тройки уже не получу.

Отвечал на второй билет бойко, решил задачку, хотя и помучился. В зачетке экзаменатор выставил оценку “хорошо” и объяснил, почему отступил от своего правила. Та самая задачка была решена мною другим способом, нежели он преподавал. Инициативные действия этот человек ценил.

Участвовал я в работе студенческого научно-технического общества, занимаясь в геодезическом кружке; смастерил насадку к нивелиру – “плоскопараллельную пластину” для повышения точности отсчетов. На выставке работ получил диплом. Когда на третьем курсе преподавание геодезии завершилось, то нам не хватало задора и требовательности большого практика, своеобразного, но великолепного наставника.

В 1965 году Мазуров Н.Н. скончался, сказались на его здоровье таежные тропы и лагерное время. Для стройфака и выпускников предыдущих лет известие оказалось тяжелым. В каждом из нас он оставил добрую память о себе, но это сделать легче – не обижай других и будь справедлив – главное же, он смог передать знания очень важного для каждого строителя предмета, вложив их собственными доходчивыми приемами в нас, его студентов.

Железобетонные конструкции преподавал Каширский Юлий Анатольевич. Внешний вид его привлекательным не был: маленького роста, плотненький, совершенно лысая сплюснутая с боков голова, ромбиком сложенные губы, которые он порой приоткрывал, не произнося слов, красные разводы на лице и чуть грустные глаза. Он очень напоминал окунька, вытасченного на берег, чем вызывал сочувствие. Потом-то я понял, что выражение грусти пришло к нему из-за его сочувствия студентам и специалистам, которым так тяжело давался “железобетонный” предмет. Каширский был спокойным, выдержанным, уважаемым за светлую голову и трудолюбие.

Его предмет мне нравился, я с удовольствием углублялся в суть и доходил до такой степени погружения, что чувствовал возможности конструкций, будто находился в них сам, и испытывал внешние нагрузки и воздействия. Мне это уже потом давало возможность легко находить ошибки в проектах, не производя расчетов. Может быть, просто сказывался опыт.

Сборный железобетон, в том числе предварительно напряженный, массово входил тогда в отечественную практику, но преподносил сюрпризы. Связанных с ним аварий на стройке хватало. Каждый раз нужно было разбираться в причинах, особенно когда это сопровождалось человеческими жертвами. Главная организация по строительству на Среднем Урале, где я

работал, ведя инженерные вопросы, всегда приглашала Каширского на расследования. Для него любое обращение производителей было приятным, и он никогда не отказывал в помощи.

Расскажу об одном случае, когда я узнал об одном качестве Юлия Анатольевича уже после учебы. На окраине Свердловска по Березовскому тракту готовился к сдаче в эксплуатацию многопролетный корпус автобазы. Для перекрытия пролетов применялись комбинированные треугольные фермы. Ферма состояла из двух фермочек, имевших верхний пояс из железобетонной балки, подпертой в центре снизу железобетонной стойкой. Концы балки и низ стойки соединялись затяжкой. При укрупнительной сборке из двух фермочек образовывалась одна ферма, перекрывавшая пролет. Крайние концы фермочек при монтаже опирались на колонны, а внутренние являлись коньковым узлом фермы.

Нижним поясом фермы служила затяжка из крупных металлических уголков, она соединяла те узлы фермочек, в которых сходились ее стойки и затяжки. Надеюсь, что конструкцию объяснил доходчиво. Это описание должно помочь представить картину происшедшего, хотя не имеет прямого отношения к той черте характера Каширского, о которой начал рассказывать.

Корпус автобазы готовили к приходу приемной комиссии, он был чист и свеж. В воскресный день выпал на редкость обильный снег, и когда утром в понедельник строители заглянули в корпус, то

обнаружили неладное. В среднем пролете, как раз над встроенным внутри помещением с кирпичными стенами и плитами перекрытия обрушилась ферма. Ее стойки уперлись в перекрытие встроенного помещения, и она не разрушилась полностью. Все же ферма потащила за собой плиты покрытия, которые частично обвалились, открыв холодное небо.

Людей из корпуса всех вывели, в гулком пустом помещении потрескивало, и хозяева не знали, что дальше ждать. Если дефект окажется повторяющимся и в других фермах, то тогда худо.

Приехали мы вдвоем с Каширским, и прошли в сопровождении группы специалистов в корпус. Он двигался как охотник, прислушивался и приглядывался, временами открывал рот ничего не говоря. На рубеже обрушения велел всем остаться, а сам зашагал под нависшие конструкции. Обошел встроенное помещение и попросил лестницу. Приставил ее к стенке и стал осторожно забираться, когда голова его оказалась выше перекрытия, он остановился, и стал во что-то всматриваться, открывая рот чаще обычного. Потом быстро поднялся на перекрытие и спокойно расхаживал вдоль обрушившейся фермы.

Спустившись и подойдя к нам, проговорил, обращаясь ко всем: “Все ясно”. Адресуясь ко мне одному, добавил: “Можете посмотреть”. Я в одиночестве повторил его маршрут. Действительно, все было проще простого. За обвалившейся фермой стоял обвязанный трубами вентилятор. Понятно, что его подавали на перекрытие не сбоку между фермами, а с той стороны, где

теперь стояла лестница. Нижний пояс фермы возвышался над перекрытием примерно на метр. Вентилятор оказался крупным, и под поясом фермы протаскать его было нельзя. “Рационализаторами” стройка была всегда богата, чтобы не тащить вентиляторную бандуру обратно, они перерезали сваркой два уголка нижнего пояса.

Если бы это все происходило в однопролетном и даже в двухпролетном здании, то конструкции после такого вмешательства экспериментаторов сразу бы похоронили их под своими обломками. Находясь в центре многопролетного корпуса, который удерживал распорные силы, ферма тогда устояла. Перерезав пояс в одном месте, мастера сделали другой рез так, чтобы в эту ширину протиснуть вентилятор. Потом они вырезанную часть небрежно прихватили сваркой с одной стороны, а с другой не смогли: из-за раскрытия шва вставка оказалась короче. В таком виде все было оставлено и простояло до снегопада. Каширский Ю.А. в той обстановке выглядел великолепно, показав себя не только ученым, давшим рекомендации по восстановлению, но и смелым человеком. Связи наши с ним были многократными, и ни разу ни в чем он не допустил, чтобы пошатнулось доверие и уважение ученика к учителю. Недавно мне пришлось прочесть несколько написанных им от руки страниц воспоминаний о его поступлении в наш институт в 1932 году. Он работал техником в глухой Башкирской деревне, выписывал газету “Уральский рабочий” и из нее узнал о дополнительном приеме на строительную

специальность. Тогда он приехал поступать и начал учиться, так что смелостью Юлий Анатольевич никогда обделен не был.

Сперанский Борис Александрович был представительным, хорошо сложенным мужчиной приятной внешности. Преподавал он нам металлические конструкции. Во все времена он не только не отставал от новейших течений в методах расчетов, в конструктивных решениях, а всегда находился на самых передовых позициях. Сдержанности, терпения, порядочности в отношениях у него хватало на всех.

Он умел так рассказать, так разложить на взаимосвязанные части любую тему, что предмет казался понятным и легким. На самом же деле методы расчета металлических конструкций, обычных и с предварительным напряжением, были сложны. Его глубокие знания и солидность в отношениях с людьми с каждым годом добавляла ему авторитет, который и без того был высоким.

Одно время, когда я уже работал, он был моим руководителем диссертационной темы по структурным металлическим конструкциям. Почти завершенная она осталась без защиты, и мой двойной тезка по имени и отчеству тактично подталкивал своего бывшего ученика, ссылавшегося на занятость по работе, к выходу на финишную прямую. Умер он, когда ему было за 80 лет, мне не удалось прилететь на его похороны, и

я продолжаю воспринимать его живым человеком: умным, светлым, порядочным.

Возле таких столпов, преподававших студентам, нельзя было не набраться знаний, и я старался это по своим способностям делать. Превзойти их в дисциплинах было немыслимо, и они все остались в памяти как крупные глыбы, составлявшими вместе с другими кирпичиками фундамент знаний, на котором держался родной стройфак.

За время моей учебы в институте сменилось три декана факультета, и это при том, что в такой должности задерживаются обычно долго. На первом курсе обучения деканат возглавлял Рогицкий Станислав Андреевич. Запомнился он не занимаемой должностью, а тем, что преподавал нам строительную механику, теорию упругости и сопротивление материалов. Дисциплины эти являются фундаментом в инженерном образовании, через их постижение преодолевают затем расчеты конструкций.

Не случайно в студенческой среде бытовало выражение: “После сдачи сопромата можно обзаводиться своей семьей”. Взять этот жизненно важный рубеж и помогал Рогицкий С.А. Окажись другой преподаватель дисциплин, обучение могло для многих стать непреодолимым препятствием или оставить на будущее воспоминания, омраченные неприятностями.

Рогицкий обладал не только преподавательским

даром, он подкупал интеллигентностью, тактом в отношениях со студентами, обширными знаниями. Он являлся автором нового метода расчета стержневых систем, его исследовательские новаторские достижения были отмечены званием профессора, члена корреспондента Академии наук СССР. Станислав Андреевич не кичился тем, что имел широкую известность в научном мире не только нашего государства, он оставался простым, скромным, доступным, внимательным.

Свои предметы любил самозабвенно, желание донести содержание материала до каждого никогда не иссякало. Всегда казалось, что смысл его жизни в передаче своих знаний студентам, в показе того, как все в его учении просто и гармонично.

Характеру его были присущи мягкость, она улавливалась в походке, в жестах, даже в произношении. Он, например, не выговаривал, а может быть не старался это делать, букву Ч, заменяя ее во всех случаях на Щ. При этом слова “тощка”, “пощему”, “защем”, “количество” и другие, приобретали новое более теплое звучание, нежели сказанные обычным языком, обладали какой-то притягательной и располагающей к нему силой, делали его беззащитным. Мысль обидеть его не могла придти и в отчаянную голову.

Затем три года деканом был Доросинский Г.П., который не остался в памяти, а на пятом курсе Карташов Н.А. До этого он руководил кафедрой организации строительного производства и вел эту

дисциплину. Он был кандидатом технических наук, его волновало то, что ему не удавалось защитить докторскую диссертацию, да и как это можно было сделать в полном отрыве от производства именно в этом направлении.

И пусть бы он оставался кандидатом, нас это трогало мало. Но Карташов на лекциях, желая услышать сочувственную поддержку, иногда пускался в длинные рассуждения по поводу своей дисциплины, по которой практически нет докторов в стране. Было и жаль его и неловко слушать. Переход в деканат факультета придал ему еще больше вальяжности, но ничего не изменил в системе преподавания. Такая дисциплина не должна быть оторвана от практики, и на производстве мы на первых порах чувствовали огрехи в своих знаниях.

Вспомнив о деканах факультета, сразу добавлю, что это высокая инстанция. Как правило, студенческие контакты с деканатом заканчивались за первой дверью, что вела в приемную комнату к декану. А там царствовала все годы Воронина Елена Владимировна: все знающая, во всем помогающая, очень умная и добрая. В трудные минуты она становилась студентам второй матерью. В ее привлекательном облике уже пожилой женщины можно было признать черты своих мам. Есть же на свете, хотя и редко, такие люди, которые нужны всем и готовы быть для всех больше, чем заместитель декана факультета.

О том, что во время учебы я обходился без спиртных напитков, уже упоминал, вдобавок не курил и не ухаживал за девчонками. Это давало массу дополнительного времени на занятия и развитие. Своей оторванности от жизни группы от этого не чувствовал. Освоил преферанс, игра привлекала, пока не разобрался в правилах и не овладел ими. Участвовал даже в установлении своеобразного рекорда, когда игра в комнате, где жили, продолжалась ровно сутки. Как только решения стал принимать автоматически без умственного напряжения, а исход игры зависел в основном от чьей-то ошибки или от расклада карт, привлекательность преферанса для меня пропала. После того суточного марафона к картам не прикасался.

На мои житейские потребности стипендии и родительской поддержки хватало с лихвой, к расточительности склонен не был, модная одежда не привлекала. Носил всегда только то, что покупали родители без примерки и без моих подсказок по поводу нужных вещей. Облачиться в новый костюм и появиться в нем в кругу знакомых, было не для меня. Сначала осваивал новые брюки со старым пиджаком, а обвыкнув, менял и пиджак.

Зарабатывать деньги на стороне нужды не было, но за компанию ходил с ребятами на кондитерскую фабрику, расположенную рядом со студенческим корпусом. Там мы грузили в вагоны коробки с печеньем и конфетами. Один раз оказался на выгрузке угля из железнодорожного вагона. Пульман стоял на ровной

площадке, из люков уголь частично просыпался под вагон и лопатами нужно было отбрасывать его на несколько метров в сторону.

Бригада оказалась малочисленной, из-за желания заработать больше, работали с вечера до утра. Успели к обещанному сроку, но вымотались страшно, к завершению перемещались бессознательно и ничего уже не понимали. Двое суток приходил в себя, тело стало чужим, забыв про занятия и лекции, стонал так, как когда-то отец после футбольного матча.

Девушек в группе, моя оригинальность, как они выражались, в поведении привлекала, и я никогда не был обделен вниманием и расположением, даже самых красивых. Предостаточно, возможно больше меры, было во мне и других непохожестей на остальных, если дело касалось рассуждений на свободные темы. Только девушки не догадывались, что мои манеры шли не от желания позировать, или не только от желания. Во многом слова мои и поступки отражали характер.

Я категоричееки отвергал “созерцательный” образ жизни. Просто нанизывать одно за другим впечатления от увиденного или услышанного, не пытаясь попробовать свои силы и повторить достижения других, не мог. Конечно, далеко не все получалось, но над собой работал.

Нацеленность, например, на учебу приносила заметные плоды. Как-то очень быстро растерялось преимущество в знаниях и в общем развитии у тех, с кем вместе начинали занятия в институте. Мы не только сравнивались, но сам чувствовал, что стал опережать

многих в группе, а на старших курсах оказался в числе лидеров. У меня не было привычки замыкаться только на своих проблемах, всегда болел и переживал за группу, ее дела, поэтому лидерство мое не ограничивалось одной учебой.

Девчонок в нашей учебной группе, как и на всем стройфаке, была половина, о чем уже упоминал. Обо всех не расскажешь, не та тема “Семейной книги”, но некоторых хотелось бы представить. О Людмиле Балицкой, способной актрисе на сцене и в жизни, ранее говорил. Теперь очередь других.

Людмила Тулумбасова считалась самой симпатичной в группе, ее знали на курсе и на факультете. Поступать в институт приехала из Владивостока. Круглолицая, с тонким чуть вздернутым носиком, с глубокими ямочками на щеках при улыбке, с точеной фигуркой, с кудряшками волос она примечалась сразу. Когда на лекции, заранее зная реакцию, кто-то специально неожиданно подтыкал ее сбоку пальцем, она натурально вскрикивала и подсакивала. Это разряжало обстановку на серьезной или унылой лекции, преподавателю приходилось смягчившимся тоном продолжать свою мысль. Замечания ей не делались – привлекательности девушки многое прощается даже лекторами.

Ухажеров у Людмилы хватало, однажды на собрании группы даже подсказывали ей, что с таким-то плохим парнем не стоит водиться. На своеобразные нравы

пришлось тогдашнее время. Была она энергичной, смелой, участвовала в походах с ночевками. Училась уверенно, когда уверенность шла от внимания преподавателей мужчин.

Замуж Люда выскочила за Анатолия Титакова после окончания института, когда мы ее поступки контролировать уже не могли. Муж – однокурсник, высоченный парень, увлекался спортивными развлечениями. Работая после института в Свердловске в научно-исследовательской организации по строительству, умудрялся не отходить от теннисного стола в фойе.

Ее выбор вызывал удивление, всегда тяготевшая к более содержательным ребятам, она соединяет судьбу с человеком иного склада. Семейная жизнь у нее сложилась трудно, Анатолий рано умирает, оставив сильно потускневшую жену и их общего сына. Как меняет и не щадит время людей, сколь не долговечна внешняя привлекательность и до чего справедлива поговорка “Не родись красивой, а родись счастливой”.

Ирина Данилова была девушкой выше среднего роста, спортивного сложения и подтверждала его на соревнованиях в беге, твердого и самостоятельного в решениях характера, толковая. Она обладала через преломление внутренних качеств своеобразной привлекательностью и в девичьей массе не терялась. Отношения наши всегда оставались ровными и дружескими, на нее можно было, не раздумывая, положиться. К защите дипломного проекта выходит замуж за Бориса Тихомирова, на год раньше

окончившего стройфак, очень самобытного, самостоятельного и твердо стоявшего на ногах парня.

Перед свадьбой он говорил мне, что Ирина для него многое значит, он любит ее, что их отношения серьезны. В его слова, полные убежденности, я верил. Они вместе уезжают на разворачивавшееся тогда строительство гигантского горно-обогатительного комбината в г. Качканар Свердловской области. Наши жизненные пути с Борисом Михайловичем и Ириной Сергеевной в будущем неоднократно пересекутся, и будет повод об этом рассказать.

Ирина Баяновна Соловьева не была приметной: среднего роста, темные гладко зачесанные волосы, правильные черты лица, чуть наклоненные вперед плечи и угловатая походка. Ей не хватало какой-то изюминки, чтобы привлекать внимание. Одевалась скромно, близко ни с кем не сходилась. Ее единственная подружка Люся Волинкина очень отличалась от Ирины: компанейская, веселая, доброжелательная, богатая планами на проведение свободного времени.

Ира же отличалась спокойствием, устремленностью, некоторой замкнутостью и даже скрытностью. Последнее слово в характеристике подтверждаю примером. Когда Юра Шабанов занимался в секции плавания, то об этом знали все, знали, как прибывает он в весе и как сбрасывает с личного результата секунды. А то, что Ирина стала прыгать с парашютом, открылось с запозданием. Она упорно посещала секцию, отдавая увлечению все личное время, участвовала в соревнованиях, имела хорошие

достижения, при этом продолжала учиться ровно и надежно.

После выпуска из института Ирина исчезла с поля зрения. Говорили про нее, что работает в Звездном городке. Полет в космос Валентины Терешковой, первой в мире женщины космонавтки, породил слух, будто ее дублером была Ирина Соловьева. Сама Ира при встречах и не подтверждала, и не отрицала слух. Откровенность в тех делах особой государственной важности не допускалась.

Только на встрече в Москве на квартире у Килимника, о которой упоминал, она говорила открыто. Годы в Звездном городке приятно преобразили Соловьеву, ее трудно было признать: одежда, манера, осанка изменились, смотрелась она отлично, вдобавок заговорила. Прежняя молчаливость от закрепощенности ушла. Мы все гордились тем, что знали лично дублера Терешковой и вместе учились. Ее жизненная история подтверждала, что добиться успеха в любом деле можно лишь самоотверженным трудом.

Теперь несколько слов о ребятах. В нашей учебной группе заметным был коренастый, крепко сложенный парень по фамилии Клячин, Клячин Анатолий Зотеевич. Своеобразие его фамилии и специфического характера давали поводы подшучивать над ним, на что он искренне обижался. Умный и чрезвычайно усидчивый Анатолий закапывался на каком-то участке

в такую глубину предмета, из которой сам потом не мог выбраться.

Когда у дверей аудиторий, за которыми принимались экзамены, происходило завершение подготовки студентов и они задавали друг другу вопросы, Клячин уверенно делал пояснения. Когда же он обращался к окружающим со своими встречаемыми проблемами, выходившими излишней детализацией за очерченный предел требуемого, то от него просто отмахивались. Казалось, что по такой подготовке он должен был получать одни отличные оценки, но ему мешало излишнее волнение и переизбыток не систематизированных знаний.

Он следил за спортивными событиями в стране и за рубежом, знал ведущих спортсменов по фамилиям, их личные результаты, был, другими словами спортивной ходячей энциклопедией. Способность углубляться сверх меры в знания привела его в науку, он стал кандидатом, потом доктором технических наук, занимался преподавательской деятельностью, работал долго на кафедре у Б.А. Сперанского.

К сожалению, его слабость временами к спиртному, а особенно изменение характера после выпитого на упертый, несколько раз перечеркивала продвижение в науке. На этой почве после очередного инцидента Сперанский оставил его. Так как один из них был руководителем, а другой консультантом моей диссертационной работы, то я остался в пустом пространстве между ними. Я не хотел изменять никому из них, что привело к отказу от защиты.

На нашем потоке выделялись на общем фоне Тамплон Ф.Ф. и Лушников В.В. Фридрих Фридрихович, а в общении часто Федя, был высоким, стройным, красивым парнем с потрясающе густой и кудрявой шевелюрой черного цвета. Рассудительный, обстоятельный, хороший товарищ и студент. Он довольно быстро стал доктором технических наук, с 1990 по 1995 годы был деканом строительного факультета и много лет руководил кафедрой Архитектуры, что лишь подтверждает его разнообразные способности. Однажды мы участвовали с ним в международной конференции по пространственным конструкциям в г. Алма-Ата, где вместе проводили в прогулках свободное время. Наши отношения с ним были дружескими, но не теплыми. Недавно узнал, что он погиб на своей машине в автомобильной катастрофе, возвращаясь из отпуска к началу учебного года. Искренне жаль.

Лушников В.В. был со студенческой скамьи настолько умным парнем, что еще в институте лишился многих волос на голове, имел очень сконцентрированный на чем-то, но не на собеседнике, взгляд. Держался Володя обособлено и строго. Он увлекся расчетами оснований и фундаментов, стал доктором технических наук, руководил кафедрой на стройфаке УПИ. Близко мы с ним не сходились, деловых отношений было много, но мне всегда казалось, что при разговоре он как бы не замечал меня, настолько устремленным за пределы моей личности был его взгляд.

Наш факультетский выпуск, по моему мнению, как

ни один другой, дал много одаренных специалистов, сильно укрепивших с годами кафедры стройфака, проектные организации многих областей и стройки. В основном укрепление пришлось на мужскую половину, женская часть особенно не отличилась.

Приближалось время дипломирования. Уже миновала производственная преддипломная практика, которую я прошел в Первоуральске на строительстве очистных сооружений одного из цехов Новотрубного завода. Начальником участка работал Александр Максимович Анисимов – невысокого роста, плотный, круглолицый человек, так и не придумавший, к какому делу меня можно было бы пристроить. С ним и его старшим братом Виктором, работавшим тогда шофером, мы были давно знакомы через отца и потом будем долго связаны совместной работой.

Робости на строительной площадке не испытывал, опускался в глубоченный котлован, лез в каждую дыру, болтаясь под ногами у работающих людей, охотно спрашивал обо всем, и даже отвечал, когда обращались любопытные ко мне. Стройка, при всей ее кажущейся на первый взгляд запутанности и бестолковости, не отталкивала, а наоборот притягивала желанием разобраться во взаимосвязях. Не имея определенных обязанностей, исправно ходил на работу, и сам себе находил занятия.

После практики нужно было определяться с темой дипломного проекта. Обычно в качестве объекта брали жилой дом или производственный цех какого-то назначения. Такая перспектива не устраивала, по этим

темам ранее делались курсовые работы, порядком надоевшие простотой. Повторять известное, значит обрекать себя на скуку. Предчувствие подсказывало, что если проект не увлечет по настоящему, то его можно просто не закончить.

У друга моего Левки настроение оказалось сходным. Мы мучились в поиске темы, пока не натолкнулись на идею – взяться за проектирование большепролетных железнодорожных мостов. Он отдал предпочтение металлическим конструкциям, а я – железобетонным. На том и остановились. Тут столкнулись с первыми трудностями. Мостостроение не являлось профилем нашей специальности промышленного и гражданского строительства. Это особая дисциплина, по ней нет у стройфака руководителя для дипломного проекта и консультанта. Однако наша настойчивость была поддержана, нашли в специализированном проектном институте “Уралгипротранс” руководителя темы, а консультантом определили известного в области старейшего строителя Головкина Алексея Миелевича.

Руководитель темы, работавший начальником проектного отдела института, при первом знакомстве с нами, добродушно посмеиваясь, объяснял, что мостостроение является самостоятельной дисциплиной, которую надо прежде изучить. Он не советовал нам, имевшим на дипломирование всего три месяца, браться за мосты и предрекал провал. Отчасти руководитель проекта оказался прав – дисциплина требовала изучения. Мы купили по его рекомендации книги по проектированию мостов, они сохранились и

на сегодняшний день, и приступили к делу, захватившему нас целиком.

Мой мост, уж позволю себе так выразиться, через речку Каменку у г. Каменска-Уральского имел пролет под 140 метров. Остановился я после сравнения вариантов на арочной конструкции, конечно, в модном тогда сборном исполнении. Постигал не только теорию, но облазил возводившийся тогда в Свердловске многопролетный арочный мост через реку Исеть. Его пролеты были небольшими, а дипломный проект давал возможность полету фантазии.

Каких только решений я не придумывал, предложил даже свою конструкцию кабельного крана для монтажа сборных элементов. Упоительная на одном дыхании работа завершилась в срок. Защитились вместе с Левкой на отлично. Работа над дипломом принесла огромное удовлетворение и обогатила новыми знаниями. На защите среди зрителей сидели и руководитель проекта, и мама. Она страшно волновалась. Когда все завершилось, я познакомил ее с руководителем. Он расхваливал меня, говорил, что не верил сначала в успех, и затем растрогался до слез, видимо, сказывался его возраст.

Потом, не без его подсказки, в деканат стройфака поступило письмо с просьбой распределить меня в этот самый специализированный проектный институт в Свердловске. Многие такого направления желали, но работу я хотел начинать со стройки. Скупые слезы руководителя проекта сейчас понимаю и благодарен ему за то, что имел возможность их видеть.

Институтские годы летели быстро. Учеба и снова учеба, зимние и весенние сессии с сопровождавшими их переживаниями, краткие каникулы, поездки на целинные земли, лагерные сборы в г. Челябинск и на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, производственная и преддипломная практика. Кроме того, ежегодная на младших курсах работа в осенние месяцы на совхозных полях, походы с группой, развлечения, забавы. И все это вдруг неожиданно завершилось.

За годы учебы многое изменилось, и менялись мы сами: я, например, не только подрос и стал выделяться в общей куче ребят, по крайней мере, не теряться, окреп, занимаясь разными физкультурно-спортивными развлечениями, заметно пополнил багаж знаний по всяким дисциплинам. Еще приобрел какой-то жизненный опыт, ровнее складывались отношения с друзьями и товарищами, понял, что выбранная профессия по мне и будет любимым делом на всю жизнь.

Сделанное мимоходом упоминание о дисциплинах хотел бы пояснить. Не стану утверждать о бесполезности хотя бы одного из изучавшихся предметов, они все оказались нужными, но два замечания берусь высказать. Отсутствовала система подготовки, ориентированная на будущую работу выпускника, он мог пойти на проектную работу, на производство, заняться научной деятельностью. Каждый из этих уклонов требовал расширенного

преподавания отдельных профилирующих дисциплин: производственникам – организация работ, проектировщикам – расчеты конструкций. Багаж полученных знаний у студентов всего потока оказывался одинаковым.

И уж совсем излишнее, сверх всякой разумной меры, уделялось внимание изучению идеологизированных предметов: политэкономия, исторический и диалектический материализм. Обязательное конспектирование классиков марксизма-ленинизма, так называемая работа с первоисточниками, отнимала массу времени и оглупляла студентов. Наивно в работах большой давности пытаться найти подсказки тому, как следует действовать в современных условиях и поступать завтра. Очень сходно это было с чтением “специалистами” витиеватых, полных образности куплетов Нострадамуса и перенесение сказанного им на все будущие времена.

Подошло распределение выпускников. Область наша как раз переживала строительный бум, требовавший молодых специалистов. Где-то в верхах согласовывались заявки, рассматривались обоснования, и в итоге основная часть выпуска инженеров строителей осела на Среднем Урале. Направлений за пределы Свердловской области было мало, и они закрывались желающими без принуждения. Больше всего выпускников осталось вообще в Свердловске, заполняя вакансии в институтах.

По запросу треста “Уралтяжтрубстрой” Панков, Трофимов и я получили направление в г. Первоуральск,

где разворачивались крупные стройки. В проектные и научно-исследовательские организации пошли не только девчонки, но многие из ребят. Желающих связать себя с работой на линии, непосредственно на площадке строительства было мало, и их ряды со временем редели. В числе же тех, кто первую запись в трудовой книжке получил “мастер строительного управления” были совсем единицы.

После того, как последние формальности с институтом завершились, а начать работы требовалось по КЗоТ не позднее 1 сентября, чтобы сохранить непрерывность трудового стажа, в который учеба засчитывалась, оставалось свободное от всяких обязанностей время. Со Львом Десфонтейнесом мы договорились совершить самостоятельную поездку в Ленинград, родители эту идею поддержали.

Выбор объяснялся тем, что Лев когда-то жил в этом славном городе, его тянуло туда, и он хотел показать дорогие места мне. Я заехал за ним в г. Воткинск, погостили мы у его родителей, он ведь тоже был гостем в своем доме, и двинулись в путь.

Без вещей, совсем налегке, при деньгах через Москву добираемся поездом в северную столицу России. Живем рядом с Московским железнодорожным вокзалом в гостинице. С утра до позднего вечера две недели, не устраивая себе передышек и выходных дней, при фотоаппаратах мы обошли все достопримечательности Ленинграда и его окрестностей. Фантастический город – он не напоминал ни один другой, виденный мною до этого. Уставали сильно, но души наши отдыхали.

Питались, где придется, рассчитывались по очереди, а потом перешли на придуманную вместе систему. Один начинает сторублевую бумажку и платит за все, пока деньги не кончались, потом другой, так и чередовались. Уезжать не хотелось, так привык к городу и полюбил его, что в вагоне поезда, возвращавшего назад, продолжал жадно смотреть в окно, а из глаз текли слезы. “Я еще приеду сюда”, – твердил про себя.

Приезжал потом и не раз, привозил и дочку Иришу на теплоходе по маршруту Пермь – Ленинград. Водил ее, как меня когда-то Левка. После первых поездок за границу Ленинград в восприятии потускнел, поблек, но остался любимым. Последние каникулы заканчивались, не от того ли частично слезы при отъезде, предстояло самому начинать строить города. Какое же это непростое оказалось дело!

Чтобы не возвращаться к институтской теме, скажу, что на круглых датах выпускники потока какое-то время встречались. Последнее явление друг перед другом состоялось через двадцать лет после окончания института. Инициатива исходила от студенческой группы, называвшейся “детским садом”. Мне было поручено организовать место встречи. Я подобрал по старым связям базу отдыха “Утес” треста “Уралтяжтрубстрой” на реке Чусовой в 60-ти километрах от Первоуральска. Бывшие студенты собирались в Свердловске из разных мест Союза, прибыло тогда больше половины выпуска.

Мы еще легко в лицо узнавали друг друга без подсказок. Однако, по дороге на базу, в автобусе каждый участник торжественного сбора рассказал о себе, о достигнутом, о планах на перспективу, которые тогда еще в головах большинства были. Заранее подготовили стенды с фотографиями студенческих лет и смонтировали их вместе с последними снимками. Получилось интересно и одновременно страшно. Старались делать вид, что нас не пугают наши годы: много шутили, рассказывали веселые истории из прошлого, проводили конкурсы остроумия, запивали спиртным тосты, просто дурачились.

Но что интересно, в соревновании остряков победил Валька Филимонов. У него было красное лицо, видимо, обгорел на пожаре, много шрамов, один глаз был искусственный. Товарищем он считался хорошим. Так вот, на один из вопросов конкурса он дал ответ словами известной песни: “Подхожу я к милой, глаз поднять не смею”. Эта фраза, произнесенная другим человеком, такого бы смысла не имела. Тяжелый и жестокий юмор, но он был принят. Двух дней оказалось мало, чтобы пообщаться с каждым, не хватило и спортивных игр, и бани, и ночевки.

Все в итоге получилось хорошо, уезжали довольными, давали слово на расставание о новой встрече через пять лет, но... Внутреннее чутье, по моему, подсказывало каждому, что слова бросаются на ветер, что расставание предстоит навсегда. Нужно или контактировать чаще, чтобы не замечать старения других, а через них и свои годы, или не видеться совсем. Это же совсем просто.

Так организованно больше не встречались, я же вообще участником последующих сборов не был. И вдруг изменил своим правилам. В октябре 1999 года отмечалось семидесятилетие стройфака, прошло ровно сорок лет, как выпустили в свет нашу группу. Не будь одна служебная обязанность, связанная с датой, то я бы не приехал. А тут нужно было вручить от имени организации, в которой работаю – Государственной инвестиционной корпорации – подаренное одной из кафедр стройфака оборудование для компьютерного класса. Пришлось быть. В актовом зале главного корпуса института набралось тысячи полторы человек, стояли в несколько рядов за сиденьями на ногах: преподаватели, выпускники, студенты. Из нашей группы не было ни одного человека, никто не пришел даже из тех, кто живет в Свердловске. Понять их могу. С потока знакомых оказалось трое, в том числе, Лушников Володя. “А, Борис, привет!” – сказал он, обращаясь ко мне, а сам смотрел куда-то еще дальше, чем в студенческие годы. Наверное, сказывалась прогрессирующая дальновзоркость.

Из преподавателей нашего времени в живых остались Каширский Ю.А. и Шляпин В.А., который вел деревянные конструкции, он был деканом стройфака в 1967-1969 годах. Подошел к Каширскому, поздоровались, я нашел его не очень изменившимся за последние почти двадцать лет, как мы не виделись. Меня он не признал, как ни силился вспомнить, все-таки ему исполнилось 82 года. Когда вечером на

большом банкете Ю.А. первому дали слово, то он показал, что сохранил прекрасные воспоминания о тридцатых годах, о своей молодости. Присутствующие долго не могли осушить бокалы, слушая его приветствие.

Мне была оказана честь выступить в актовом зале после ректора института Набойченко С.С., декана стройфака Носкова А.С. и представителя Президента России по Свердловской области Брусницына Ю.А. Второй раз в жизни через сорок с лишним лет поднялся я на эту сцену, но уже не в образе пожилого человека, которого тогда играл, а именно пожилым человеком. Слушали внимательно, аплодировали, подходили поблагодарить – значит, получилось от души. В зале присутствовали выпускники стройфака других лет, в их числе были моя сестра Наташа и моя дочь Ирина. Сын Саша находился в Москве, а то бы мы были полным составом.

На вечернем банкете меня подвели к женщине, которая выпускалась раньше на один год. Мы были знакомы по учебе, хотя она шла по кафедре архитектуры, и затем несколько лет встречались по производственным делам. Прежде высокая, стройная девушка, известная своей привлекательностью, стала неузнаваемой. Улыбка ее уже не красила. Пораженный, я кроме слов приветствия ничего не смог добавить. Почти сразу же оставил зал и уехал домой к дочери. До глубокой ночи не мог уснуть, переживая все увиденное и услышанное за этот трудный день. Улыбающееся лицо знакомой не оставляло меня. Все-

таки хорошо, что из нашей группы не пришла на юбилейные торжества ни одна девчонка. Умницы они были и такими остались.

И еще несколько слов о самом близком друге студенческих лет Левке Десфонтейнесе. На базе “Утес” он был, потом никаких контактов с ним больше пятнадцати лет. Ждать от него звонка можно было еще столько же времени. Года два назад, находясь в Санкт-Петербурге, не выдержал и позвонил ему по домашнему телефону, номер которого всегда имел с собой, из гостиницы около Московского вокзала. Ответил и даже узнал, когда я представился.

Договорились, что встретит меня возле станции метро, до которой рассказал, как добраться. Обменялись на всякий случай приметами. Конечно, признали друг друга, обнялись. Белый клочок волос как-то растворился в его поседевшей и поредевшей шевелюре, добавилось много морщин, но передний зуб со щербинкой остался на месте. Сохранилась прежняя манера жестикулировать руками, немногословность и походка.

В двухкомнатной квартире старая мебель, но все чисто и опрятно, что не отнес к его заслугам. Вернулась с работы жена, предложила чай. Нашлась все же женщина, сумевшая крепко прибрать его к рукам. Посидели, поговорили, многое вспомнили. Он продолжает работать в том же институте “Гидропроект”, стал главным инженером проекта,

проектировал гидростанции, в том числе и за рубежом. Проводил он меня прямо до вагона, уходящего на Москву поезда. Расставание получилось грустным, больше не созванивались. Как он там? После нашей встречи я еще несколько раз приезжал в город на Неве. Как же мы были невероятно близки когда-то, и как отделились, не поддерживая постоянных связей? Что-то слишком печальной получилась концовка главы о самом прекрасном периоде жизни. Видно, объяснение нужно искать в своем характере.

ФОРМУЛА СМЕХА



Отто Новожилов

ЗНАТЬ БЫ РАНЬШЕ

Сессия, товарищи, – это вещь... Это не какое-нибудь там групповое собрание, на которое можно пойти, можно не ходить – никто ничего не скажет.

Сессия!.. Когда кто-нибудь произносит это слово, мне хочется смеяться и плакать. Пожалуй, больше плакать, чем смеяться...

Я сначала тоже считал: подумаешь, сессия! Кто-то там занимается, кто-то ходит на лекции. А зачем? Посидел ночь, утром пошел, сдал на свежую память – и все! Если вас в детстве ничем твердым по голове не били, то никакого труда вам не стоит запомнить на короткое время какие-нибудь там формулы или тезисы.

...Все вроде бы шло хорошо, но только стал я замечать, что после каждой сессии морщин прибывает, а волосы выпадают. Голова начала трястись, правое веко – дергаться. А нервным стал – как какой-нибудь Хаджи-Мурат или буфетчица.

Пошел к невропатологу, а она (такая пожилая женщина) и сообщает:

– Молодой человек, у вас расшатана нервная система!

– Вот, – говорю, – спасибо! А то я не знал... Чувствую, что-то у меня расшатано, а что именно – никак не мог

догадаться! Нельзя ли что-нибудь там вправить или компресс какой-нибудь?

– Нет, – отвечает, – эта болезнь трудноизлечимая. Обливайтесь по утрам холодной водой, а также избегайте волнующих моментов. Поэтому, дескать, не читайте детективных романов и номеров стенгазеты “Технолог”, не смотрите иностранных кинофильмов и не ходите в зал холодных закусок...

– Ну, – говорю, – а если сессия?

– А нужно заниматься систематически, чтобы во время экзаменов чувствовать себя уверенно.

– Да я, – говорю, всегда чувствую себя уверенно, даже если ничего не знаю. Девчонки вон все знают назубок, а придут сдавать – трясутся, как малолетние преступники.

Тогда невропатолог говорит:

– Придите, пожалуйста, в среду – будет профессор, может быть, он что-то посоветует.

Прихожу в среду. Профессор (сразу чувствуется, повидал на своем веку сумасшедших) с первого взгляда определил:

– Вы, молодой человек, занимаетесь штурмовщиной! Вы сознательно сокращаете свою жизнь! А сейчас вы неврастеник!

Потом он мне все так объяснил, что у меня даже слезы на глазах выступили. Дескать, от штурмовщины у человека слабеет память, больше извилин становится снаружи и меньше – внутри. Короче говоря, наступает преждевременная старость. Вытер я украдкой слезу и сказал:

– Профессор! Почему вы мне эту лекцию на первом курсе не прочитали?

Профессор поглядел на меня сквозь очки... А глаза у него грустные-грустные:

– На первом курсе, молодой человек, вы бы мне не поверили.

НОВАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ

Есть понятия и качества, не поддающиеся измерению. Однако жизнь настоятельно требует разработки системы, позволяющей измерять и сравнивать некоторые явления нашей бурной жизни.

Хотелось бы, в связи с этим, предложить вашему вниманию первый опыт создания такой системы, разумеется, не претендующий на полноту и окончательность.

Пономарь – единица измерения лекторского мастерства.

$$1 \text{ пономарь} = \frac{1}{1 \text{ цицерон}} .$$

Барбос – единица вежливости.

Пардон м² – единица ловкости (преим. во время танцев).

Пень – единица восприимчивости.

Флюгер – единица принципиальности.

Скандал – единица энергии (1 скандал = 100 кг тротила).

Люминал – единица эмоциональности (книги, лекции и т.п.).

Удав – единица доброты экзаменатора.

НЕ ЧЕХОВ

Директор механического завода тяжело вздохнул. Он делал третью попытку прочесть деловое письмо, подготовленное его заместителем.

“На ваш № 475/16 от 6. 04 сего г. в настоящем сообщаем, что в силу того, что фактическое наличие запрашиваемых в вышеупомянутом сведений в части частей к редуктору РМ-250 подтвердилось, частично обращаемся с просьбой разрешить пролонгировать с целью увеличения наличия существующего сог...” – директор сломал карандаш, швырнул обломки и поднял телефонную трубку:

– Антон Палыч, зайди, пожалуйста, ко мне...

Через минуту, когда зашел Антон Палыч, директор держал руки под столом, подальше от хрупких предметов.

– Послушай, когда я отучу тебя от этого бюрократического стиля? Пишешь письмо, копия – в

министерство, и что ты думаешь, там эти твои спирали читать будут?

– Так ведь я не Чехов, – привычно буркнул Антон Палыч.

– Возможно, ты не Чехов и не Маргарита Алигер, но простое письмо ты написать можешь?

Заместитель сокрушенно молчал. Директор посмотрел на него и смягчился.

– Вот что... Бери это письмо и переделывай. Пиши просто. Никаких “увеличения наличия”. Небось, в личных письмах изъясняешься нормальным языком?

– Ясно...

– Давай действуй!

В тот же день директора вызвали в Москву на совещание.

... Через три дня, в разгаре совещания, замминистра зачитал “для разрядки” официальное письмо, адресованное ему механическим заводом.

“На ваш № 475/16 от 6. 04 сего года.

Здравствуйте!

В первых строках моего письма спешу сообщить, что письмо ваше мы получили, за что большое вам спасибо. все живы-здоровы, чего и вам желаем. Погода у нас стоит хорошая, правда, вчера выпадал снег, но он растаял. На улице солнышко, градусов 12. Насчет дела, о котором вы спрашивали, могу сказать, что эти вахлаки с завода запчастей перестали посылать шестереночки; а когда если и пошлют, то у них зубешки не сходятся. Так что из запасов, которые были, скоро останется шиш

с маслом. Очень прошу: рывкните на них между делом, а то никакой нет управы и возможности в смысле обуздания с нашей стороны. Сейчас меня зовут играть в бильярд, так что я письмо заканчиваю. До свидания. Жду ответа, как соловей лета.

Заместитель директора механического завода

А.П. Чечкин”.

Марк Шварц

ГОРИЗОНТЫ МЕХАНИЗАЦИИ

Утром в наш отдел принесли машинки для автоматической заточки карандашей. Инженеры-конструкторы с любопытством рассматривали диковинные механизмы.

Федоров читал вслух инструкцию по эксплуатации:

– Одно такое устройство позволяет конструктору сэкономить до пятнадцати минут в смену за счет времени, которое он обычно тратит на заточку ручным способом. – Голос Федорова дрожал от волнения. – Вы представляете себе?! Целых пятнадцать минут в день! Вжик – и готово!

Восторгам не было конца.

Мы заточили все запасы карандашей на неделю вперед и вышли в коридор перекурить. Перекур несколько затянулся. А зачем спешить, если уже целых пятнадцать минут сэкономлено?

Однако сюрпризы ожидали нас на каждом шагу: раскрасневшийся от натуги завхоз втащил в отдел ящик с автоматизированными стирательными резинками, напоминающими электробритвы. Через несколько минут весь отдел зажужжал. Стоя за дверью, можно было подумать, что здесь парикмахерская. Инженеры

стирали все, что попадалось под руку. Резинки действовали безотказно.

– Подумать только! – удивленно говорил Федоров. – Эта малявка, если верить инструкции, экономит до тридцати минут рабочего времени квалифицированного инженера за смену! Вз-з-з – и готово!

Когда оказалось, что стирать больше нечего, мы снова отправились на перекур, памятуя, что сорок пять минут за сегодняшний день уже сэкономлено.

Вернувшись в отдел, мы ахнули: на каждом рабочем месте уже лежали автоматические кнопковтыкатели и специальные приспособления для проведения всяких прямых и кривых линий на чертежах! Федоров наскоро прикинул общую экономию рабочего времени среднего инженера и сел читать журнал “Юность” за прошлый год.

После обеда в отделе уже стояли настольные вычислительные машины, заменяющие труд сотен опытных вычислителей.

– Братцы, – задумчиво сказал Федоров, – механизация позволила нам сегодня сэкономить более трех часов рабочего времени, – он посмотрел на часы. – Сейчас ровно два. А если бы не было всей этой техники, было бы уже пять. А в пять часов – конец рабочего дня!..

Потрясенный этим открытием, он оделся и, не попрощавшись, ушел по своим житейским делам, а мы отправились играть в пинг-понг.

Вот какие неограниченные возможности открывает механизация!

ДВАЖДЫ ВОЙТИ В РЕКУ

Зачем мне понадобилось все это? Трудно объяснить... Говорят, это иногда наблюдается у холостяков. Особенно когда ты в отпуске и тебе исполняется тридцать пять лет. Еще накануне вечером я испытал приступ черной меланхолии. Откуда-то из темного угла комнаты мне улыбнулась беззубым ртом проклятая старость.

Тоскливо сжалось сердце. И вдруг страстно захотелось вернуть, задержать уходящую молодость. Припомнился доктор Фауст...

Напрасно я пытался успокоить свой смятенный дух трезвыми размышлениями. Напрасно до полуночи бродил по центральному проспекту, внимательно вглядываясь в прохожих: не мелькнут ли на чьей-нибудь голове знакомые рожки сатаны... Но то ли в наше время сатана перевелся, то ли я искал не там, где надо, только этот странный вечер я закончил дома в обществе чашки крепкого чая и вечерней газеты. Бегло ознакомившись с текущими событиями, я дошел до отдела объявлений. Какому-то заводу требовались токари и стропали. Институты объявляли о приеме студентов. Стоп! Тлеющий огонек надежды стал разгораться и превратился в яркий факел, осветивший блистательную и неожиданную перспективу. Я должен стать студентом! Слиться с этим вечнозеленым потоком молодости, слиться с юностью! Решение созрело. Жадными руками я выхватил из ящика стола свой давно пожелтевший от времени аттестат зрелости. Золотом

отливали буквы. Стройной колонкой темнели оценки: “отлично”, “отлично”, “отлично”...

Утром следующего дня я отправился в приемную комиссию. Институт оживленно шумел. Юные абитуриенты торопливо заполняли анкеты и, возводя глаза к небу, писали свои короткие автобиографии. Стайки молодежи суетливо сновали по коридорам. Груз прожитых лет начал медленно сползать с моей спины. Плечи распрямились. Втянулся некогда отвислый живот. Горячо и порывисто забилось сердце. Казалось, сам воздух института подействовал на меня, как живая вода. Выполнив все необходимые формальности, я отправился готовиться к экзаменам. И карусель завертелась! Еще вчера я не знал, чем бы мне занять время отпуска, а теперь не хватало суток.

Выяснилось, что я основательно забыл школьный курс: для моей повседневной работы эти знания совсем не требовались.

Вскоре начались экзамены. Сочинение я написал на тройку.

– Откуда у вас такой казенный стиль письма? – удивленно спросила молоденькая преподавательница, просматривая мою работу. – Вот, например, вы пишете: “Согласно письма Татьяны к Онегину нам известно...” Это же канцелярщина какая-то!

Что я мог ответить ей? Что все так пишут? Что это – общепринятый стиль? Я смолчал. Хуже было на экзамене по физике.

Мне попалась трудная задачка по электричеству. Я никак не мог применить правило буравчика: забыл, в какую сторону он ввертывается.

– Неужели не помните? – улыбнулся экзаменатор. – Это же так просто! Как движется штопор, когда его завинчивают в пробку?

Я честно признался, что в повседневной практике никогда не применяю штопор, а открываю бутылки одним ударом ладони по донышку...

Но самое страшное произошло на экзамене по математике. Я не сумел перемножить три числа без помощи логарифмической линейки, вступил в пререкания с преподавателем и был удален из аудитории. Встреча с председателем приемной комиссии была не из приятных. Битый час он терпеливо убеждал меня отказаться от дальнейших попыток стать инженером-механиком. Его искренний голос до сих пор звучит в моих ушах.

– У вас еще все впереди! Быть может, вы станете хорошим артистом, философом или учителем, но к инженерной механике у вас явно нет ни малейшего признания... И не надо отчаиваться.

– Поздно! – сказал я. – Выбор уже сделан. Окончательно. Дело в том, уважаемый, что тринадцать лет назад я уже окончил ваш институт. С отличием. И с тех пор работаю инженером-механиком.

Председатель экзаменационной комиссии захлопал глазами, а я с достоинством удалился, чувствуя в нагрудном кармане приятную тяжесть давно полученного диплома.

Отпуск закончился. Ранним утром в понедельник я уверенно открыл обитую дерматином дверь своего кабинета.

“Философ был прав, – грустно подумал я. – Нельзя дважды войти в одну и ту же реку!”

Борис Матюнин

ФОРМУЛА

Вот и пошел мой второй трудовой месяц после окончания института. Работал, казалось, неплохо. Но Сергей Степанович, мой начальник, попросил зайти к нему:

– Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек! Садитесь, пожалуйста. Итак, сразу приступим к делу. Вы когда окончили институт?

– Два месяца назад. Месяц отдыхал и месяц у вас работаю.

– Так... Значит, вы у нас один месяц... Гм... А товарищи, с которыми вы работаете, десять-пятнадцать лет назад дипломы получили. Следовательно, у кого больше опыта?

– У них, конечно.

– Вот и я думаю, что у них. Вам бы поучиться надо, а вы... так сказать, уже советы даете. Ну, ничего, это бывает по неопытности.

– Какие советы, Сергей Степанович?

– Ну, например, настойчиво предлагаете товарищу Трубкину применить для расчетов уравнение теплопроводности, хотя, по его мнению, это совершенно ни к чему.

– Как ни к чему?... Применив это уравнение, мы,

Сергей Степанович, гораздо быстрее вычислим заданный режим нашей новой установки.

Сергей Степанович задумался, затем спросил:

– Вы помните это уравнение? Напишите-ка... – И дал мне листок бумаги.

Я моментально написал.

– А в дифференциальной форме?

– В дифференциальной – вот так... – Без особых с моей стороны усилий на листке бумаги возникла стройная формула.

– Да... – Сергей Степанович сдернул очки и начал медленно протирать их носовым платком. – В принципе я с вами согласен. Но вот что – выписывайте-ка себе командировку, поезжайте на монтаж – вплотную займитесь предыдущей установкой.

И я уехал...

Вернулся усталый через два месяца. На этот раз Сергей Степанович встретил меня более радушно.

– Ну-ка, – пошутил он, – черкните мне уравнение теплопроводности.

Я вырвал листок из блокнота и написал.

– А в дифференциальной форме?

– В дифференциальной?... Сейчас...

Прошла минута, прежде чем я написал первую ее половину. Во второй я что-то никак не мог припомнить коэффициент да и вместо корня кубического написал квадратный.

Сергей Степанович, внимательно проследив за моими мучениями, сказал:

– Продлите себе командировку еще на пару месяцев.

За пятьдесят два очередных дня мы с нашими ребятами закончили монтаж установки. Вернулись. Сергей Степанович вызвал к себе.

– Как дела, молодой человек? Поработали, наверное, на славу?

– Да... не знаю...

– Не скромничайте, не скромничайте. Лучше напишите-ка наше уравнение в дифференциальной форме.

– Сейчас...

Я взял ручку, но даже и первой части формулы, как ни странно, вспомнить не мог.

– Ну, а в обычной форме?

Я попытался что-то написать, но через минуту должен был признаться:

– В обычной тоже забыл.

И Сергей Степанович сказал:

– На славу поработали, молодой человек! На славу! А теперь за рабочий стол. Да, да. Пора вам с Трубкиным расчеты новой установки заканчивать...

АЛГЕБРА ЛЮБВИ

Техник Синичкин рассеянно бродил по затемненному коридору института, курил и размышлял. Хватит, наконец, болтаться! Пора разжигать семейный очаг! До чертиков надоело самому стирать и толкаться по

столовкам... Но кого же позвать с собой в длинную жизненную дорогу? Честно говоря, претенденток на это долгосрочное путешествие было несколько, и от этого у Синичкина разболелась даже голова. Он вернулся на рабочее место, достал чистый лист бумаги и продолжал размышлять. Чаще других Синичкину вспоминалась обворожительная кудесница любви и дружбы Оля, поэтому он решительно написал:

Синичкин + Оля = любовь.

С минуту полюбовавшись на стройное уравнение, он вдруг ощутил внутреннее беспокойство. Что-то тревожило душу Синичкина в этой с виду симпатичной формуле. И он понял что. А как быть с Ниной? Такую беззащитную, головокружительную талию можно больше и не встретить! А что делать с Зоей, обладательницей жарких, можно сказать, мартезовских глаз, от которых порой совершенно некуда скрыться? “Ну дела, – тоскливо подумал Синичкин. – Жениться-то все равно надо. И притом только на одной!” Синичкин с сожалением внес изменение в формулу:

Синичкин + Оля - Нина - Зоя = любовь,

и, расстроенный, отрешенно устался в окно.

К столу подошел его друг, конструктор Ромеокадзе.

– Что, старина, грустишь?

Синичкин посвятил товарища в печальное содержание формулы.

Ромеокадзе тихо присвистнул и, улыбнувшись, сказал:

– Чепуховое дело! Ты что, алгебру не проходил в школе, что ли?! Переносим Нину с Зоей в правую часть уравнения с противоположным знаком. Ты меня понял?

– Вот это да! – ахнул Синичкин и записал:
Синичкин + Оля = любовь + Нина + Зоя,
после чего спокойно погрузился в очередной рабочий чертеж.

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ

Когда я только появился на свет, новенький и хорошенький, и сразу бодро заверещал, доктор, улыбаясь, шлепнул меня по розовой попке и воскликнул:

– Какой голос! Хороший будет парень!

Первая в жизни положительная характеристика моих вокальных данных пришлась мне по душе, и я засвидетельствовал свое согласие с ней веселым визгом.

Надо сказать, слова доктора оказались пророческими.

Например, в яслях мне было просто некогда вовремя проситься на горшок. Сжав кулачок, я вдохновенно выводил неокрепшим голосом оптимистические рулады и портил простынку за простынкой. Нянечка все прощала. Ругать меня было выше ее сил. Глядя на мое румяное улыбающееся личико, она каждый раз приговаривала:

– Ух ты, певец наш! Шалунишка! Ты что опять наделал? Шлепать бы тебя за это надо, да жалко – уж больно хороший ты парень!

В детском саду я больше всех плясал, пел и декламировал. Поэтому обладал повышенным аппетитом и ежедневно получал дополнительную порцию манки. Жизненные силы буквально распирали мой растущий организм. Я начал ломать чужие игрушки и нарушать распорядок дня. В ответ на критику сверху прибегал к песенному бойкоту. Наша воспитательница, которую я окончательно покори́л песней Крокодила Гены на последнем утреннике, сказала, широко открывая малиновый рот:

– Ох ты, наш нахаленочек! Вызвать что ли родителей? Да ладно уж, пожалею. Хороший ты парень! Спой-ка мне еще разок Крокодила Гену...

В школе с начальных классов меня увлекла самодеятельность. Я был незаменимым солистом в школьном хоре. Мой невинный пионерский тенор вызывал слезы у старых кадровых учителей. Днем я пел чистым дискантом “Взвейтесь кострами, синие ночи!”, а по вечерам покуривал с друзьями на улице.

В седьмом классе, после концерта на районном смотре, учительница застукала меня с бутылкой пива. У нее округлились глаза и пропал дар речи. Я смотрел ей прямо в лицо и обаятельно, по-комсомольски, улыбался. Уняв волнение, она ласково погрозила наманикюренным пальчиком:

– На первый раз прощаю. Ничего не видела. Подумай, парень ты хороший, прошу – не продолжай...

А я продолжал: пел, уже с гитарой наперевес, участвовал, списывал уроки, очаровательно шутил и угощал учителей крепкими комплиментами.

В политехнический институт я попал через клуб политической песни. От курса к курсу рос мой песенный авторитет борца за мир, заводилы, души общества. В деканате часто слышалось:

– Да, правильно. Отчислять его надо за неуспеваемость, но в целом он хороший парень. Думаем, подтянется...

На работе я часто шутил и смеялся. В обеденный перерыв брэнчал на гитаре. Ходил в походы. Знал больше всех анекдотов. Когда рухнул построенный по моим расчетам мост, меня хотели привлечь к суду. Жертв не было, и дело замяли. “Жалко его, – сказали, – хороший, в принципе, парень”. Но все-таки уволили.

Вы не знаете, где-нибудь требуется на работу хороший парень, а?

ГИПНОЗ

В пятницу у нас в институте выступал с лекцией известный гипнотизер. Я и поспорил с ребятами из нашего отдела, что, дескать, со мной этот психофокусник решительно ничего не сможет сделать. Слишком я твердый орешек! Во-первых, нервами я оснащен стальными. На личном счету – автокатастрофа, пожар, женитьба – и, представьте, ни одного седого волоса! Во-вторых, невнушаем с детства. У меня самой психической энергии на любое чудо

хватит! Да и девушки как одна утверждают, что взгляд моих карих глаз – самый что ни на есть гипнотический!

Наконец волшебник появился на сцене – черный, элегантный, с намагниченным взглядом. Не прошло и пять минут, как стал он выуживать из зала слабонервных товарищей. Я, конечно, пулей вылетел первым. Вижу, отдел наш коллективно дыхание затаил. В зале, как полагается, приглушили свет, глаза гипнотизера замерцали, и начал он ввинчивать свой взгляд в меня. “Успокойтесь, – обволакивает райским голосом, – расслабьтесь, веки у вас тяжелые, вам хочется спать, очень хочется...” Черта с два. Не хочется. Смотрю на него, улыбаюсь. Однако гипнотизер непростой попался. “Представьте, – зашептал он дальше, – что вы сидите сейчас за столом на своем рабочем месте”. Тут голова у меня закачалась, глаза слипаться начали. “А до обеда, – окончательно берет надо мной власть факир, – полчаса осталось”, Очи мои сразу и захлопнулись. Попался, значит. И давай он нехорошие шутки проделывать. Что ни пожелает, то выполняю. Не хочу, а делаю! Ужас какой-то! И ботинки снял. И на голову встал. Кукарекал. По стене босиком чуть до люстры не дошел! А вот дальше мой друг ошибся. И притом капитально. “У вас, – говорит, – как у всякого взрослого человека должны быть при себе деньги”, Лицо мое побелело, скулы свело, хочу сказать, что, мол, нет у меня никаких денег, а губы не слушаются, мычат: “Е...е...есть”. И откуда, думаю, он про рубль узнал! А этот нахал беззастенчиво продолжает:

– Дайте мне сюда купюру.

Сделал я рот замком. А ладони стараюсь коленками зажать. И все-таки с болью наблюдаю – моя правая рука сама в пиджак залезла и выдает рубль. Опустил гипнотизер его в свой карман, а взамен сует мне под нос какой-то кусочек газеты и внушает:

– Возьмите рубль назад.

Чувствую, гипноз проходить начинает. “Верните, – прошу, – мои деньги обратно”. Гипнотизер растерялся, руку мне на плечо положил, закликает: “Спите, спите...”

Тут я окончательно оклемался и перешел на дружеское ты. “Если, – говорю, – сейчас рубль не отдашь, то сам у меня заснешь. И надолго”, Вернул он тотчас рубль да еще зачем-то сверху положил пятерку. Оказалось, от взгляда моего, совершенно жуткого, он сам в гипноз впал...

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Мой конек – восточные философские учения. Не все, конечно, а наиболее полезные. На прошлой неделе я наконец освоил архитектурную ступень йоги – превращение в различных птиц и зверей.

В данный момент пребываю на службе. Вызывая всеобщее восхищение, лежу в позе лотоса на чертежных досках в углу комнаты. Вдруг рядом прошелестело: “Кажется, шефа несет...” Распрямляюсь

– и скачком к рабочему месту. До ужаса люблю свой отполированный ладонями стол. Мой стол – моя крепость. Мой преданный защитник. Кроме того, он у самого окна. Майское солнышко приятно греет мои прокуренные янтарные пальцы, которые почти сливаются с пожелтевшим листом ватмана на чертежной доске, уютно отгораживающей меня от коллектива. Кладу локоть на подоконник и смотрю вдаль... В проеме окна сонно гудит муха. А шефа все не несет... На душе покойно, благостно, и пошли чудесные превращения...

Только я обратился в вольного африканского слона с большими ушами, мирно жующего сочные ветки деревьев во дворе нашей конторы, как вдруг, словно из-под земли, вырастает шеф с казенным интересом.

– Петров, надоело ждать! Где техзадание для смежников? Будем мы перестраиваться в конце концов или нет?!!

– Будем, конечно, будем, – хочется прямо из-за стола двинуть шефа хоботом да, вроде, как-то неудобно. – Так вы о чем? Какое техзадание? Сейчас выясним... А, для смежников области. Так бы сразу и говорили, – превращаюсь в осла с запыленными копытами и невыносимой поклажей на спине. – Вы же знаете, я тащу на себе все командировки в отделе. К четвергу выполняю обязательно. Прямо сейчас сажусь за техзадание.

Слава богу, ушел. Принимаю облик человека и мелким шажком в курилку. Родные лица. Почти родственники. Свежие новости. Короткие анекдоты.

Звонок. На обед.. Момент – и я уже молодой клыкастый лев с пустым желудком. Три мощных прыжка по коридору – и я первый у раздачи в столовой.

Наевшись, сокращаюсь до размеров кота. Чуть слышно мурлыкаю песенку для румяных поварих за стойкой. Затем выхожу, мягко покачиваясь на лапках. И опять рабочий стол. Любимый стул с шербинкой. Сворачиваюсь клубком, затихаю. Ко мне очень близко подходит сестра по разуму культорг Новогрудова. Вся такая своя, домашняя. Трогает нежно ладошкой мою непокорную, с сединой прядь.

– Кисонька, лапушка, выручи. Морское животное из пяти букв...

– Оставь на столе... К концу дня сделаю... – от товарищеского поглаживания по телу разливается сладкая истома, я жмурюсь, слегка выгибаю спину и дремлю, дремлю... В затухающем сознании плывут милые сердцу женские образы...

Звонок. С работы. Вылетаю орлом из конторы, планирую на асфальт и становлюсь самим собой. А это, если бы вы знали, так скучно...

Геннадий Потапов

ГИБЕЛЬ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фантастико-юмористический рассказ

Я был лично знаком с изобретателем. В его комнате, заваленной радиодетальями, книгами, стеклянной аппаратурой, я услышал удивительные вещи.

– Я ненавижу свой диван, – проворчал он однажды. – Сколько драгоценных минут я потерял из-за него утром. Этот негодяй отнимает у меня целые часы днем. Я лежу и думаю, думаю на отвлеченные, совершенно не нужные для меня темы.

– Что такое мозг? – задумался я однажды. Вернее, это мой мозг думает, что он такое. Нельзя ли его усовершенствовать? Тогда я еще не знал,

что мозг – это просто белковая ткань, обильно питаемая кровью. Каждая клетка этой ткани связана с другими, всеми возможными связями. Благодаря их дружной работе мозг выдает информации больше, чем получает.

Например, получает мозг информацию о том, что в сессию вы сдаете четыре экзамена и дополнительно выдает на кору больших полушарий: “Больше двух заваливать нельзя! Выгонят”.

Так вот из-за этого проклятого дивана – лежание на нем обостряет (все мои умственные способности – я и

решил сделаться изобретателем. Решил усовершенствовать мозг, а между делом изобретать по мелочи.

Для начала я сделал в своей комнате паровое отопление из двух самоваров и бутылок от рислинга. Посоветовал маме в прокисший суп положить мыло: выделившаяся щелочь нейтрализует кислоту, и суп снова готов к употреблению. Бабушке, она у меня религиозная, помог научно обосновать загробный мир, используя гипотезу антимира.

Но самым нашумевшим моим изобретением оказалась кровать-будильник.

Кровать моей конструкции мало напоминала кровать в общепринятом значении слова, а что-то среднее между самосвалом и катапультной. Положение для сна ограничивалось восьмью часами. Утром кровать выбрасывала спящего в сторону умывальника.

В качестве эксперимента, модели поставили в тех комнатах общежития, где студенты систематически просыпают занятия. Есть у нас еще такие. Деканат говорит им: идите в ногу с графиком, а они спят. Бюро зовет на субботник, они приходят на воскресник.

Показываю я однажды сны в комнате нашего общежития прибором для производства биотоков, пластинки слушаю, с девчонками разговариваю.

– Девчонки, – говорю я, – вам к 5 курсу надо всем выйти замуж. – Это находит отклик у них в сердцах;

– Как? – спрашивают.

– Проще простого. Нужно познакомиться с парнем.

– Как? – спрашивают опять.

– Только не на танцах, не на вечеринках, не в кино и т. п., а в библиотеках, концертах симфонической музыки, на улицах и т. д. Подойдите к нему и скажите: “Вы мне нравитесь, молодой человек, но я думаю, что у вас скверный характер, даю вам месяц сроку”, – парня надо заинтересовать,

– А скажи-ка, изобретатель, как мне экзаменатора заинтересовать, – бросил широкоплечий детина. – Сделай так, чтобы я в сессию знал так же, как наши отличники.

Подумал я, а что, если мозг этого неуспевающего и отличника соединить с помощью биотоков так, чтобы оба мозга составляли единое целое. Так и решил. Подделал немножко генератор биотока и отдал этому парию. И что вы думаете – экзамены он сдал на одни пятерки. Вот, думаю, это и есть повышение производительности мозга. Перспективы стали разные мерещиться, возможности.

Один ум хорошо, два лучше и оба работают как один. Соединенные мозги добавочной информации дают во много раз больше, чем те же, но раздельно. Например, соединяем физика и химика, получаем физхимика. Химика и биолога – получается биохимик... В общем...: почище чем открытие огня!

Стал я совершенствовать свой аппарат: уменьшил размеры, наводку сделал на расстоянии.

А тут подошли и мои экзамены. Взял на всякий случай я свою модельку. Но, кажется, зря. Беру билет и... на первый вопрос знаю, на второй знаю. Еще бы вспомнить две формулы. Нет, только одну. Но формула

не вспоминалась. Тогда я решился на отчаянный шаг – подключил к себе преподавателя. Минута, пять, десять, но нужной формулы не было.

Дома я оценил технические данные обычных бумажных шпаргалок. Потом я понял бессмысленность моего изобретения и губительные последствия его не только для меня лично, но и для всего человечества.

Как бы могло развиваться интеллектуальное воровство! Люди, не желающие приобретать знаний, свободно бы воровали чужие мысли, знания, жизненный опыт. Дураки поумнели бы, умные поглупели. Стало бы возможным точно определить умственный багаж каждого человека, включив в сеть в качестве источника биотоков. И к чему бы это привело...

Возможно, мое изобретение вреднее термоядерного оружия.

И я его уничтожил, Пусть каждый развивает свой мозг самостоятельно.

Изобретатель снова лег на диван и, отвернувшись к стене, сладко засопел носом.

Рейнгольд Силин**МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ**

Быль

Научно-практическая конференция в Доме культуры Уралмаша запомнилась мне на всю жизнь. Дворец был оснащен и оформлен по последнему слову техники того времени. Громадный зал упирался в большую сцену, а сцена в стену. Стена была обита красным бархатом, из нее выпирал беломраморный бюст вождя времен культа личности. Этот бюст из глубины ярко-красных занавесей тревожно вглядывался в зал. Зал от сцены отделялся глубокой оркестровой ямой шириной метра три, яма была обнесена перегородкой, обитой плюшем. В яме стояли пюпитры, стулья и рояль.

На сцене возвышалась высокая кафедра из полированного красного дерева, украшенная позолоченным гербом Советского Союза. На кафедре стоял медный поднос со стаканом и графином.

Все это вселило в меня ответственность, я перестал бояться выступать первым и решительно вышел на кафедру. Разложил доклад, отдал на эпидиаскоп иллюстрации и уперся носом в большой черный микрофон. Отодвинуться от микрофона было нельзя, поскольку яркий свет из под черного абажура бил прямо в глаза и буквы прыгали. О том, что силу звука и

света можно отрегулировать, нас никто не предупредил, а скорее всего забыли заплатить электрику.

Призывая к порядку я постучал по микрофону, он зарычал, и оглушительно взревели динамики.

Далее все покатилося к трагикомическому финалу. Я захлеб читал с листа, стараясь перекричать динамики. Они всеми децибелами били меня по барабанным перепонкам. В глазах рябило от света, строчки прыгали.... Наконец, к своему удовольствию, и я думаю, что и к удовольствию аудитории, доклад был закончен. – Прошу вопросы...

Из глубины зала доносился голос П.Г. Лузина, директора Института экономики, лауреата Сталинской премии.

– Простите, Павел Гаврилович, я вас не слышу. – С этими словами я покинул кафедру и сделал несколько шагов в сторону зала. Все равно ничего не слышно. Я сделал еще один шаг вперед и ... все передо мною взметнулось кверху, а я полетел вниз, в оркестровую яму. Бам-м-м, выразил неожиданность рояль, бум-м-м отрикошетировали штиблеты, а мощные аккорды известили меня о том, что я ударился о клавиатуру.

Рояль еще гудел, зал интригующе молчал... Я нащупал перегородку, подтянулся и вскарабкался на нее. Теперь-то после потемок мне было видно и слышно все. Вижу уралмашевского коллегу Емшанова.

Правая его рука оттопыренным указательным пальцем, как стволом револьвера, упиралась в меня. Он тихо, чтобы не спугнуть тишину и вежливо, чтобы не напугать меня, говорит:

– Прежде, чем отвечать на вопросы, посмотрите, на чем вы стоите.

Тут только до меня дошло, что я балансирую на шатком барьере, огораживающем оркестровую яму. Прыгаю в зал, бегу на сцену. Снова звон в ушах, только на сей раз от дикого хохота и аплодисментов. Все равно влез на кафедру и стал стучать по микрофону.

– Прошу вопросы!

Аудитория рыдала.

– Не надо! Не надо вопросов... Вы опять... И снова хохот. Включили свет, объявили перерыв. Я сошел со сцены под веселые аплодисменты.

Откуда-то выкатился шеф Ю.П. Поручиков – зав. кафедрой литейного производства.

– Ну артист, ну артист, вечно вы чего-нибудь выкинете. Во что вы превратили доклад?

– Я провалился с музыкой.

Шеф захихикал. Много лет прошло, но участники конференции при встрече со мной все еще весело улыбаются. **САМОУБИЙЦЫ**

День выписки спирта на некоторых кафедрах факультета знаменовался особым праздником. Сотрудники, от младших до старших, группировались и скидывались на закуску. Часа за два до окончания работы факультет затихал. В этот день утечка спирта была существенной.

Я получил три литра спирта на изготовление протравы шлифов для исследования структуры металлов и сплавов. Чтобы не искушать лаборантский состав, я подкрасил спирт желтой акварельной краской

и написал стеклоглафом – пикриновая кислота. В конце дня я отправился в литейную лабораторию. Дверь была закрыта изнутри и открылась не сразу. Мальчишки располагались вокруг кучи формовочного песка, в который, судя по взрыхленной поверхности и торчащего чебурека, были зарыты улики нарушения трудовой дисциплины.

– Штирлиц!

– Я! Откликнулся на кличку старший лаборант Валерий Луговской.

– Неси сюда бутылку с пикриновой протравой. Тагилин как-то вопросительно посмотрел на Калистратова, Калистратов на Луговского.

Луговской трясушимися руками открыл шкаф и принес бутылку.

– Будем травить шлифы раствором пикриновой кислоты в спирте. Сделайте раствор однородным.

Бутылку встряхнули, она пожелтела.

– Тут не было написано, что протрава яд.

– Тут написано, что это раствор пикриновой кислоты. Вы расписались в инструкции по технике безопасности, что вам известны свойства этого раствора, который в течение часа может убить человека.

Лаборанты без разговоров выскочили из лаборатории. В окно было видно, как они наперегонки бежали в медсанчасть. Я написал на бутылке – яд, нарисовал череп с костями и поставил бутылку на место.

События не дали мне посмеяться и успокоиться в кабинете. Звонок потребовал срочной явки в деканат.

Слева от декана с инструкциями в руках метлесил инженер по технике безопасности. Справа на вытяжку стоял мой шеф – заведующий кафедрой.

– Массовое отравление! Садись и пиши объяснительную, почему ядохимикаты содержались не в сейфе.

– Все, декан, хранится согласно инструкции. В шкафу с ядовитыми протравами, согласно все той же инструкции, имеют доступ лаборанты.

– Они и говорят, что выпили протраву – заявил шеф.

– А кто их заставлял ее пить и сколько ее надо выпить, чтобы отравиться? – стал оправдываться я, и только тут до меня дошло... Со смеху я повалился в кресло. Изумленное начальство многозначительно переглядывалось. Инженер по технике безопасности шмыгнул за дверь.

– Профессора, – обратился я к декану и шефу, – отравления быть не может, для сохранности спирта я подкрасил его акварельной краской.

Теперь уже профессора покатались со смеху, их остановил телефонный звонок.

Главврач медсанчасти известил, что всем дважды промыли желудки.

– Первая помощь оказана, что будем делать дальше?

– Дальше? Ставьте еще по одной клизме.

– Какие справки? Гоните, гоните их без сожаления на работу через деканат!

Герман Дробиз

ЗАПИСКИ ВЕЧНОГО СТУДЕНТА

Комическая фантазия

Несколько слов для первого знакомства –

Здравствуйтесь, я – Вечный Студент! * Когда я знакомлюсь и называю себя, никто не верит. Но я действительно Вечный Студент. Много веков назад, успешно сдав вступительные экзамены в один из институтов (то ли полимифический, то ли варварологии, сейчас уже не помню), я прошел под первым в мире плакатом “Привет новому приему!” и с тех пор брожу по университетам, вузам, училищам, колледжам всего мира и учусь, учусь, учусь.

Я изучил несколько сот наук, среди них строительство пирамид, риторику, черную магию, сравнительную ахинею, учение о мировом эфире, теорию относительности, астроботанику и прочее.

Я прошел через неисчислимое количество заданий, собеседований, коллоквиумов, экзаменов и зачетов. Если раздать студентам страны все мои отличные оценки, каждый получит право на две

* Студент – веселое симпатичное существо, населяющее все точки земного шара. Водится в аудиториях, лабораториях, иногда – в амбулаториях. Умеет петь и смеяться, как дети, знает четыреста способов приготовления пищи без стипендии и одно житейское правило: “Не пицать!”

повышенные стипендии. Если последовательно связать все мои “хвосты”, то они протянутся от Оксфорда до МГУ и обратно.

Я знаю студенческий фольклор всех времен и народов, начиная от гимна “Гаудеамус” и кончая пословицей дипломников “Не кричи ГЭК, пока не перескочишь!”.

Конечно, вечность наложила на меня свой отпечаток. Я вечно опаздываю, вечно отстаю от графика, вечно перехожу с факультета на факультет. Но зато я вечно бодр, весел и находчив, в доказательство чего расскажу несколько историй. Все они чистейшая правда, клянусь вечностью.

КАК Я ПОСТУПАЛ В ИНФИЗКУЛЬТ

...На заре высшего образования еще не догадывались писать на бересте или бараньей коже, не говоря уже о бумаге. Рубили зубилом по камню. Это был очень тяжелый труд. Богатые студенты нанимали бригады шабашников, а бедные – целые годы тратили на одно заявление о приеме, которое во все времена требовалось в письменной форме.

Бывало хуже: иной отличник и знать все знал назубок, а выдолбить ответ силенок не хватало. Поэтому наибольшим уважением преподавателей пользовались силачи, те, кто мог высечь на камне хотя бы условие

задачи. Именно с тех пор у спортсменов в вузах появилось столько поблажек и привилегий. А мне, надо сказать, в своих вечных переходах порядком надоело сдавать вступительные экзамены. Как я завидовал спортсменам! Поступаешь, скажем, в какой-нибудь индустриальный институт, сидишь на экзамене, плюхаешься. А рядом проходит широкоплечий высокий парень. Улыбка во весь рот, глаза приветливые, на голове – прямой пробор, в голове тоже. Сила и обаяние! Берет билет и, какой бы там вопрос ни стоял, отвечает без подготовки:

– В задачках я слабей цирковой собаки. Игреки путаю с тугриками, синус с Сириусом, бином с бидоном. Не знаю ни тригонометрии, ни химиометрии. А принципа работы электрочайника мне ни в жизнь не понять. Но зато я с детства подымаю тяжести, бицепс у меня сорок, бедро шестьдесят, грудь сто десять, поэтому меня очень тянет в ваш храм точных наук.

– Дорогой! – отвечают ему. – Спасибо, что пришли! Милости просим, будете спортивной гордостью нашего института!

Вот я и подумал однажды: а не заняться ли и мне спортом? Тогда смена учебных заведений превратится в пустяк.

Сказано – сделано. В Древнем Риме я пошел в гладиаторы, но в первом же бою со львами оказалось, что я боюсь щекотки, и меня дисквалифицировали. В средние века пытался заняться фехтованием, но из-за отсутствия дворянского титула не был даже принят в

секцию. Новейшие времена сделали спорт доступным широким массам, но, когда я пришел к одному тренеру и представился как новичок, он объяснил мне: – Массовость – это когда я отбракую тысячу человек, чтоб найти будущего рекордсмена.

Так я мучился двадцать с лишним веков, пока недавно знакомый не посоветовал:

– Сделай очень просто: поучись несколько лет в институте физкультуры и спорта, а после этого тебя всюду будут принимать.

– Идея хорошая, – говорю. – Но ведь, чтоб поступить туда, надо быть...

И тут меня осенило!

Я поехал в инфизкульт. Там как раз шли приемные испытания. Из аудиторий слышался грохот металла, звон мячей, глухие удары падающих тел. По коридорам нервно расхаживали загорелые здоровяки с литой мускулатурой. Меня они проводили насмешливыми взглядами и дали пару ласковых затрещин.

Я направился прямо в приемную комиссию, вошел и сказал:

– Плаваю я хуже мокрой курицы, прыгаю, как корова. Поло путаю с лото, регби с дерби, футбол с дискоболом. Никогда не был ни конькистом, ни хоккейщиком. Что касается борьбы и бокса, не родился еще слабак, у которого бы я выиграл. Но зато я с детства увлекаюсь техникой, могу собрать детекторный приемник, смастерить макет парового котла и подзорную трубу. Куда же мне поступать, как не к вам?

– Дорогой! – ответили мне. – Спасибо, что пришли!

Милости просим, будете у нас технической гордостью института! Ведь будете?

– Буду, – сказал я и вышел. Здоровяки завистливо вздохнули и почтительно расступились передо мной.

КАК Я УЧИЛСЯ В ИИГТЕ

Однажды, несмотря на всю свою находчивость, я чуть не погиб. Правда, умереть я могу только в одном смысле: нечаянно закончить институт. Этого-то я и боюсь. Едва почувствую, что запахло последним семестром, немедленно удираю в другой вуз. Иначе какой же я Вечный Студент?

Так вот, иду я как-то по улице и вдруг вижу вывеску: “ИИГТ”. Ниже читаю: “Институт инженеров гужевого транспорта”. Ба, думаю, здесь я никогда не учился! Прохожу, выясняю подробности. Институт готовит специалистов по конструированию, монтажу и эксплуатации телег, саней, дрог, рыдванов, колымаг, салазок, тачанок, ландо, пролетов, карет, арб, кибиток и так далее и тому подобное. Имеются собственные мастерские, конный парк, ипподром. Студентам предоставляется право бесплатного проезда в любом направлении на всех видах гужевого транспорта.

– Поступлю! – решил я и стал выбирать факультет.

Вспомнилось пушкинское:

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке...

Выбрал факультет сбруи и браздов правления. И вот я уже сижу на лекциях.

– Приоритет отечественного телегостроения... экономическая эффективность езды цугом... Прохожу практику.

– Студенты прибыли? Оч-чень прятно... не бойсь, не лягнеть... Подходи ближе, будем поворачивать оглобли...

Сдаю экзамены:

“Эксплуатационные особенности катания на воронных”. Значит, так. Во-первых, взялся за гуж – проверь тормоза и сцепление...

Узнаю разные новости.

Исключили из института двух студентов: они тайком выиграли по лотерее автомобиль.

Один доцент одобрительно высказался о дилижансах, и ему вкатили выговор.

Ученый совет разбирался в очередном скандале двух кафедр. На одной много лет решалась проблема добавки пятого колеса, на другой изобретали бесколесную телегу и вдобавок ссорились с кафедрой зимних экипажей, работники которой утверждали, что бесколесная телега – это сани. По ходу дискуссий противники мазали друг друга дегтем, который и там и там имелся в изобилии.

А я переходил с курса на курс, зубрил типы уздечек, учился гнуть дуги, записался в научный кружок и даже

изобрел бескнутовое управление: удары хлыста записывались на магнитофон, и возчику время от времени оставалось нажимать кнопку. После этого меня стали считать способным ученым и молодой надеждой.

Только на пятом курсе я спохватился, что пора смываться. Но было поздно!

– Не для того на вас затратили столько средств, чтобы лишиться ценного специалиста, – заметили мне.

– Но я могу провалиться на защите.

– Это абсолютно исключено. Вы все знаете. Моя жизнь, жизнь Вечного Студента, повисла на волоске. Единственным выходом было все-таки провалиться на защите. “Спокойно, мой мальчик, – сказал я себе, представ перед государственной комиссией. – Ты ничего не знаешь”.

Председателем комиссии был старенький знаменитый профессор. В молодости он написал монографию “Не в свои сани не садись” – об организации пассажирских перевозок на зимнем транспорте. Последние двадцать лет он ничего не писал, не читал лекций, а во время заседаний ученого совета убегал кататься с ледяной горушки на экспериментальных салазках.

– Начинайте, дружок, – ласково сказал он.

– Я не готовился. – Этого не может быть. Вы просто волнуетесь.

– Честное слово, ничего не знаю!

– Ай-яй-яй, – огорчился председатель, перелистывая мою зачетку. – Ведь у вас по “сбруе” пятерка. По “браздам” – тоже. А ваш ценный вклад в науке?

– Отметки я подделал, идею бескнутового управления украл у знакомого конюха, – парировал я.

– Перенервничал, – кивнул в мою сторону председатель. – Бредит. Такая умница, такой талант. История не простит, если мы перечеркнем ему жизнь. Поставим “удовлетворительно”?

Комиссия согласно хмыкнула.

“Неужели не провалюсь?!” – с ужасом подумал я и проорал:

– Гужевой транспорт – тормоз технического прогресса!

Комиссия переглянулась.

– У телеги нет будущего! Комиссия заулыбалась.

– Да здравствует автомобиль! Слава паровозо-, тепловозо- и электровозостроению! Только дурак поедет на перекладных, когда существует Аэрофлот!

Комиссия заржала.

– Ох-хо-хо, – проговорил председатель, утирая слезу, – насмешил! Ну, да жизнь поправит. Придете на производство, присмотритесь, поймете, как заблуждались. Еще отличным гужевиком станете.

– Не пойду на производство! – в отчаянии выкрикнул я. – Не выношу запаха навоза!

– Стерпится – слюбится, – кротко сказал председатель и прицелился пером к ведомости.

Я почувствовал приближение смерти.

В этот момент вбежал посыльный и передал

сверхсрочный приказ ректора о немедленном общепедagogическом собрании.

Председатель отложил перо.

Все собрались в актовом зале, украшенном барельефами знаменитых ямщиков прошлого и портретами предполагаемого изобретателя первой подпруги.

Ректор зачитал только что полученную телеграмму о ликвидации нашего института ввиду того, что, как выяснилось статистическими органами, изготовление промышленным способом телег, а равно и дрожек, рыдванов, колымаг и прочего повсеместно прекращено.

– Кто хочет высказаться?

На трибуну поднялся председатель комиссии.

– Товарищи, – сказал он. – Каждому преподавателю и студенту надо твердо уяснить, что гужевого транспорта – тормоз технического прогресса. У телеги нет будущего. Мы все должны сказать:

“Да здравствует автомобиль! Слава паровозо-, тепловозо- и электровозостроению!” От себя добавлю: только дурак поедет на перекладных, когда существует Аэрофлот...

Я тихонько поднялся и на цыпочках перешел в другой институт.

ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ

Если бы всем нам выдали дополнительную стипендию, мы не были бы так ошарашены: завтрашний

экзамен по физике будет принимать электронная машина!

Утром работники кафедры автоматических устройств внесли в экзаменационную аудиторию металлический шкаф с множеством кнопок, шкал, экранов и лампочек. Они водрузили его возле стола и подключили к электросети. Молодой аспирант сея в отдалении – следить, чтоб не было подсказок. Чудовище сверкнуло желтым глазом, расположенным там, где у нормального человека находится пуп, и четко произнесло:

– Доброе утро, товарищи! Прошу отвечать. Кто первый?

Наступила пауза. Никто не хотел идти, как теперь уже было ясно, на верную гибель: машину не разжалобишь – железные нервы.

В этот момент отворилась дверь, и в аудиторию ворвалась Зойка, наша знаменитая растяпа и лентяйка Зойка, которая, как всегда, опоздала.

Не успела она опомниться, как мы посадили ее к машине, нажали кнопку, чудовище прочитало Зойкин билет и сказал:

– Слушаю вас, товарищ.

Зойка принялась плести полнейшую чепуху, и после каждого ее ответа машина чеканила:

– Неверно. Дальше.

– Я вас боюсь, у меня мысли путаются, – захныкала Зойка.

В недрах машины раздалось легкое подобие вздоха.

– Спросите еще, – канючила Зойка.

– Хорошо; Самый простой вопрос. Объясните принцип моего устройства.

– Принцип вашего устройства? – задумалась Зойка.

– Вы знаете, что я вам скажу?.. Я вам откровенно скажу: в принципе вы устроены хорошо,

И даже здорово.

Механическая рука экзаменатора раздраженно пробарабанила пальцами по столу.

– Но что я такое?

– Подскажите первую букву, – предложила Зойка.

– Ну, эле...

– Элегантность – это да, это у вас есть?

– Да нет же! Электро...

– Электропрофессор!

На экранах осциллографов сверкнули белые молнии.

– Э-лек-трон...

– Ой, нет! – засомневалась Зойка. – На электрон вы не похожи. Электрон маленький и летает.

– Э-лек-трон-но-ме-ха-ни-чес-кий - пре-об-ра-зо-ва...

– тель! – подхватила Зойка. – Правильно!

Великие преобразователи физики: Эйнштейн, Галилей, Ньютон. Хотите, расскажу пятый закон Ньютона?

– Пя-то-го-нет! – стрелки всех шкал машины ушли за красную черту.

– Тогда шестой.

– И-шес-то-го-нет! – прохрипела машина, мигая тремя рядами лампочек.

– А вы не придирайтесь! – Зойка всхлипнула. – Конечно, вы преобразователь, но ведь и я человек! Я очень люблю физику!

– Что-та-ко-е-фи-зи-ка?

Сильнейшая вибрация сотрясала экзаменатор.

– Фи-зи-ка... – это такой учебник... очень толстый,.. я его очень, очень люблю... – И Зойка заплакала навзрыд.

– А ну вас к черту! – проревела машина, шлепая “уд” в Зойкину зачетку. – С вами все диоды посадишь!.. Эй! Кто-нибудь! Отнесите меня обедать!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ПРОЩАНИЕ

Лет четыреста назад довелось мне сдавать комплексный экзамен по астрономии, зоологии и алхимии. (Кстати, пришлось перед этим пять раз ходить на зачет к алхимичке. Представляете, кладут на стол два кирпича, а вы должны глазом определить, который из них просто кирпич, а который философский камень!) Зашел в читалку позаниматься – куда там! Из всех углов несется:

– Принципиальное отличие тверди земной от тверди небесной...

– В образе Одиссея Гомер раскрыл...

– На тело, погруженное в жидкость...

– Дьяволом называется...

Махнул я мантией, пошел без подготовки. Беру билет,

вопрос – легче некуда: “Форма Земли и ее положение в пространстве”. Быстро разоблачил мракобесные теории Коперника и Галилея насчет шарообразности и формулирую: “Земля – плоская, держится в пространстве на трех китах”.

Астроном говорит: “Молодец, верно”, но зоолог тут как тут:

– А Расскажи-ка нам, братец, о китах... Напряг я память, вспомнил: – Кит – чудо-юдо рыба из класса млекопитающих. Тело веретенообразное, заканчивается горизонтальным хвостовым плавником, передние конечности превращены в ласты. Кроме жиров и кожи, ценность представляет амбра...

– Умница! – шепчет зоолог, но тут алхимичка набрасывается:

– Из каких частей состоит амбра?

Разозлился я да как ляпну из химии, которую четыреста лет спустя слушал:

– В амбру входят амбрин, эфирные масла, бензойная кислота.

– Ха-ха-ха! – рассмеялась алхимичка. – Бензойная кислота! Вот так словечко придумал! Ставим тебе “отлично” за остроумие.

А на прошлой неделе я сдавал экзамен по химии. Беру билет, вопрос – легче некуда: “Бензойная кислота и ее производные”.

Я сразу вспомнил экзамен четырехсотлетней давности, но на всякий случай спрашиваю:

– Про бензин не надо?

– Нет.

– Так я и думал, – говорю. – Тогда сразу про бензойную кислоту. Содержится она, между прочим, в амбре.

– Правильно, – говорит преподаватель. – А что такое амбра?

– Амбра содержится в китах и кашалотах.

– Верно. А что ты знаешь о китах? Разозлился я да как ляпну из астрономии, которую четыреста лет назад изучал:

– Киты есть чудо-юдо рыбы из класса млекопитающих, на которых держится в пространстве Земля.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся преподаватель. – Ведь что вспомнил! Ставлю тебе “отлично” за остроумие.

Вот такая была история. Но если бы меня не на экзамене, а просто так спросили, на ком держится наша планета, я бы и четыреста лет назад и сегодня ответил одинаково:

– Земля держится на студентах!

КРАСНАЯ БУРДА

Редакция “КБ” уже давненько заметила, что нашим изданием интересуются не только люди, но и животные, в частности – тараканы. Они внимательно изучают страницы, оставляют многочисленные пометки на полях, на рисунках, в тексте... Специально для наших насекомых читателей мы и разработали вот такую памятку:

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ТАРАКАН ОБ ОРУЖИИ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ памятка

Введение

Помните, как радовались все прогрессивные тараканы, когда в нашу жизнь вошел человек? Казалось, он навсегда решит все бытовые проблемы – всюду будет тепло, будет грязь, дешевая еда. Но, как выяснилось, человек может быть не только другом, но и смертельно опасным врагом, когда выходит из-под

тараканьего контроля. И тогда в наш дом приходят болезни, разрушения, смерть.

Достаточно вспомнить хотя бы, сколько бед принесли тапки “Малыш” и “Толстяк”, сброшенные с ног на головы мирных жителей Кухни и Ванной в 1945 году! Сегодня на Земле уже накоплено столько смертоносной обуви и отравы, что можно было бы сотни раз уничтожить все тараканчество!

Кратко рассмотрим основные виды оружия массового поражения (ОМП) и правила поведения тараканов в случае возникновения человека.

Тапок

Тапок (ботинок, сапог, сандаля, лапоть, костыль) – самый старый и самый распространенный вид ОМП. Поражающее действие тапка основано на избыточном давлении, возникающем в районе тапкового удара. Так, давление в эпицентре падения тапка настолько велико, что от таракана, подвергшегося тапковому удару, остается буквально мокрое место.

Первым сигналом опасности при тапковой атаке является световое излучение сверху, появляющееся после характерного щелчка.

Вслед за излучением раздается характерный звук “У, С-С-СВОЛОЧИ!!!”, после чего в воздухе появляется тапок.

Таракан, первым заметивший излучение, должен подать команду “ВСПЫШКА СВЕРХУ!!!” По этой команде все тараканы обязаны прекратить любые работы по заглаживанию кухни, немедленно покинуть объект и проследовать в укрытие!

ЗАПОМНИТЕ! Обыкновенные обои ослабляют силу тапкового удара в 3-5 раз. Линолеум – в 10 раз. Плинтус деревянный – в 100 раз. Железная сковорода полностью защитит вас от тапкового удара, но не защитит от удара сковородой.

Сильный испуг удесятеряет силы. Известен случай, когда один внезапно напуганный таракан перевернул тарелку и укрылся под нею. (К сожалению, горячий борщ, находившийся в тарелке, оборвал жизнь безымянного героя.)

Если вы не успеваете покинуть объект, следует, поджав усы и лапки, притвориться едой противника (“изюм”).

Примером подлинного мужества стал подвиг тараканов-героев братьев Прусаковых, которые в неравном бою сумели подбить 2 вражеских тапка. Обвязавшись спичками, они самоотверженно бросились под тапки и подожгли их.

Дихлофос

Дихлофос (“Baygon”, “Raid”, “Egoiste”) – химическое ОМП. Основными поражающими факторами дихлофоса являются:

Звуковая волна (“ПШИК”),

НАПРАВЛЕННОЕ ДИХЛОФОСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (АЭРОЗОЛЬНАЯ ВОЛНА),

ОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАХ (ВЫСЕЛЯЮЩИЙ ГАЗ).

Звуковая волна распространяется со скоростью звука по всей кухне, поражает незащищенные уши тараканов, сеет болезнетворные децибелы.

НАПРАВЛЕННОЕ ДИХЛОФОСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

и ОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАХ вызывают у тараканов головокружение и галлюцинации, временную нетрудоспособность. Как правило, у особей, регулярно подвергающихся воздействию дихлофоса, возникает психофизиологическая зависимость от него. Таким тараканам с каждым разом требуется все большая доза отравляющего вещества. Потомство таких тараканов, как правило, тоже становится токсикоманами (“салятся на баллон”).

Для защиты от дихлофоса следует использовать складки противогаса, респиратора. Если под лапой не оказалось противогаса, можно воспользоваться влажной половой тряпкой или использованной туалетной бумагой.

Огромную роль играет правдивая и своевременная информация. Помните первомайскую демонстрацию на Кухне в 1986 году? Тысячи тараканов шли по полу, улыбались, не зная, что содержание выселяющего газа в воздухе превышает все допустимые нормы. А руководители уже все знали и, тем не менее, тоже улыбались демонстрантам, махали усами с хлебницы!..

Чистота

ЧИСТОТА является самым подлым и грозным ОМП. Следите за тем, чтобы чистота не проникала в места вашего постоянного пребывания.

Чистота наводится на жилище тараканов посредством веников, швабр, тряпок. Самым страшным носителем чистоты является так называемая “чудо-швабра” (по умойной силе превосходит веник в 100 раз, обычную швабру в 10 раз, тряпку половую мокрую – в 1 раз).

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЧИСТОТЫ, старайтесь не провоцировать человека – не допускайте небрежности в обращении с собственными фекалиями! Никогда не оставляйте их на полках, посуде, полотенцах. Для хранения фекалий вполне годятся гречневая крупа, чай, сухари.

(отдельно в рамочке) Если **ЧЕЛОВЕК** разжиг духовку газовой плиты, в которой вы живете,

надо помнить следующее:

1. Основной поражающий фактор духовки – повышенная температура, от которой остаются ожоги на морде, животе, чреслах.

2. Как известно, у таракана шесть лап. Двумя верхними прикройте морду. Двумя средними – живот и чресло. Убегайте на двух задних.

ЭВАКУАЦИЯ

План эвакуации надо повесить на видном месте (за плинтусом, возле помойного ведра, на задней стенке шкафа с продуктами), но не на глазах у человека!

При эвакуации следует использовать заранее разведанные вентиляционные ходы полного профиля. (Не загромождайте их!) В таких ходах можно идти не сгибаясь, в полный рост. По дороге нужно обозначать небольшими темными шариками места привалов, повороты, места отдыха и приема пищи.

Зоны, зараженные китайским карандашом, следует преодолевать, не прикасаясь к ним ногами (перепрыгивать, перекатываться на спине, перелетать на мухах, комарах).

Ни в коем случае не пейте сырую воду из-под крана!

Во-первых, она кишит бактериями, а во-вторых, вас может смыть в канализацию! Поэтому пить, мыться следует только в водоемах с кипяченой водой – в чайниках, кастрюлях, тарелках. При этом на берегу должны оставаться двое дежурных – санинструктор и спасатель.

Помните, что сориентироваться в сложной ситуации, не поддаться панике вам поможет радио и телевидение. Забравшись в телевизор или радиоприемник, вы сможете укрыться от воздействия любого ОМП.

Особям, подвергшимся воздействию ОМП, следует следовать в ближайший вычислительный центр. Там, в системном блоке компьютера, удобно устроившись у вентилятора, они смогут быстро поправить подорванное здоровье.

**ИЗУЧИВ ЭТУ ПАМЯТКУ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДРУГИМ ТАРАКАНАМ ИЗ УС В
УСА!**

ИВАН КАРЛОВИЧ ЭЙНЦВЕЙН

Великий русский изобретатель

(... – ...)

И. К. родился и вырос в изобретательской деревне Ноухаево. А за рекой жили рационализаторы. По воскресеньям мужики ходили биться с рационализаторами стенка на стенку. Ваня был в

детстве живым, но малоподвижным ребенком, драться не ходил, а сидел дома и изобретал для драчунов палки с загнутыми гвоздями, бронекафтаны и предохранители для рогаток.

Азы изобретательского искусства жадный до знаний И. К. постигал в кузнице. Часами он простаивал у наковальни без дела, ловя каждый удар подслеповатого кузнеца Митрия. Чуть позже, когда кузнец отвернулся, юный Эйнцвейн с помощью простого молотка расплющил ядро водорода.

Оправившись от этого изобретения (неопытный И. К. попал молотком по пальцу), юноша изобрел гранату и бросил ее к соседу в огород. Соседу оторвало два пальца и закинуло их аж на колокольню. Самого соседа не нашли. Скорее всего, он испугался шума и убежал в лес.

Некоторое время спустя Иван вновь удивил односельчан – первым в своей губернии выдвинул смелую гипотезу о существовании других губерний. Ему, конечно, никто не поверил. Ну, а когда ученый заявил, что скорость телеги конечна, его просто подняли на смех. Впоследствии знакомые изобретателя горько раскаивались в том, что вовремя не оценили его гений – Ваня был очень мстительным мальчиком, и вилку он изобрел вовсе не для того, чтобы есть.

Первым разглядел талант мальчугана светлейший князь Александр Кузьмич Разгильдяй-Рымникский,

которому и принадлежала деревня. Не раз посылал он мальчика учиться в Москву, предварительно привязав его за ногу к березе. Барин оглушительно хохотал, когда Ваня шел учиться в Москву и всякий раз падал, когда веревка кончалась. В благодарность за господскую заботу молодой Эйнцвейн изобрел для барыни, супруги князя, стиральную машину “Вятка”. Она состояла из реки Вятки и пятидесяти баб, которые могли выполнять до пятидесяти различных операций. Растроганный такой благодарностью, князь разрешил-таки Ивану ехать в столицу с рыбным обозом. Однако в школу ученого не приняли, потому что от него сильно воняло рыбой.

Вернувшись домой из Москвы, И. К. изобрел контейнеры для мусора и расставил их по всей деревне. Эти контейнеры сохранились и по сей день в первозданном (заполненном) виде, так как мусоровозов в ту пору не было. Современные археологи почерпнули из них много интересного из быта сельчан того времени.

У И. К. была врожденная тяга. Видимо, поэтому он вскоре женился на Парашеньке Душновой, молоденькой крепостной поэтессе. Всю оставшуюся жизнь изобретатель бился над созданием искусственного интеллекта для своей супруги.

Однажды шутки ради он изобрел юмор. Позже самостоятельно смастерил несколько анекдотов.

Изготовленные им первые примитивные остроуты (про тещу, про возвращение из командировки, торт в лицо) и по сей день исправно служат многим юмористам. Кстати говоря, теща Ивана любила подолгу гостить в молодой семье Эйнцвейнов. Однако, после изобретения катапульты она долго в доме не задерживалась.

Также потехи ради Иваном Карловичем были изобретены деньги, а именно рубли. Такой диковины на Руси еще не видывали. Многие знатные люди захотели иметь деньги у себя в домах.

Говорят, И. К. был лично знаком с Отцом Ферапонтом. Отец Ферапонт, говорят, даже согласился лично испытать изобретенный И. К. ковер-самолет. К сожалению, больше об Отце Ферапонте нам ничего не известно.

Тем временем, гениальный ученый не унимался. Он провел серию опытов по измерению скорости света. Для этой цели ночью разводил костер и бежал до тех пор, пока в глазах не потемнеет. Затем измерял расстояние, на которое отбежал, и делил на время бега. Его результат (280 000 верст/с) поразительно совпал с результатом, полученным позднее Милликенем.

Кроме быстрых ног, исследователь обладал замечательным глазомером. Часто, сидя на заборе и улыбаясь в изобретенные им усы, И. К. наблюдал, как его родные вскапывают грядки. Грядки на огороде у

Эйнцвейнов всегда были идеально ровными и параллельными.

Одной из острейших проблем на Руси в то время было то, что здоровым мужикам силу некуда было девать. И. К. эту проблему снял. Он решительно усовершенствовал пудовую гирию, преобразовав ее в двухпудовую. Теперь русский мужик мог за раз поднимать вдвое больше пудов и в два раза сильнее уставать.

Много пользы было от Эйнцвейна русскому народу. Однажды, когда И. К. надоело продавливать пробку в бутылку пальцем, он изобрел штопор – точь-в-точь как у барина, даже лучше! Проведя испытания штопора и проверив на себе действие содержимого бутылки, этот самородок не остановился на достигнутом. Долго бродила по деревням изобретенная И. К. брага.

Великая польза от эйнцвейнова таланта была и Государству Российскому. Ведь именно И. К. изобрел и изготовил дубину народной войны, которая решительно поднялась в 1812 году.

Ближе к старости Эйнцвейн изобрел телевизор и смотрел по нему прогноз погоды на завтра. Потом шел к людям и предупреждал их. Люди считали его колдуном и побаивались. А между тем, в его изобретениях не было ничего сверхъестественного! Казалось бы, нехитрое дело – вкопать вдоль улицы

столбы и повесить на них провода. Но почему-то никто, кроме И. К. не догадался этого сделать! Да что там говорить, если даже изобретенному Иваном Карловичем гвоздю не нашлось применения, хотя строили в те времена абы как, без единого гвоздя.

И все же некоторые изобретения Эйнцвейна дошли до нас в первозданном виде. В их числе дошел и шагающий экскаватор, обнаруженный недавно на Московском тракте.

О наблюдательности и сообразительности И. К. ходили легенды. Так, задолго до Павлова он заметил, что у него при виде еды течет слюна. А когда изобретателя в очередной раз сжигали на костре, он обнаружил, что от нагревания тела расширяются, о чем и прокричал односельчанам через бушующее пламя. (Знаменитое "...И все-таки оно расширяется!...")

Целью жизни изобретателя было создать такие грабли, на которые можно было бы безбоязненно наступать. Он очень много экспериментировал, и это сказалось на его здоровье, и без того слабом. Правда, к старости предусмотрительный Эйнцвейн подготовился неплохо, изобретя заранее пенсионное удостоверение. Это изобретение обеспечило ему безбедную старость и бесплатный проезд на любой лошади в оба конца.

И. К. был уже маститым изобретателем, когда в руки ему попала одна удивительная книга – "Учебник

физики. 6-й класс”. Эта книга буквально перепахала великого ученого, перевернув многие его представления о науке.

Последним изобретением Ивана Карловича Эйнцвейна стал самозакапывающийся гроб. При испытаниях гроба и погиб великий изобретатель, унеся секрет изобретения с собой в могилу. Секрет немнущихся брюк он тоже унес в могилу, хотя до сих пор непонятно, зачем он ему там понадобился.

ПЕНТИУМ ХОРОШО, А ПЕНТИУМ-2 – ЛУЧШЕ!

Компьютерный календарь (фрагменты):

... 15 января – Биллов день. Хорош для покупки конкурирующих компьютерных компаний, продажи новых программ...

... 7 июня – день Николая Разгильдяя. Если винды грузятся долго – это к глюкам. В этот день юзеры пиво новое пьют, в носу ковыряют да поджидают сисопа...

... 8 августа – день Клавдии Кнопочницы. В этот день принято разбирать старые клавиатуры, вытряхивать из них накопившийся хлам, пыль и тараканов. В этот день юзеры пьют спирт, а контакты протирают пальцем...

Названия месяцев – Висень, Чипень, Клавень,
Дюкень, Зипень, Иксплорень, Хакень, Юзень,
Тетрисень, Сисопень, Пивень, Пофигень.

СКОРОГОВОРКА

Карл у Клары украл “клаву”.

ПОСЛОВИЦЫ&ПОГОВОРКИ

Мал, да умен, два процессора в ем!

Любишь почтой заниматься,
люби и на вирус проверяться.

По монитору встречают,
По процессору провожают.

Кому и DOS – операционная система.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Трудно найти вирус в выключенном компьютере, тем более если его там нет.

Конфуций, китайский пользователь

Компьютерные игры сделали из человека обезьяну.

Ф. Энгельс

Готов поспорить на любую сумму денег, что у меня их больше!

Б. Гейтс

Upgrade компьютера уподоблю второй женитьбе.

Слава Фуфлынин, хакер, 13 лет.

Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что уже начинают порядком доставать.

Б. Гейтс

Один PageUp вперед, два PageDown назад.

В. И. Ульянов (Гейтс)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Хотите защитить ваш компьютер от скачков напряжения в сети? Позвоните в РАО ЕЭС Чубайсу!

Правильная посадка за компьютером:

- руки на ширине плеч;
- ноги полусогнуты или вытянуты под столом;
- глаза выпучены;
- монитор включен.

Если ваш компьютер регулярно обыгрывает Вас в преферанс – слегка ударьте его канделябром.

При покупке компьютера обязательно обратите внимание на ноги продавщицы!

Ну, а тем, кто жалеет денег на покупку современного компьютера – наш совет: купите себе 14-разрядный калькулятор и китайский “тетрис”. А больше в современных компьютерах ничего интересного нет.

АЗБУКА НАЧИНАЮЩЕГО “ЮЗЕРА”

У Шуры – шнуры. У Саши – штекеры. Марик моет “маму”. У Глаши – глюки. У Иры – error. У Васи – висит.

СТИХИ&ПЕСНИ&ЧАСТУШКИ

Милый вирус подцепил
Стал весь фиолетовый.
Знать, по бабам он ходил
Со своей дискетою!

Юзера вы, юзера,
Выгружайтесь со двора!
Ходят девки с пузами,
Всех уже поюзали!

Глючат новые “Винды”,
Виснут с новой силой?
Пожелай здоровья ты
Гейтсу, то есть Биллу!

Знаю, знаю точно, где мой адресат!!!
E-mail: house@palisad.vologda.ru

Подключите монитор,
Дайте в руки мышку,
Загрузите Duke 3D –
Понесусь вприпрыжку!

Говорят, под Новый Год
Все всегда сбывается.
Даже Windows Microsoft
С ходу загружается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО “Перспективные бомжи” извещает, что если у вас есть ненужные файлы, не удаляйте их... А можно мы у вас в корзине посмотрим?

НАДПИСЬ НА МОНИТОРЕ

“Теперь компьютер можно выбросить”.

НОВОСТИ

Ученые-египтологи разархивировали древнеегипетские файлы.

В интервью нашему журналу Билл Гейтс сообщил: он очень расстроен, что дети стали меньше читать книг.

“Учеными доказано, что компьютеры произошли от древних примитивных ЭВМ. Небольшие стада ЭВМ до сих пор еще можно встретить в африканских джунглях и в труднодоступных закоулках Российской Академии Наук”.

“Детская энциклопедия”, т. 8, К-Ю

ЗАПИСКА

“Duke на диске C:\, обед – в
Холодильник:\Верхполка\ Твоя Мышка”.

КРИЧАЛКИ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ ФАНАТОВ,

ну, то есть, для тех, кто всей душой болеет чисто за науку, музыку,
литературу там...

От Москвы до Пиринеев
Король танца – Моисеев!

Кто поет не хуже Стинга?
Это Пласидо Даминго!

Режиссера нету круче,
Чем Бернардо Бертолуччи!

В кино мировом общепризнанный лидер
Известный немецкий киношник Фассбиндер!

Мольбертом и кистью владел будь здоров
Крутой живописец Андрюха Рублев!

Толстых голых жинщин рисует упорно
Питер Пауль Рубенс из фламандской сборной!

Легко обведет любого мишку
Техничный художник Ваня Шишкин!

Отражает интеллектуальной борьбы накал
Кумир интеллигенции – Марик Шагал!

Любят друзья, уважают в народе
Микеланджело Буонаротти!

Без ума, без уха к мольберту скок!
Голландский легионер Винсент Ван Гог!
Прыг-скок, прыг-скок!
Я веселый Ваня Гог!

Легко нарисует хоть тонну селедки
Нормальный художник Кузьма Петров-Водкин!

Рисует свое, а не пишет пародиев
Художник купеческих женщин Кустодиев!

Самый лучший на весь мир
Наш Малевич Казимир!

Все изменила внутри меня
Картина “Купание красного коня”!

Круто поднялся, не видно земли
Испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали!

Гудит Колизей, как пчелиный улей,
Когда на трибуне лучший из деспотов Цезарь Юлий!

Бороды боярские порвет как грушу
Питерский бомбардир Романов Петруша!

От Вашингтона и до Оймякона
Нет сексуальнее Игоря Кона!

Лучший на восьмой горизонтали
Парень из Баку Каспаров Гарри!

В музыке никого, кто был круче,
Чем представители “Кучки могучей”!

По центру виолончели играет как бог
Мстислав Растропович смычком между ног!

Клевый написал музон
Композитор Мендельсон!

Мы с возрастом въезжаем постепенно
В мир чудных звуков Фредрика Шопена!

Ядро урана порвал на крошки
Физик крутой Курчатов Игорешка!

Мы все за тебя болеем
Первый в таблице – Д.И. Менделеев!

Нет на свете круче закона,
Чем закон Менделеева-Клайперона!

Устойчивей любого ОНЭКСИМ-банка
Всем известная постоянная Планка!

Не может позволить себе ошибиться
Ученый и телеведущий Капица!

Лермонтов Мишаня, вот тебе цветы!
Герой нашего времени – ты! ты! ты!

Трибуны от восхищения замирают
Когда Бродский рифмует по правому краю!

Нет на Земле ни единого фана,
Кто не слышал бы про Томаса Манна!

Детскую литературу сделал сильней
Пацан из Переделкино Чуковский Корней!

Помни любая баба, знай любой пацан –
Самый крутой у французов – Ги де Мопассан!

Люблю грозу в начале мая!
За Федю Тютчева любого заломаю!

Почти такой же, как Слава Метревели,
Но только писатель – Шота Руставели!

Из всех стариков со всех морей
Самый такой нормальный – старик Хемингуэй!

Не можем плохого сказать ничего
Про Сашку Дюма и про Витю Гюго!

Играет прекрасно, лежит красиво
Каренина Анна из “Локомотива”!

Знаем книжек до хрена
Александра Куприна!

Стихи кропает красиво и ловко
Испанский поэт Гарсия Лорка!

Все пацаны полюбили сразу
Исаака Бабеля, особенно его одесские рассказы!
Самый лучший из писак – это Бабель Исаак!

В поэзии нету больше размера
Чем гекзаметр в “Илиаде” Гомера!

Тоталитарный строй классно уел
В своих антиутопиях Джордж Оруэлл!

Время настанет, время придет,
И Пушкин Дантеса на части порвет!

Чем журавль в небе, лучше в руках синица!
Хрен с ним, с Фицджеральдом,
Да здравствует Солженицын!

Самое конкретное сочинение века –
“Всемирная декларация прав человека”!

Объезди полсвета, объезди полмира –
У Трушкина самая злая сатира!

Едва ли что-то вы найдете
Сильней, чем пьеса “Фауст” Гете!

НОВОСТИ НАУКИ

Китайские ученые озабочены слишком быстрым ростом количества китайских ученых. Академия наук Китая решила поощрять институты, в которых имеется только один кандидат или доктор наук.

Программисты-последователи Порфирия Иванова рекомендуют обливать компьютеры водой и валять системные блоки в снегу. “И тогда, – утверждают ученые, – вашей машине ни один вирус не страшен!”

Последние находки археологов доказывают, что туалетная бумага также была изобретена в Китае, причем гораздо раньше, чем бумага для письма.

Российские ученые установили, что прорехи в озоновом слое Земли очень даже прекрасно заполняется перегаром, который регулярно выдыхают жители планеты. А во время таких замечательных праздников,

как Новый год или День Строителя, перегаровый слой заметно увеличивается.

Простой астроном-любитель из Индии открыл огромную комету, траектория которой в 2037 году точно пересечется с Землей. Комета названа в честь первооткрывателя. Интересно, что у астронома очень редкая фамилия – Хана.

А вот российские астрономы, говорят, обнаружили на Юпитере не только Красное пятно, но и Черное одеяло, и даже Гроб на Колесиках.

Германские ученые-архивисты обнаружили документы, позволившие, по их мнению, установить фамилию Санта Клауса – Мешкенхрюбенбах. В скором времени они собираются также обнародовать фамилии Снегурочки, Зайца и Белки, предположительно – Шлюхеншляйтен, Прыгенбухен и Грызауэр.

Российские ученые пришли к выводу, что избежать глобального потепления климата можно, если отключить всех должников за тепловую энергию.

При раскопках стоянки австралопитеков обнаружены копыта, откинутае древним человеком около 800 тысяч лет назад.

Научный потенциал Эфиопии серьезно усилился в связи с тем, что из университета имени Патриса

Лумумбы был отчислен со второго курса за неуспеваемость студент из Эфиопии и отправлен на родину.

Чукотские физики-ягельщики в одной из секретных яранг создали установку, в которой осуществляется самоподдерживающаяся дровяная реакция на основе расщепления досок. Установка уже обогревает небольшой жилой массив внутри яранги.

Российские молодые учеными-химики разработали новую, более совершенную пластмассу для дымовушек. Она легче ломается, дольше горит и дает гораздо больше дыма на единицу коробка. Напомним, что годом ранее эта же группа ученых получила Нобелевскую премию за опыты с карбидом.

Японские инженеры не перестают удивлять мир. На этот раз они разработали новинку – “Самагочи” – миниатюрный карманный самогонный аппарат. На него можно смотреть, кормить его рисом, дрожжами и не забывать вовремя отпивать из него, а то самогочи выпьет все сам и сдохнет.

НОВЫЕ КНИГИ

“УКУС БЕШЕНОГО”, “БЕШЕНЫЙ УБИВАЕТ СПОКОЙНОГО”, “ЧУМКА У БЕШЕНОГО”, “УСЫПЛЕНИЕ БЕШЕНОГО”. Трилогия в 4-х томах. Изд-во Бешеного. Тираж бешеный.

В. КРЮЧКОВ “НЕИЗВЕСТНЫЙ САХАРОВ. НА РАБОТЕ, В ВАННОЙ, В ЛЕСУ” Избранные магнитофонные записи. Изд-во “Сексотъ”

Ф. НИЦШЕ “ТАК-ТАК-ТАК ГОВОРIT ЗАРАТУСТРА!” Из серии “Библиотечка красноармейца”.

И. НЕМИРОВИЧ-НЕВОЙНОВИЧ “ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ “БЕЛЫХ БИЛЕТОВ” В ТЫЛУ ВРАГА”

А. ШВАРЦЕННЕГГЕР “КАК СТАТЬ ПОСИЛЬНЕЕ, ЧЕМ “ФАУСТ” ГЕТЕ” Изд-во “Мысль”

И. ЗИЛЬБЕРМАН “СЕКРЕТЫ РУССКОЙ КУХНИ” ИЗД-ВО “ГОЙЯ”

У. ЧЕРЧИЛЛЬ “ПЬЯНСТВО, КУРЕНИЕ, ЛИШНИЙ ВЕС - ЗАЛОГ УСПЕХА!”

Д. ХАРМС “КТО СКАЗАЛ “ХВЯ!” Изд. дом “Пакинъ & Ракукинъ”

МАЙКЛ ДЖЕКСОН “БОРЬБА С АПАРТЕИДОМ И

РАСИЗМОМ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ” ИЗД-ВО “ХУЗБЭД”, НЬЮ-ЙОРК

Д. ДЕФО “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИДЕЛЯ КАСТРО, РЕВОЛЮЦИОНЕРА ИЗ ГАВАНЫ, ПОПАВШЕГО НА ОСТРОВ И ДОЖИВШЕГО ТАМ ДО 70-ЛЕТИЯ”

А. С. ПУШКИН “К ЭТОЙ... КАК ЕЕ... К ***** МАТЕРИ!”

А. ФАРИСЕЙ “ТЕХНИКА ПОЦЕЛУЯ ИУДЫ” Изд-во “Книжникъ”

И. БАЗАРОВ-НЕТТЕ “ЕКАТЕРИНБУРГ БЕЗ ВОПРОСОВ!” Справочник предпринимателя. Изд-во “Братва”

Ц. ИРОД “У ВАС ПОЯВИЛСЯ МЛАДЕНЕЦ...” Изд-во “Звезда”, г. Вифлеем, 0000 г.

“КАК ПРОВЕСТИ НОЧЬ НА УЛИЦЕ И ПРИ ЭТОМ ХОРОШО ВЫСПАТЬСЯ” Книжка-раскладушка.

Дж. Сорос “КАК Я ПРИЕХАЛ В АМЕРИКУ С 1 ДОЛЛАРОМ И ЗА 10 ЛЕТ УДВОИЛ СВОЕ СОСТОЯНИЕ”.

Д. Н. Маменькин-Сынок “МУЖЕСТВО”.

К. И. Чуковский “ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ
В Р-НЕ УЛ. БАСЕЙНОЙ”.

М. Беспмятных “ЧТО ПОМНЮ – НАПИСАЛ”. Ме-
муары. 2 стр. с илл.

И. Д. Папанин “У МЕНЯ БЫЛА СОБАКА... Я ЕЕ
СОЖРАЛ...”.

А. Г. Шкуро “КАК ПРАВИЛЬНО УЛЮЛЮКАТЬ ВО
ВРЕМЯ АТАКИ КОННОЙ ЛАВЫ”. Пособие.

Бр. Уиллис “ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ЛИФТОВЫЕ
И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ”. Техническое по-
собие.

М. Левински “В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ С КВАД-
РАТНЫМИ ГЛАЗАМИ”.

БУХАТЬДАВАЙ-ГИТА. Изд-во Общества Сознания
Алкоголика Сивушова.

Б. Е. Трусцой “БЕГОМ ОТ МИЛИЦИОНЕРОВ”. Изд-
во “Здоровье”.

Я. И. Перельманишвили “ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЖИ-
ВОПИСТИКА”.

А. Стугацкий, Б. Стругацкий, М. Пляцковский
“ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ”,

“УЛИТКА И ЕНОТ НА СКЛОНЕ”, “ТРУДНО БЫТЬ ЕНОТОМ” (трилогия).

М. Тэтчер “ЗАПИСКИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДЕВЧОНКИ”.

“Не думай о наносекундах свысока!”

НАШИ СОВЕТЫ УЧЕНЫМ

*** * ***

Ваша линейка прослужит вам намного дольше, если после каждого измерения ненадолго опускать ее в ящик письменного стола.

*** * ***

Опытными учеными замечено, что если между препаратом и трубкой микроскопа поместить обыкновенную лупу – можно добиться, как минимум, четырехкратного увеличения увеличения.

*** * ***

Чтобы подопытные кролики лучше размножались, не надо им мешать.

*** * ***

Окурок, упавший в емкость с жидким азотом, не “распадается на невидимые атомы”, как думают

некоторые молодые ученые. Его вполне можно достать пинцетом, примотанным к ручке швабры, и докурить.

* * *

Если для избрания в действительные члены Академии Наук вам не достает благородных сединок – обработайте виски 3-процентным раствором перекиси водорода. Раз, и готово!

* * *

Если вы – ученый, и вас беспокоят морщины на лбу, советуем воспользоваться обычным мебельным лаком. Гладкий, блестящий лоб – это еще и 15 процентов дополнительного освещения на вашем письменном столе.

* * *

Если вы хотите сосредоточиться, то думайте о науке, а не о бабах. А если хотите расслабиться, то наоборот.

* * *

В любых компьютерных исследованиях большую помощь вам окажет функциональная клавиша F1 или команда HELP.

* * *

Помните правило: отрицательный результат – это тоже результат, а отрицательный электрод – это тоже электрод.

* * *

МАТЕМАТИКУ НА ЗАМЕТКУ. Если вы хотите, чтобы частное стало больше, советуем немного уменьшить знаменатель. Но не переборщите, потому что на ноль делить нельзя!

* * *

Если вам нечем кормить подопытных мышей, усыпите их. Для этого погасите свет в лаборатории и раскачивайте клетку, негромко напевая, до тех пор, пока мыши не уснут.

* * *

Археологические раскопки можно провести гораздо быстрее, если воспользоваться обычным строительным экскаватором за пузырь. А чего там с лопаткой-то чирикаться?

* * *

Доктора – будущие профессора, помогают старшим, пляшут и поют, – весело живут!

* * *

Если вы хотите совершить великое открытие, но не знаете как, то мы вас научим. Положите в конверт пять тысяч рублей и пошлите нам. Способ абсолютно проверенный – мы уже помогли Аристотелю и Сократу, Дарвину и Марксу, Менделееву и Клапейрону.

* * *

Помните, что далеко не все ученые становятся Эйнштейнами. Вон даже великая Склодовская-Кюри не стала, и ничего!

* * *

И САМОЕ ГЛАВНОЕ. Господа ученые, не забывайте, что есть люди не глупее вас, а гораздо умнее, но они не строят из себя Абалкиных и Шаталкиных, а подметают улицы и, между прочим, не разбрасывают окурки.

РАЗНОЕ

Реклама: ПТУ № 18 ГОТОВИТ УЧЕНЫХ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ

Лозунг: “Ученые! Подкрепляйте теорию практикой, безупречной дисциплиной и выдержкой!”

Многие ученые полагают, что проводимые ими разработки уникальны. Во избежание подобного рода ошибок советуем почитать специальную литературу.

Литература

1. “Электродуговая сварка глазами академика Патона”.
2. ОТ “АЯ!” ДО “УЯ!”. Справочник практического врача. Изд-во “Брюшпресс”.
3. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАШКОВИТОСТИ. Под ред. проф. А. А. Пипицы. Изд-во “Коромысль”.
4. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЙКО-МЕСТ. Книжка-раскладушка. Изд-во “Художественная регистратура”.
5. ВЫХОДИЛА, СТРОНЦИЙ ВЫВОДИЛА... Песни секретных физиков под ред. акад. Селифана. Изд-во “Гаммафон”.
6. В ПОСТЕЛИ С КНИГОЙ. Пособие по технике медленного чтения. Изд-во “Порнухова Думка”.
7. А. Трухин-Мнухин. КУЧА НАВОЗА, КАК ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА.
8. В. Геращенко. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕХВАТКИ ДЕНЕГ. Типогр. фабрики “Гознак”.
9. Э. Кукуев. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Изд-во “ЩО-33”.
10. К. Бели-Берды. БУРЯТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О НАНАЙСКИХ УЧЕНЫХ-АТОМЩИКАХ.

Авторы сборника “Политехническая поэма”

БЛИНОВ Владимир – выпускник строительного факультета (1963 г.). Заведующий кафедрой архитектурной экологии Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Ряд лет был проректором вуза по науке. Кандидат технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы России. Повести, рассказы, стихи В. Блинова публиковались в журналах, выходили отдельными книгами. Член Союза писателей, член Союза архитекторов России, председатель Екатеринбургской организации Союза писателей России.

ДАГУРОВ Владимир – выпускник Свердловского медицинского института (1963 г.). “Свой человек” в среде упийских литераторов: член литературного объединения УПИ. Стихотворения В. Дагурова печатались в журналах “Урал”, “Юность”, “Москва”, “Новый мир”, во многих других изданиях, 16 раз выходили отдельными книгами. В последние годы пишет также прозу, которая публикуется в различных изданиях Москвы. Член Союза писателей России.

ДРОБИЗ Герман – выпускник энергетического факультета (1960 г.). Работал инженером-проектировщиком в УралТЭПе, литсотрудником газет “За индустриальные кадры!” и “На смену!”. Рассказы и стихотворения Г. Дробиза печатались в журналах и газетах Свердловска – Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, других городов СССР и России, неоднократно переводились на другие языки мира. Лауреат ряда всесоюзных и всероссийских литературных премий, обладатель премии “Золотой Остап”. Член Союза российских писателей.

ЗАРХ Аркадий – выпускник химико-технологического факультета (1961 г.). Работал на предприятиях газовой промышленности Киргизстана и Урала. Его рассказы печатались в периодических изданиях, в альманахе “Ала-Тоо”.

КОЛЯРСКАЯ Римма – выпускница строительного факультета (1958 г.). Трудовую деятельность начала в проектно институте “Гипротяжмаш”, а закончила на заводе им. М.И. Калинина, занимаясь вопросами охраны окружающей среды. Находясь на заслуженном отдыхе, трудится на садовом участке, в перерывах пишет сказки, детективы, сценарии. Публикуется впервые.

“КРАСНАЯ БУРДА”. Авторы и издатели российского юмористического журнала – выпускники УПИ: **Максим СМАГИН** (истфак УрГУ, затесался), **Александр СОКОЛОВ** (физтех УПИ, 1983 г.), **Александр КОРЧЕМКИН** (мехфак УПИ, 1991 г.), **Илья ВАЙНШТЕЙН** (физтех УПИ, 1993 г.), **Сергей АЛАДЖИКОВ** (физтех УПИ, 1993 г.), **Владимир ЛОГИНОВ** (радиофак УПИ, 1993 г.), **Александр ЕЛЬНЯКОВ** (радиофак УПИ, 1993 г.), **Владимир МАУРИН** (физтех УПИ, 1987 г.), **Сергей СОМОВ** (стройфак УПИ, 1984 г.).

КУЗНЕЦОВ Юрий – выпускник энергетического факультета (1960 г.). Один из ведущих научных сотрудников Уральского НИИ металлургической теплотехники. Доктор технических наук, автор монографий, множества других научных трудов и ряда изобретений. Рассказы Ю. Кузнецова печатались в журнале “Урал”, отдельным изданием выходил рассказ “Красная линия спектра”.

МАТЮНИН Борис (1948 – 1995) – выпускник энергетического факультета (1980 г.). Преподавал в Свердловском педагогическом институте. Юмористические рассказы Б. Матюнина печатались в прессе Свердловска – Екатеринбурга и Москвы, выходили отдельными изданиями. Был членом Союза писателей России.

МОРОЗОВ Владимир – выпускник химико-технологического факультета (1961 г.). Работал в проектных организациях городов Урала. В. Морозов – автор книги “Усолье”. Рассказы печатались в журнале “Урал”, в коллективном сборнике “Пробуждение”.

НОВОЖИЛОВ Отто (1935 – 1993 гг.) – выпускник инженерно-экономического факультета (1960 г.). В студенческие годы был одним из ведущих авторов сатирической стенгазеты “БОКС”. Работал инженером-экономистом на оборонных предприятиях Свердловска, преподавателем Тюменского политехнического института, экономистом в государственных учреждениях Минска. Рассказы, фельетоны и стихотворения О. Новожилова печатались в журналах, газетах, коллективных сборниках, выходивших в Свердловске, Минске, Москве, исполнялись на эстраде.

ОСИПОВ Вадим – выпускник металлургического факультета (1976 г.). Работал на Уральском электро-механическом заводе. Автор четырех поэтических книг. Член Союза писателей России.

ПОТАПОВ Геннадий – учился в УПИ в 1955 – 1959 гг. Выпускник Высших курсов режиссеров кино в Москве. В студенческие годы – член литературного объединения УПИ,

один из ведущих авторов сатирической стенгазеты “БОКС”. Работал школьным преподавателем физики, режиссером документальных фильмов Свердловской киностудии. Фельетоны и юморески Г. Потапова печатались в газете “За индустриальные кадры”, стихотворения – в коллективном сборнике “Втузгородок”.

СИЛИН Рейнгольд – выпускник металлургического факультета. Преподаватель и научный сотрудник этого факультета. Лауреат Государственной премии СССР. кандидат технических наук. Рассказы Р. Силина печатались в газетах и журналах Свердловска – Екатеринбурга.

ФИЛИПPOBИЧ Александр (1935 – 1983 гг.) – выпускник энергетического факультета (1958 г.). Работал инженером на Кузнецком металлургическом комбинате, руководителем группы в проектных институтах Свердловска. Романы, повести, рассказы А. Филипповича печатались в журналах “Урал”, “Уральский следопыт”, “Октябрь”, “Дружба народов”, выходили отдельными книгами в издательствах Свердловска и Москвы. Был членом Союза писателей СССР.

ФУРМАНОВ Борис – выпускник строительного факультета (1959 г.). Прошел путь от мастера в “Уралтяжтрубстрое” до министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Заслуженный строитель России, почетный член Академии строительства и архитектуры. Стихи Б. Фурманова печатались в сборнике “Втузгородок”, выходили отдельной книгой.

ШВАРЦ Марк – выпускник радиотехнического факультета (1959 г.). Ветеран студенческой сцены, один из ведущих актеров коллектива “Звезды эстрады УПИ”. Работал разработчиком электронной аппаратуры на оборонных предприятиях Свердловска, научным сотрудником Уральского НИИ железнодорожного транспорта. Юмористические рассказы М. Шварца печатались в журналах, газетах и коллективных сборниках в Свердловск и Челябинске. Отдельным изданием выходила повесть для детей “Димкина ракета”.

Содержание

<i>С. Набойченко. Вторая профессия</i>	3
--	---

<i>Как молоды мы были</i>	9
<i>В. Морозов. Первые шаги</i>	10
<i>А. Зарх. Посиделки по случаю</i>	35
<i>В. Блинов. “Марья Петровна идет за селедочкой...”</i>	59
<i>А. Филиппович. Лица Трофимова</i>	94
<i>В. Дагуров. Минутка</i>	151
<i>Р. Колянская. Танцующая ящерка</i>	164
<i>Г. Дробиз. Инженер Щукин</i>	168
<i>В. Осипов. Иммиграция в Канаду</i>	194
<i>Ю. Кузнецов. Прогулка за город</i>	212
<i>Б. Фурманов. Альма матер</i>	234

<i>Формула смеха</i>	303
<i>О. Новожилков. Знать бы раньше</i>	304
<i>Новая система единиц</i>	306
<i>Не Чехов</i>	307
<i>М. Шварц. Горизонты механизации</i>	310
<i>Дважды войти в реку</i>	312
<i>Б. Матюнин. Формула</i>	316
<i>Алгебра любви</i>	318
<i>Хороший парень</i>	320
<i>Гипноз</i>	322
<i>Превращения</i>	324
<i>Г. Потапов. Гибель одного изобретения</i>	327
<i>Р. Силин. Музыкальная история</i>	331
<i>Г. Дробиз. Записки вечного студента</i>	336
<i>Несколько слов для первого знакомства</i>	336
<i>Как я поступал в ИНФИЗКУЛЬТ</i>	337

Как я учился в ИИГТЕ	340
Железные нервы	344
Несколько слов на прощание	347
<i>КРАСНАЯ БУРДА</i>	350
Что должен знать каждый таракан об оружии массового поражения и другие юморески, шутки, пародии, афоризмы	350
<i>Авторы сборника “Политехническая поэма”</i>	<i>383</i>

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Сборник рассказов выпускников
Уральского государственного
технического университета -
Уральского политехнического института

Редакторы-составители - В. Блинов,
Г. Дробиз
Компьютерная верстка - Т. Блинова
В оформлении книги использованы рисунки
В. Блинова, С. Красаускаса, С. Чехонина

Издательство «Архитектон»
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23

ЛР № 020467 от 04.03.1997

Подписано в печать 20.09.2000. Бумага типографская.
Гарнитура Times. Печать офсетная. Формат 60х84/32.
Усл. печ. л. 15. Тираж 1000 экз. Заказ № 1146.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
издательства «Архитектон» в ОАО «Полиграфист».
Екатеринбург, ул. Тургенева, 20

